

ПЕТР БАЛАКШИН

СВЕТ ПЛАМЕНИ



С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й
П . П . Б А Л А К Ш И Н А

Т о м V I I

С В Е Т П Л А М Е Н И



К н и г о и з д а т е л ь с т в о С И Р И У С
Сан Франциско—Нью Йорк—Париж—Торонто

**LA LUZ DE LA LLAMA
THE LIGHT OF FLAME
by PETER BALAKSHIN**

By the same author:

**A TALE OF SAN FRANCISCO
SPRING OVER FILMORE STREET
RETURN TO THE FIRST LOVE
THE PLANNERS**

FINALE IN CHINA, vol. I

FINALE IN CHINA, vol. II

**Historical monographs for the US Government:
SOVIET-AMERICAN RELATIONS IN THE FAR EAST
WAR CRIME TRIALS, Class C
AIR DEFENSE OF JAPAN**

Того же автора:

**ПОВЕСТЬ О САН ФРАНЦИСКО
ВЕСНА НАД ФИЛМОРОМ
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
ПЛАНИРОВЩИКИ
ФИНАЛ В КИТАЕ, том I
ФИНАЛ В КИТАЕ, том II**

Все права сохранены за автором

1977

Dépósito legal: A - 406 - 1977

Printed in Spain

Tipografia Artistica PUERTES, S. L., Valencia

О Г Л А В Л Е Н И Е

ОТ АВТОРА	5
КАЛЕНДАРНАЯ ПОМЕТА	7
СЕМЬЯ БЛАГОБРАЗОВЫХ	11
ТИХАЯ ЗАВОДЬ	39
ЕЩЕ О БРАТЬЯХ	56
ВЛЮБЛЕННОЕ ВИНО	69
СЕСТРИЦА	87
СКВЕРНЫЙ ВЕЧЕР	105
КАК ОБУХОМ!	117
ГАСТРОЛЕРЫ	121
ЗАКАНАЛЬЕ	141
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ АГНЦЫ	152
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА	182
ОТКРЫТЫЙ ПУТЬ	192
САКУРА В ЦВЕТУ	200
ЛЕТО В РАЗДОЛЬЕ	209
СЕМЬЯ В СБОРЕ	226
ГВОЗДИ НА ОТЦА!	239
ЦАРСТВЕННЫЙ СЕУЛ	251
ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ	285
СЛАВНЫЕ РЕБЯТА	298
ЧЕРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ	311
КОГДА УПЛЫВАЮТ ВДАЛЬ ДУШИ	322

Набрано шрифтом Russisch-Magna mager знаменитой
лейпцигской словолитни
T Y P O A R T

ОТ АВТОРА

Задуманная в тридцатых годах, в бытность мою издателем-редактором газеты «Русские Новости-Жизнь» в Сан Франциско, на основе интервью с эмигрантами из Маньчжурии, Китая и Японии, эта вещь осталась бы в зачаточном состоянии, если бы не десять незабываемых лет, проведенных на Дальнем Востоке после окончания Тихоокеанской войны в качестве члена Американской делегации Американско-Советской Комиссии по Объединению Кореи в Сеуле, и военного историка при штабе Верховного Главнокомандующего Союзными Вооруженными Силами на Дальнем Востоке генерала МакКартера в Токио и Американских Воздушных Сил в Нагойя.

Эти годы дали нужный плацдарм, на котором можно было видеть развитие после-военных событий, сдвиги огромных людских масс, суды над военными преступниками, судорожные попытки по объединению двух политическо-различных зон Кореи, рост сложной политическо-разведывательной игры; они дали возможность встреч с людьми, занимавшими видные места по обе стороны светового спектра, и советскими генералами и офицерами; близкое знакомство с остатками некогда полумиллионной дальневосточной белой эмиграции, с её бедственными особенностями, гонением и скитанием, с трагическим пребыванием «между наковальней и молотом» в тоталитарных условиях милитаристической Японии и агрессивного Советского Союза.

Эти годы дали возможность накопить объемистый материал о российской дальневосточной эмиграции с момента её зарождения вплоть до её исхода из Китая перед началом пятидесятих годов, изданный позже в двух томах ФИНАЛ В КИТАЕ (Мюнхен, 1958-1959)

Выношенная в уме и душе в течение десятилетий, вещь наконец получила воплощение. За это время она прошла через ряд изменений, но основная мысль осталась прежней: тягчайшее преступление нашего века, совершаемое во имя пресловутого общественного блага.

СВЕТ ПЛАМЕНИ — признательное завершение пятидесятилетней литературной работы.

A large, bold, handwritten signature in black ink, which appears to read 'И. Балакшин' (I. Balakshin). The signature is written in a cursive, somewhat stylized script with thick strokes.

Атами, Япония, 1956
Аликанте, Испания, 1977

Peter P. Balakshin, Edificio San Jorge, Albufera, Alicante, España

КАЛЕНДАРНАЯ ПОМЕТА

Автомобиль пересёк Сучоуский канал, выехал на набережную Банд мимо Бридж Гарден, замедляя ход в на-
раставшем движении автомобилей, экипажей, рикш. Он
выехал на Авеню Эдуарда Седьмого, затем на Авеню
Жоффри и после нескольких кварталов свернул в одну
из тенистых улиц французской концессии.

Тяжелый августовский зной давил Шанхай весь день
и теперь, в восьмом часу ночи, ещё низко лежал над го-
родом, чтобы к полуночи, с легким бризом, поднявшимся
с реки Вангпу, рассеять парное дыхание.

В домах, расположенных позади гладко стрижен-
ных газонов и цветных клумб, ещё не зажигали огней;
на верандах в шезлонгах полулежали люди в молчали-
вой неподвижности и только чуть звенели куски льда в
стаканах виски и джина. Мохнатые полотенца покрывали
потные шеи мужчин, а шерстяные носки были натянуты
на волосатые ноги.

В глубине одного из домов раздавались звуки рояля,
повторяя одну и ту же фразу, словно от истомы руки
пианиста не могли продвинуться дальше. Все было обес-
силено удушливым зноем, и только в густой листве де-
реьев азартно верещали цикады в оглушительном гим-
не изнуряющей жары, предсказывая её на долгое время.

— Вот здесь, — тихо сказал шофер, кивнув головой
на особняк на другой стороне улицы.

— Проезжайте медленно, не останавливаясь. — По-
вернувшись к двум человекам позади, он показал им на
дом. Те внимательно оглядели его, и обменялись впол-
голоса несколькими словами.

— Объехать ещё раз?

— Пожаруйста. Ручше по другой стороне урицы.

Автомобиль объехал квартал и остановился, не доезжая до особняка,

На ближайшей веранде поднялся человек с полотенцем на шее и, прикрывая глаза козырком руки, подошел к перилам, внимательно всматриваясь в сидевших в автомобиле,

— Это не совсем радно. Ручше выйдите из автомобиля, поднимите капот, сровно поромка.

Повернувшись к заднему сидению, он сказал несколько слов на «пиджен-инглиш» и продолжал сидеть боком, чтобы человек на веранде мог видеть только его спину.

— Когда он появляется вечером?

— Трудно сказать. Автомобиля его ещё нет, обычно у ездзезда. Утром выезжает без четверти девять.

— Ручше утром, не так много рудей на урице.

— Нет, только те, кто едут на службу, обычно позже. Объехать квартал, чтобы они запомнили лучше место?

— Я порагаю, не средует. Наши рюди впорне ознакомири с порожением. Где ручше ждать?

— Председателя?

— Одного из них, — он кивнул головой к сидевшим позади. — Одного черовека впорне достаточно.

— Я думаю, да. Не так заметно. А ждать за углом.

— Просредуйте туда разгрядеть ручше. Главное, чтобы не дареко бежать. Я хотел бы завтра, но эт-то кто-то нас видел, придется отрожить.

— Дня на два, натри?

— Отрично, но не открадывая в доргий ящик.

Шофер опустил капот, щёлкнул затвором. Прежде, чем выехать, он увидел медленно приближавшийся автомобиль, который остановился у особняка.

— Эт-то — председатерь?

— Его шевроле. Подождать.

— Я порагаю пусть они ручше разглядят его.

Человек в переднем автомобиле наклонился над сидением, вытащил портфель и коробку с тортом, захлопнув дверь, проверив закрыта ли другая. В доме вспыхнул свет и раздался голос, на который он откликнулся.

— Поехали. — За ближним углом шофер остановился.

— Лучше всего ждать здесь, всего с полквартала.

— Я порагаю с автомобилем?

— Да. На рикше рискованно. Если собственная из рысаков. Но где достать такого верного? У нас нет.

— На это деро упорномочены вы, детари и всё остальное. После случившегося факта дорожите мне.

— Слушаюсь. Мне кажется, что как всё будет сделано и один или двое добегут до автомобиля, два на тот случай, если что не так, поехать дальше к Сиккавейскому монастырю, свернуть на Рубикон, попасть на Бабблинг Вэлл, а уж там затеряться в большом движении легко.

— А кто будет за рурем? Вы?

— Не лучше ли предоставить всё им? Народ они верный, опытный, не первый раз. Как вы думаете?

— Пожаруй сограсен с вами. А где Брагообразов?

— Иннокентий Игнатович ещё не вернулся из Кореи. Ждали на прошлой неделе. Болен или с женой что.

— Эт-то средует просредить.

— Слушаюсь, Такахаси-сан.

Автомобиль выехал на Накин роад. Электрические огни на крышах магазинов Синсир и Вингон полыхали багровым цветом на низко нависших парных облаках, придавая городу зловещий оттенок. В открытые окна автомобиля врывался горячий воздух. Толпы двигались к берегу в поисках прохлады, поднимавшейся с реки.

Автомобиль свернул на Банд, пересёк Сучоуский канал и направился в Хонкью.

— Туда же?

— Пожаруста.

— Я высажу наших людей до конторы.

— Они осведомлены, что дерать?

— Я пройду с ними весь курс.

Шофер высадил двух человек, условившись встретиться с ними на другой день. Проехав несколько кварталов, он остановился у здания с вывеской «Штаб Национального Объединения Нового Порядка».

— Не рюбрю менять праны, но ничего не подерашь. Значит, не завтра, а... Предрожим ему от грубины душиришние два дня. Средоватерно... — Он вынул записную книжку и при свете уличного фонаря поискал дату. — Это приемримо дря вас?

— О, да. Утром, как говорили.

— Отрично. Брагодарю вас за сружбу, ссаур Скокре-нев. Завтра в пордень дорожите мне о Брагобразове.

— Слушаюсь, капитан Такахаси.

СЕМЬЯ БЛАГОБРАЗОВЫХ

Они жили в постоянных воспоминаниях о годах совместной жизни, семейных событиях, детях, знакомых, различных случаях, то забавных, то трагических, уже смягчённых временем. Они, чета Благообразовых, Игнат Степанович и Евдокия Дмитриевна, улыбались мягко, с той теплой признательностью, которая связывается с безоблачными днями счастливой жизни. Их глаза разгорались искристым огоньком, голоса таяли в смехе, и те, кто внимали им, радовались с ними и невольно поддавались грусти, если у самих не всё было ладно.

Их жизнь текла ровно и за восемнадцать лет супружества они знали только два места: «линию», т. е. одну из станций Китайско-восточной железной дороги в Маньчжурии, и Харбин, её столицу.

Когда Игнат Благообразов увидел молоденькую девушку, приехавшую погостить к дяде телеграфисту, он понял, что судьба его была решена. Он затомился, поговаривая при смущенно улыбавшейся девице, что «заскучал, не зная по ком, хотя крепко догадываюсь».

Когда он ввел её в двухкомнатный домик, отведённый ему по случаю женитьбы, она пробежала через него во двор и увидела залитую солнцем поляну с сиренью и берёзами, а позади огромный лес пихт, лиственниц и кедров, вся в восхищении воскликнула: «Ганя, дорогой, какое раздолье!», выбежал и он, прижав её к себе, и они долго стояли у жердяной изгороди в зачарованном молчании.

Через год у них родился сын, названный в честь её дяди Романом. Через три родился другой, окрещённый участковым священником «во славу и преклонение дня богопочтимого пророка» Ильёй.

Впервые безоблачная жизнь их омрачилась двумя годами позже мертворождённой девочкой. Они крепко загрустили и долгое время говорили о «нашей дочурке», словно она жила среди них. Так продолжалось до рождения последнего сына Иннокентия.

Игнат Степанович был хорошим отцом старших сыновей, но после «нашей дочурки» особенно возлюбил последнего и, наблюдая его проворность и сметливость, говорил: «Иннокентий прославит род Благобразовых».

Они вспоминали, как подрастали дети, их первые шаги, болезни, шалости, первые дни в школе, случай, когда Евдокия Дмитриевна заготовила несколько блюд и снесла их остудить в погреб, оставив створчатую дверь открытой. Туда свалился проказливый Кешка, на отчаянный вопль которого кинулся шестимесячный лаверак, неотлучный участник кешкиных проказ, сбив в кучу блюда с заливным, и холодцём и опрокинув на себя миску крошки. Когда извлекли перемазанных в еде Кешку и щенка, к дому степенно, рука об руку, подходил отец Вениамин с матушкой, которые не могли понять в чем дело. Благобразовы, хватаясь за бока, заливались неистовым смехом, то успокаивая ревавшего Кешку, то цыкая на щенка. «Это какой то оглашенный», изрёк отец Вениамин. Так и осталось за щенком имя Оглашенного.

Они вспоминали суровые зимы, когда всё застывало в хрупком молчании; катанье на дровнях по глубокому снегу; длинные вечера, когда собирались друг у друга посудачить, поиграть в лото, потанцевать под граммофон, плотно закусить и выпить... вёсны, ноздреватый снег, запах навозной жижи на оттаявших улицах, свежий весенний воздух, врывающийся в дом; Великий пост, говенье, зеленоватые мартовские и ранне-апрельские сумерки. Затем полная весна на всём просторе раздолья: сопки, утопавшие в малиновом пламени багульника, в благоухании ландышей, в пёстром цветении лилий, саранок, в близине яблонь, слив, черемухи... Жаркие лета, когда лошади

щеголяли в соломенных шляпах; тёплые дожди, шлёпанье босиком по мокрой траве, пикники, поездки на сенокос, чаепитие на веранде в нескончаемых сумерках... Золотистые поры осени, полные плодов, пылавших огненным заревом астр и хризантем; засолка капусты, огурцов, копчение дичи, окороков, кеты, запах пригоревшего сахара в медных тазах с вареньем.

Вспоминали о всём этом раздолье всей семьей, с подросшими Романом и Ильей (Иннокентий был ещё маленьким) и с Катей, семнадцатилетней девушкой, взятой в дом в помощь Евдокии Дмитриевне.

Всё шло хорошо, если бы не болезнь жены, которую Игнат Степанович объяснял переменой после того раздолья на «линии». Всё наладится, успокаивал он себя, как только она привыкнет к большому шумному городу.

В городе было много врачей, но когда Евдокии Дмитриевне стало хуже, он все собирался выписать с «линии» фельдшера Одноброва, веря, что с его испытанной помощью ей станет лучше.

Но оказалось поздно. Пока китаец-бой бежал в правление за Игнатом Степановичем, Евдокия Дмитриевна глубоко вздохнула, обвела глазами комнату, словно в поисках своего Ганечки и деток, попыталась перекреститься и устало закрыла глаза.

— Ушла от нас ангельская душа, — причитала Катя.

— Ушла, — повторял остоленело Игнат Степанович.

Он ещё крепился, но после девятого дня, когда окончательно «отлетела от дома душенька», запил горько, с надрывом и угрызением («вот когда бы Одноброва, а почему тянул!»), запершись у себя в комнате и выходя оттуда по ночам — и только Катя страдала за него, слыша шмыганье ковровых шлепанцев. Из правления приходили посыльные с запросом, почему Игнат Степанович не показывается на службе и Катя сурово отвечала, «что они ещё не в себе и надо понимать».

Накануне сорокового дня она вошла в его комнату,

насквозь пропахшую спиртом, отдернула занавеси на окнах и открыла настеж форточки, чтобы морозный воздух февральского утра вынес оттуда всю мерзость, накопившуюся за месяц.

— Ну, будет, — сказала она сурово, не глядя на его опухшее лицо и жалкую улыбку. Она собрала чистое бельё и снарядила его в баню, наказав банщику заняться им особо, «так как ещё слабы». После парикмахера привела домой, напоила чаем с малиной, «чтобы окрепли» и, когда он отдохнул, надела на него шубу и вывела в сад, где держа под руку, водила по заснеженным дорожкам.

После очищения телесного она отвела его к отцу Вениамину для очищения духовного. Отец благочинный, также переведённый с «линии», ещё более тучный, с узловатым от ревматизма перстом, указывающим на небеса, поучал: «Оставьте простирать в глубину своея скорби, поелику сие есть роптание на Господа Бога, сокрушение души и сатанинская прелесть».

Игнат Степанович успокоился, впал в длительную задумчивость, предоставив Кате все заботы о детях и дому, запёрся у себя, не сводя глаз с угла, словно там, как на экране, снова проходила его жизнь, лучше которой он не представлял.

И с этим стала бороться Катя с присущей чуткостью. Она вызывала его помочь детям с уроками и как бы мимоходом поминала о Железнодорожном собрании «пройтись ради интереса», повстречаться с людьми, поиграть в карты «как все». «Что ты, Катя, как можно!» «Отчего же нет, «там» будет только радостно».

Раз, зайдя на кухню, он услышал мужской голос и удивился ещё больше, увидев в углу ширму и за ней сидевшего на кровати странного человека с припухшим детским лицом и стриженной головой, уставившего на пол неподвижные глаза.

— Кто это такой?

— Кузя гармонист, — так же шопотом ответила Катя.

— Откуда он?

— А Ромочка привёл, всё оттуда, — показала Катя на небо. Игнат Степанович вспомнил. Год с лишним назад в морозный день его Евочка подобрала на улице полузамёрзшего пьяницу, сына известного в городе купца, выгнанного «за слабость» из дому, и в кухне оттирала его отмороженные ноги спиртом, а затем в том же углу за печью устроила на несколько дней, пока он не пришел в себя. — Оттуда?, — переспросил он в сладостном волнении. — Ну, пусть, — и он пошел за перегородку познакомиться со слепым гармонистом.

Роману шёл восемнадцатый год, Илье четырнадцать, а Иннокентию — девятый. В доме, кроме Кузи, доживал в большом почете свой век Оглашенный, ютились подобранные с улицы коты, а на печке жил кобчик Циклоп с выбитым глазом, спасённый Романом от китайских детей.

Когда отец решил выдавать сыновьям карманные деньги, Роман принял назначенные ему три рубля, поблагодарил и не глядя, положил их в карман. Илья выпросил прибавку и вместо полутора рублей получил два. Кешка не заинтересовался рублем, а сказал отцу, чтобы тот копил ему деньги, а он скажет, что хочет на них.

Отец призадумался над характером сыновей. Одна, далеко непустяшная история поразила его, приведя с поведовавшими случаями в немалое смущение.

Роман рос, как расло большинство юношей его лет. Читал, спорил о книгах, дружил со своими сверстниками. Позже начались сердечные увлечения, свиданья, телефонные разговоры, вечеринки с танцами, ужином, приготовленным Катей, радовавшейся, что в доме вновь водворялась полная жизнь.

Илья рос по иному. То он заводил себе почтовую контору и продавал за копейки марки, которые мастерил сам, то устраивал лотерею, выставя заманчивые вещи, как плитки шоколада, не включая их в урну. «Комбинатор», поражался отец, «этот пойдет по денежной части».

О младшем же тревожное чувство зародилось у отца после следующего случая. Раз в воскресенье, когда он занимался у себя, тихо вошёл Иннокентий и стал крутиться у его стола. Когда отец вопросительно взглянул на него, тот невинным голосом спросил: «А когда ты, папочка, подаришь мне свои часы Павел Бурэ?» «Когда же я обещал их тебе?» «Не обещал, а может подумал». «Ах, ты, хитряга! Я собираюсь дать их почистить». «Я хочу поддержать их в руке». «И не будешь мешать мне?» «Нет».

Он выдвинул ящик стола, но там их не было. Затаив дыхание, весь в нетерпеливом ожидании Кешка следил за поиском часов. Отец перебрал все ящики стола, но их нигде не было. «А я, папочка, может быть знаю, где они. Хочешь, нарисую диаграмму и поставлю пунктиры, как их искать?» Отец дал ему бумагу, над которой он долго корпел. «Готова твоя диаграмма? Что это такое?» «Догадайся сам, папочка. Кухня». «А другой квадрат и пунктиры?» «Печь, а это», добавил он таинственно, «следы, по которым надо искать». «Что искать?» «Часы», он прыснул со смеху, потирая от удовольствия руки.

Отец задумался. Видел ли его сынок что-либо на самом деле или разыграл в своём пылком воображении? Он повёл его в кухню. От печи пунктирная линия диаграммы вела к кузиной кровати. «Под ней», повторял, захлабываясь, Кешка.

То, что сделал Игнат Степанович, он не мог простить себе и всегда переживал ту минуту со стыдом. Он вытянул кузин сундучёк, открыл его и там под бельем нащупал свои часы.

Позже вечером, когда Кузя вернулся домой, Игнат Степанович заглянул в его угол и сказал ему:

— Вот что, хлопец, пожил здесь, отдохнул, дело к весне. Не скажу почему, но сматывайся откуда пришёл.

Кузя не удивился. Он устремил на него белесоватые глаза и сказал: — Благодарю за ласку и уют.

Пока Игнат Степанович мучил себя, что залез в чу-

жие вещи, вошла Катя.

— Напрасно вы, Игнат Степанович, обидели сироту. Куда же он денется в такую стужу. Не он взял часы.

— А кто же?

— Один Господь Бог знает, кто! — Катя поджала сурово губы и посмотрела на потолок, словно предупреждая, чтобы там, на небесах, не проговорились бы нена роком.

Игнат Степанович задумался. Он вернулся в кухню. За перегородкой Кузя сидел на койке и докуривал папиросу. Рядом лежала гармония, закутанная в подаренное ему Катей одеяло. У ног стоял солдатский сундучек.

— Ты, вижу, Кузьма, как будто собираешься странствовать! — Он отодвинул гармонию и сел рядом. — Весной я поеду в командировку, возьму тебя с собой. Прокатимся, порыбачим на свободе. А пока, — он остановился, ожидая, когда Катя выйдет из кухни, — живи здесь на здоровье. Хлопцы, да и мы все, любим тебя. И, Кузьма, — его голос дрогнул, — прости ты меня ради Христа за обиду.

Другой случай также запомнился Игнату Степановичу. Когда Иннокентию было около двенадцати, он обратился к отцу. «Ты помнишь, папочка, я просил тебя не давать мне деньги каждый месяц, а копить? Так купи мне чернил». «Этого добра у меня сколько угодно, зачем покупать, возьми, что тебе нужно». «Это не те», загадочно улыбнулся он. «Мне надо такие, которыми ты написал, они высохли и бумага опять стала белой. Невидимые». «Таких нет». «Нет, есть», улыбнулся он наивности отца. «Я знаю». Отец задумался. «А зачем они тебе нужны?» «Для игры в шпионы и провокаторы». «Какая же это игра! Я понимаю, в казаки-разбойники, в индейцы, ковбой». «Это, папочка, старый стиль. Теперь так не играют».

Игнат Степанович провел в тревоге несколько дней. Что с сыном? Откуда у него это? Дело с часами, игра в

провокаторы, секретные чернила! Но прошло некоторое время и отец успокоился, приписав всё это выдумке изобретательной головы сына. Но следующий случай привёл его в совершенный страх.

В одно воскресенье летом Игнат Степанович отдыхал в беседке. Сквозь дремоту он слышал возбуждённые голоса детей, становившиеся всё азартнее. Когда он открыл глаза, он обомлел от изумления: группа подростков во главе с Иннокентием вела корейченка Кима со связанными руками и петлей на шее.

— Что это такое? Что вы с ним делаете?

— Он, папа, признался, что он шпион. На нём нашли секретные бумаги. Тройка приговорила к высшей мере.

— Что это за тройка и почему у Кима рассечена губа?

— Так его же допрашивали, чтобы сознался. Вот захваченные на нём документы. Они зашифрованы, ты не поймёшь. Надо иметь код.

— Я покажу тебе такой код, что ты ввек не забудешь. Кто составил эти бумаги?

— Их штаб. Секретная служба 10-Х.

— Ты даже это знаешь, — заметил отец с щемящей тоской, узнавая в заглавных буквах руку сына.

Что делать? Содрать кожу с сына, чтобы раз навсегда забыл о своих играх? Поговорить с отцом Вениамином? Какой смысл? Ради наставления о морали? Что можно сделать с моралью против секретной службы 10-Х?

В конце лета, в годовщину трехсотлетия дома Романовых, девятнадцатилетний Роман уехал в Петербург и поступил в Политехнический Институт. Отец радовался: вот закончит курс, наберется опыта и в своё время займёт пост управляющего КВЖД.

Письма от Романа были редки, чаще телеграммы в два слова «правоучение-жизнь». Отец кряхтел, качал головой: за учение было заплачено за год вперед, а жизнь студенческая стоила гроши и то, что посылал отец, бы-

ло достаточно.

На следующее лето Роман вернулся домой в студенческой форме с пересечёнными молотами на отворотах тужурки, и сразу оживил отцовский дом: вечеринки в саду, пикники за Сунгари, непрерывный поток молодых людей и девиц. Он привёз с собой модные романсы, выучился выбивать чечётку («вот чему их учат в институте», смеялся в бороду отец) пел из популярной оперетты «Король Веселится».

В середине лета, в самый разгар веселья

На Монмарт взлечу, захочу кучу
Все я ночи напролёт,
И неволен час, я пускаюсь в пляс,
Коль стих на меня найдёт!

раздался мощный взрыв, потрясший мир на века: Германия напала на Россию. Война, война!

Перед сентябрем Роман вернулся в институт и долго не подавал вести о себе. Перед Рождеством пришло письмо с фотографией бравого юнкера-артиллериста, поразившее отца и умилившее до слёз Катю. И опять длительное молчание, пока война тяжёлой поступью прокладывала трагический путь.

Мастер на сюрпризы, Роман написал из Франции, куда был отправлен с особым русским корпусом на западный фронт. Несколько редких писем, то из Парижа, то из других мест, намёк на госпиталь — и опять провал на несколько лет.

Жизнь в благообразном доме шла своим чередом. Великая война мало касалась Маньчжурии. Не коснулась её и мартовская революция, как не коснулся и вероломный октябрь. «До нас далеко, наша хата с краю». Но Гражданская война не только коснулась её, но и навсегда исковеркала её безмятежную жизнь.

Коснулась она и Ильи, а затем и Иннокентия, дав толчек их своеобразным карьерам, если этим казённым сло-

вом можно определить цели жизни каждого. Илья списался с одним из «бумажных» полков, которые, как грибы после дождя, появлялись при омском правительстве, предложив себя в вербовщики, обещав собрать из харбинской молодёжи целый эскадрон. Он заказал себе подобие гусарской формы, золотые погоны с двумя звездами, прицепил ленточку неизвестного ордена и, волоча саблю по улицам Харбина, вызывал восхищение девиц.

В отличие от старшего брата, Илья был представительный, высокий мужчина с открытым лицом, живыми карими глазами и полными щеками, отливавшими слегка фиолетовым оттенком.

Несколько раз друзья устраивали ему проводы «на фронт», заканчивавшиеся «объездом по епархии». Затем прекратились проводы, как и жалование из полка и Илья знал, что время подошло. До этого он завёл себе невесту, был принят, как свой, перехватывал у будущей тёщи на мелкие расходы. Накануне отъезда на фронт, он соблазнил невесту «под будущие лишения» и отбыл в Читу к атаману большого казачьего отряда.

Там его хорошо приняли, открыв широко двери для его таланта и предприимчивости, которые у него тесно связывались с деньгами, до которых он был весьма охоч.

Пока развивалась деятельность Ильи, стали всплывать слухи о хищениях и растратах. Назначенная комиссия обратила внимание, что Илью часто видели в компании дельцов в читинских кафешантанах. На вопрос, какое участие принимали они в разбазаривании казённого имущества, Илья, не смущаясь, ответил, что «не малое».

Когда японские оккупационные войска, главный оплот атамана, оставили Забайкалье, читинским властям было не до Ильи. Он вернулся в Харбин без блестящей формы и перспектив, заметно прибитый читинской историей. Но в доме отца отошёл и охотно повествовал о жестоких боях, замалчивая, о том, что если они и были, то только по пьяному делу в публичных домах.

Пострадать же ему пришлось при встрече с братом обесчещенной невесты, который звонко отхлестал его по малиновым щекам, обещав бить при каждой встрече.

Илья призадумался. После вольной жизни, в доме отца не было ни развлечений, ни денег. Отец, зная о невесте и публичном битье, молча страдал и заметно обходил Илью. Следующим местом действия для Ильи оказалась станция Маньчжурия и городок того же названия. Там он познакомился с богатым мукомолом — «как же человек из столицы!» — и с его женой, к которой чуть не с первых дней «был допущен», как повествовала богомольная старушка из её окружения.

Для Ильи началась привольная жизнь. Купчиха пристроила его на службу к мужу, где он стал управляющим мельницей. Кроме сдобной мельничихи завелись другие женщины, пошли попойки, кутежи. Весёлая жизнь продолжалась до обнаружения больших растрат. На вопрос озадаченного мукомола, как это могло произойти, Илья с видом оскорблённой невинности заявил, что «честь порядочного человека не позволяет ему рассказать всё». После этого остался небольшой шаг до намёка, «что некая особа» снабжала его деньгами «за боевые раны и заслуги перед отечеством». О «ранах» мукомол слышал, но «заслуги» озадачили его. Он вызвал жену и спросил, за какие заслуги она давала Илье деньги. Та побагровела и с криком: «Ах, ты, подлюга гад, врёшь всё!», хлестанула звонко его по откормленным щекам за женскую боль, наслышавшись о его ночных похождениях.

Он перебрался в Мукден, где ему сразу посчастливилось. Два немецких врача открыли контору по истреблению крыс и других вредителей. В переговоре о найме Илья поведал целую историю о том зле и ущербе, которые причиняют вредители, как, например... Но перечислять он их не стал, не зная ничего о них и только стараясь заполучить место. Так оно и вышло. Немцы благословили его на подвиг и уехали в Гамбург.

Борьба с вредителями увеличивалась, радуя немецкие сердца. Илья снял отличный особняк, устраивал приемы для клиентов и вновь повёл широкую жизнь. Так прошло несколько месяцев, в которых наглядно выявилась особенность Ильи: работать усердно, не покладая рук, создать успех — и сразу же разрушить его.

Когда отчёты перестали прибывать и мизерные доходы последних месяцев, немцы задумались: кто же главный вредитель, с кем надо вести борьбу? Его погнали.

Ему всегда везло на новом месте. Циндао. Английская страховая компания, динамичный успех, широкая жизнь, недодача денег, перебор в кассе, мольбы, чтобы не уволили его, а дали шанс исправиться. С именем на черной доске Илья знал, что в Циндао ему было делать нечего. Он перебрался в Тяньцзинь, где после удачно начатой службы, впутался в пренеприятнейшую историю, которая повернула весь ход его сумасбродной жизни.

Пока Роман пробирался на восток после возвращения на юг России и тяжелого ранения под Уфой и пока Илья отсиживался в Чите, сперва на теплом казённом месте, затем под арестом, Иннокентий заканчивал среднюю школу. Харбин оказался его начальной ареной. Благодаря своему положению, как железнодорожному и деловому центру страны, Харбин и сама Маньчжурия привлекли острый интерес Советского Союза, Японии, Америки, Англии и Китая в развязке грядущих событий. Прибытие тысяч российских эмигрантов дало мощный толчок к развитию города. Появились новые театры, рестораны, общественные организации.

Кипучая жизнь развивалась и в самой эмигрантской массе. Создавались политические партии с вождями, кумирами преклонения, с формами полувоенного образца. На их заседаниях ещё трепетало Белое Движение в пафосе пламенных речей, призывах к партизанским операциям, забрасыванию небольших отрядов на

советскую сторону Амура и Уссури.

Иннокентий не терял времени, знакомясь с эмигрантскими организациями. Вначале он попробовал руку на политическом поприще, но сидение до полуночи на глубокомысленных заседаниях с пространными речами было не по его кипучей натуре. Одной из ранних истин, познанных им, было то, что чем косноязычней оратор, тем пространнее он ораторствовал. И вторая: чем грубее человек в своём внутреннем строении, тем больше у него желания верховодить.

С детства у него сохранилась та ласковость, которую отец, не признаваясь в себе, считал сахарной, объясняя её детской хитростью. С годами она замесилась учтивой внимательностью, манерой слушать, склонив голову набок, поглядывая пытливо на собеседника, словно стараясь вникнуть поглубже, что тот говорит.

Его первая служба драгоманом при китайском суде дала ему закалку характера в полном безучастии и равнодушии к человеческому страданию. После года в суде он перешёл в китайскую полицию, что дало ему больше простора. Пользуясь отцовскими связями, он выведал у одного из железнодорожников, перевозивших опиум, о времени, местах и участниках перевозок и анонимно сообщил об этом железнодорожной полиции. Сделал это он по собственному почину, а не по службе, просто ради пробы.

Второе дельцо было по важнее и также «от себя». Партизанское движение было в самом разгаре или так считали его вожди. Некоторые из партизан возвращались с преувеличенными докладами об успехе. Другие попадались в западню и оставляли убитых и пленных.

Одним из громких голосов о наличии предателей был голос Иннокентия, члена партизанского комитета. Пока он говорил о необходимости выявления такого предателя, один из присутствовавших, Позняков, не мог освободиться от мысли, что несколько раз замечал его вбли-

зи советского консульства. Было ли это случайно или происходили какие-то встречи? «Не может быть», повторял он про себя, всматриваясь в его открытое лицо, соглашаясь со всем, что тот говорил — и всё же мучаясь сомнениями.

Однажды после такого собрания он предложил Иннокентию зайти в забегаловку. После двух рюмок водки он начал с того, что тревожило его: он догадывается, кто среди них информатор.

— Это интересно, — оживился Иннокентий, — чтобы только не ошибиться. Тщательно проверить.

— Особой проверки не нужно. Ещё по одной?

— Не думаете ли вы, что подобное явление довольно обычная вещь в наших политических организациях? Недавнее разоблачение информаторов в отделах Братства Русской Правды в Берлине и Праге! А дореволюционные организации эссеров! Такое яркое и я сказал бы блестящее явление, как азефщина! А Иуда...

— Тоже в политической организации?

— Верно, далеко махнул! Но дело в том, что явление это повсеместно и повсеременно...

— Иными словами, подлость повсюду?

Иннокентий поморщился, выдвинул челюсть, произнёс несколько невнятных слов.

— Если хотите сформулировать так... но относительно самой... Тут есть и другая сторона дела.

— Да, — насторожился Позняков, — самостраховка! Предположим, что кого-то видели нераз вблизи советского консульства и предположим у нас потеря в людях...

— А вот вы к чему клоните — к некоторым выгодам!

Позняков ждал, пока Иннокентий допивал водку и дожевывал колбасу. «Нет, не может быть, чтобы это был он! И всё же правда должна быть где-то близко!»

— Дело не в том, я упомянул, потому что пришлось кстати... Что же касается различных встреч, которые могут показаться предосудительными, то это совершенно

другое. Я полагаю, что чем больше их...

— Засекреченного порядка с советскими агентами под покровом ночи?

— Ну, не так романтично! А, скажите, с чего у нас начался разговор, что побудило вас завести его? Засылка людей на советскую сторону под покровом ночи?

«Как вывернулся! Интересно, что дальше!»

Но дальше ничего не последовало. Иннокентий задумался, замолк, словно считая, что сказано достаточно. Познякову не хотелось расставаться, он чувствовал, что если бы разговор продолжился, он нашел бы разгадку своим сомнениям.

Наследующем заседании он предложил реорганизацию партизанских операции, их подготовки, вооружения и мест отправки и высадки. Ничего нового он не сказал, кроме того, что предложил себя в руководители следующей группы партизан, которая по его мнению не должна быть больше двух-трех человек.

— Мы знаем, что где-то сквозит. Есть голоса с намёками, что одного из нас видели около советского учреждения — а их здесь пропасть! — под покровом ночи в тайных, якобы, свиданиях с замаскированными агентами. Остережемся от обвинений по ассоциации — меня, например, можно частенько видеть около них, но есть ли в этом связь со сквозняком?

— Полагаю, — веско заявил седовласый генерал, — что как ваш председатель и глава движения, я вправе выразить от всех нас полное доверие и признательность Иннокентию Игнатовичу за то, что он работает, не покладая рук, на общее дело. Насчёт же личного возглавления охотников я полагаю, как и все, что Иннокентий Игнатович нужен, как вербовщик, больше чем где-либо.

Благодарив склонил голову: воля народа, воля Божья. Председатель остановился глазами на Познякове, о котором накануне Иннокентий говорил, как о природном партизане, смелом, волевом человеке.

Все посмотрели на Познякова. Тот молчал, выжидая, что будет дальше. Когда стало ясно, как повернется дело, Иннокентий привстал: — Я жду назначения.

— Зачем же, — отозвался генерал, — у нас уже есть охотники, — он посмотрел на Познякова. Тот пожал плечами: «надо, так надо».

Последнее слово осталось за Иннокентием, который предложил для успеха разведки опытного по прежним делам человека, за которого он ручается головой. Предложение насторожило Познякова и вселило тревогу — и прежнее сомнение вновь закралось в него.

Незадолго до этого в дом Благообразовых попал человек, которого имел в виду Иннокентий для придачи Познякову. Кое-кто знал его по службе в Забайкалье и Даурии под кличкой «Петя-унгерновец».

На следующем заседании Иннокентий представил его с перечнем петиных боевых заслуг. На вопрос председателя, готов ли он пойти на советскую сторону, он ответил, что «против гадов завсегда».

Иннокентий остался доволен. Возвращаясь домой, он спросил Петю-унгерновца, что он думает о Познякове. Тот покрутил головой и ответил: «Тоняга». Подумав ещё, он добавил: «Весь в кольцах». Это забайкальское определение щегольства было последнее, что было сказано о Познякове.

Пока продолжался партизанский рейд, встревоженный подозрением Иннокентий занялся «на всякий случай» другим. С помощью Кима, которого он чуть не повесил со своими сверстниками лет восемь тому назад, и у которого оказался дар подделывать подписи, он сфабриковал внешне-невинного свойства документы с данными о партизанских налетах, известных только руководителям. Как бы по поручению комитета, он явился в дом, где жил Позняков, и там в его комнате запрятал их.

Недели через две вернулся Петя-унгерновец с историей о том, как они переплыли Амур, посетили несколь-

ко селений, достав много важных сведений, но перед отплытием напоролись на сильную пограничную заставу, в бою с которой был убит Позняков.

На вопрос, какие же сведения они достали, Петя ответил, что все переговоры вёл Позняков, а он был на охране. На вопрос Иннокентия, сколько человек было в заставе, он ответил: «шестеро». «Сколько же их осталось в живых?» Петя пошевелил губами: «трое». «Похвально», сказал генерал и предложил собранию поблагодарить Петю за примерную службу и отвагу.

Затем поползли слухи, что Петя-унгерновец был послан в разведку с целью убить Познякова, который «стал опасен кому-то». Кто это был такой, открыто не упоминалось, словно те, кто поговаривали об этом, боялись идти дальше.

Всё это дошло до Игната Степановича с более подробным описанием Пети, которого в карательном отряде Унгерна знали, как Петю-кувшинчик за его выражение «взять за кувшинчик», т. е. за горло человека, попавшего в его руки. «Это всё Иннокентий, никто иной», мучил себя старший Благообразов, убитый этой мыслью, пытаясь освободить память от навязчивого образа сына в таких страшных делах. Он знал, что Иннокентий приводил в дом странного на вид человека с тяжелой головой, насупленным взглядом глубоко посаженных глаз, с обезьяноподобными руками, несоответствующими короткому телу. Раз он слышал, как Иннокентий, провожая своего ночного посетителя, сказал: «Если поговаривают, то надо смотреться, всё может быть». И другой голос: «Точно». «Я это вам устрою». «Желательно».

Затем в доме появился другой человек, которого Игнат Степанович видел мельком в кухне. На вопрос, кто это такой, Катя замялась, зная, как ему неприятно, что Иннокентий приводит каких-то сомнительных людей, и ответила, «что места не отнимет на несколько дней».

Это был сусливый, куда-то спешивший человек с вы

таращенными глазами, болтливый, уснащавший свою речь церковно-славянскими текстами. Наткнувшись в коридоре на хозяина, он разлился потоком слов, как он «превелику обязан пречестному дому сему за множество щедрот, что блудного приютили, нагого покрыли и раны тяжкие его залечили».

Несколько раз Игнат Степанович слышал повторные телефонные звонки и ответы Кати. Однажды утром он слышал, как Катя остановила Иннокентия и сказала, что несколько дней подряд его вызывают по телефону, но не могут застать: «не называют имени, а сказывают, что вы, Кеша, знаете». «Пусть звонит, если делать нечего», ответил Иннокентий.

«Ах, вот как», задумался отец, вспомнив историю с Ильей и его невестой. Неужели теперь впутался Иннокентий и гоняются за ним?» Поговорить с ним, взять его за рога: с кем водит компанию? Что это за женщина и почему она звонит ему, а он не отвечает? Что он с ней сделал — соблазнил и бросил? Поговорить сегодня же, как только покажется на пороге».

Но ждать сына пришлось долго. Тот словно догадывался и где-то отсиживался. Игнат Степанович то терял сердце, то снова набирал храбрости. Он сознавал, что боялся сына из-за тяжкой вины перед ним, что не доглядел что-то в раннем детстве, что был с ним в каком-то заговоре знать о нем всё и бояться сказать, что нужно.

Далеко за полночь он услышал звук отворяемой двери.

— Иннокентий, — глухо позвал отец, не узнавая своего голоса.

— Да?

— Если бы твоя мать...

— Да?

— Не хорошо, Иннокентий! Не только Илья, а ещё и ты устраиваешь... Разные слухи, какие-то поддельные бумаги... Подозрительный тип, о котором даже страшно сказать... Каким образом он попал к нам в дом? Ка-

кое отношение у тебя к нему? А кто эта женщина, что никак не может добиться тебя? Повторяю, Иннокентий, если бы твоя покойная мать...

— Дует здесь, отец, ещё простудишься, — сказал ласкового, с большой теплотой Иннокентий, беря его бережно под локоть и проталкивая в его комнату.

На следующий день, вернувшись со службы, он узнал, что Иннокентий уехал. Только три слова освоил он полностью: «оставил отцовский дом». Он порасспросил Катю, но только несколько слов: «Кеша вернулся около полудня на извозчике, собрал вещи и уехал». «Сказал что-либо?» «Нет, ничего особенного». «Грустный был?» «А, не спрашивайте, Игнат Степанович», со слезами ответила Катя.

От Романа не было вестей, кроме одной карточки с юга России, да и то, когда же это было! Погиб парень, страдал отец. Такой весельчак, хороводчик, добряк, такому бы только жить! Смириться с такой потерей и перенести все надежды на младших сыновей — для отцовского утешения в старости! «Вышли денег на дорогу». Каких еще вестей ждать от Ильи? А Иннокентий! Вот от кого придется страдать ещё больше! Прославишь ты наш род Благобразовых!

В один из тоскливых дней он обошел опустевший дом, заглянул в комнаты сыновей, потрогал их вещи, посидел на их кроватях, словно проверяя, хорошо ли им спалось у отца.

В комнате Романа было много книг, которыми зачитывалась тогда молодежь: «Санин» Арцыбашего, «Дни нашей жизни» Андреева, «Яма» Куприна». Он вспомнил оживленные споры молодежи об этих книгах на вечеринках Романа, особенно о «Яме», одном из публичных домов в киевском районе Большой и Малой Ямки. Он взял с полки книгу и с интересом прочел, как девушки под Троицу украшали зеленью зал одного из домов.

«Значит, все же в Бога веруют».

В комнате Ильи почти не было книг кроме, школьных. «У парня всё в голове», вспомнил он свои слова. «Зачем ему книги, он живет своим. Лучше бы читал всякую дрянь, пожалуй пошло бы впрок».

У Иннокентия, наоборот, было много книг. Одна из них описывала деятельность Евно Азефа, бывшего одновременно членом боевой дружины социал-революционной партии и секретным агентом петербургской полиции. Он перелистнул несколько страниц, поразившись обилию подчеркнутых фраз и слов, вопросительных знаков и замечаний, написанных рукой Иннокентия.

Среди других книг были «Воспоминания секретного агента», «Провокаторы за работой», несколько таких же подобных и толстый конверт с газетными вырезками об известных делах и процессах провокационной и шпионской деятельности.

Острая боль заняла в нем. Он сел на кровать, опустив к коленям голову, вздрагивая плечами. «Так вот, кто его учителя! Вот откуда всё! Но нет, не может быть, чтобы он мог читать это, когда разыграл историю с часам или просил достать ему секретные чернила. Значит, ещё до них, ещё в зародыше таил эту мерзость. Но от кого мог он унаследовать это страшное наследие?»

Человек, недавно гостивший в благобразовском доме и от болтовни которого нетерпеливо отмахнулся Игнат Степанович, рассказывал о себе просто: «Меня в глаза и за глаза зовут Выдра. А я вовсе не Выдра, а Воздвиженский, бурсак по свойству и выработке. Благочестивые родители мои уготовляли мне пасторство и умилялись до слез от образа молодого иерея — сиречь аз, ведущего стадо заблудших овец к всевечному спасению души. С малолетства я рос в евангельском чтении, вытягивал на клиросе «Разбойника благоразумного». Потом семинария и попутно первое и неоднократное грехопадение,

поелику дьявол, сей коварный искуститель, подбил и меня слабого вкусить не от древа познания добра, а зла. Пою, бывало, из Триоди постной, а заместо слов: «множество содеянных мною лютых помышляя окаянный, трепещу страшного дне судного», а в голову лезут непотребные мысли. Ещё до этого ректор семинарии застучали меня за одним из художеств и в яростном гнѣе изрекли: «ты, верно, Выдра!» А тут, как после великопостной заутрени нашли у меня творения господина Баркова и взявши имущество моѣ железными щипцами, дабы не осквернять оным перстов своих — высокой святости были — а другими впершись, яко клещами, в ухо моѣ, вывели меня на двор сжечь оное, после чего погнали со словами: «Гряди, Выдра, откуда пришел, поелику врата сии, как и врата Божьего царства закрыты для тебя».

Выдра был запутан в одном деле, в которое, как намекал он, втянул его Иннокентий. В городе произошло сенсационное похищение сына богатого ростовщика. О самой сути дела он ничего не знал, кроме того, что Иннокентий несколько раз поручал ему встретиться с какими-то людьми для передачи чего-то. Что было в них, он не знал, но где-то сболтнул об этом. Когда полиция, найдя труп похищенного, приблизилась к раскрытию дела, Выдра был притянут, как свидетель, что в практике китайского суда означало пребывание в тюрьме.

Он сидел, пока шли розыски — преступники ещё не были арестованы — и сидел бы дольше, если Иннокентий не намекнул бы ему заявить, что у него есть подозрения, но он должен проверить их на свободе. Его освободили на слово Иннокентия, который за это потребовал от него вознаграждение весьма странного характера.

Некоторое время спустя он пригласил Выдру в харчевню, где за выпивкой и китайскими пельменями спросил, помнит ли он о своем обещании отблагодарить. Выдра заметался в пространном ответе, что это, как «целованис

святого креста» и что он только и помышляет, как отблагодарить своего благодетеля.

Иннокентий ничего не ответил и занялся едой. Некоторое время спустя, он спросил его холост он или нет. «Это вы насчет женского пола?» «Ну, это меня не касается. Я насчет того — связаны вы узами или нет». «Брачными?» «А какими же ещё?» «Пока Господь Бог уберег». «Ну, это только пока», и Иннокентий рассыпался таким смехом, что у Выдры водка попала не в то горло.

Перед расставанием Иннокентий назначил другое свидание. Они встретились и Иннокентий попросил его подождать несколько минут, пока он сходит по одному делу. Вернулся он с молодой миловидной женщиной «из белошвеек», как решил Выдра. Иннокентий пригласил их в «Казбек», угостил их шашлыком, заказав мадеру для девицы и графин водки, на который усиленно приналег Выдра.

Иннокентий смешил шутками раскрасневшуюся от вина девицу, а Выдра, поднимая рюмку, приговаривал «за общее счастье».

По дороге домой Иннокентий попросил Выдру подождать на том месте, где они встретились, сам же отвел девицу до угла. «Пусть молодые милуются», благодушно думал Выдра, закуривая папиросу. Вдруг он услышал громкий плач женщины, полный такого горя и отчаяния, от которого, по его словам, «словно полоснули ножом по сердцу». Пока она рыдала с глубоким захлебыванием, Выдра слышал ровный голос Иннокентия. В поздней его передаче это звучало так: «Перестань дурить, на всё есть высшая воля. Прими, как положено Господом Богом!» Последние слова были явно выдумкой болтливого человека, так как всё говорило о том, что если есть у кого воля, то не у Господа Бога, а у Иннокентия Благобразова.

Вернувшись один, Иннокентий сказал с теплотой:

— Ну, вот вам и невеста!

— Шутить изволите, Иннокентий Игнатович!
— Что же шутить! Другая сторона согласна. Дело за вами. Девушка видная.

— Что и говорить... Только это как-то...

— А кто готов целовать крест?

— Ах, вот как, — встрепенулся Выдра, трезвея.

— Не давали обещания?

— Только меньше всего я думал, что...

— Думать не возбраняется, но обещание обещанкем. Девушка хорошая, работоспособная. Что вам болтаться одному, как неприкаянному? Заживете счастливо, заведете мастерскую шитья. Ничто так не успокаивает разбитые нервы боевых кавалеров, как вы, как не ровный шелест швейных машин системы Зингера! Деток заведите. Ведь это такое счастье!

— Ах, вот что, — окончательно отрезвел Выдра. — Так, так... Дайте подумать маленько.

— Ничто так не способствует ясной мысли, как одинокий номерок в гостинице тюрьма. Это можно устроить легко, ведь вы у меня на поручках. Вы ещё не сообщили имена и не сообщите, пока я вам не...

— Так это вечно будет висеть над мной?

— Зачем же! Всё зависит от вас самого. Розыски, затем следствие, допросы с пристрастием даже свидетелей, от китаёз всё можно ждать! — не меньше года. А вы тем временем сниметесь, дело к зиме, как перелетный гусь, и полетите с богоданной супругой в теплые места. Я не тороплю, брак даже по любви дело серьёзное. Думайте, сколько хотите, но только от этого угла до того.

— Так, так, понимаю. Отчего же не потрафить своему благодетелю: и в доме обласкали и из темницы вызволили. Соглашаюсь, но позвольте и мне выставить свои кондиции.

— Какие же это, — нахмурился Иннокентий.

— Перво-на-перво, благословите вместо отца родного на оное честное бракосочетание, сотворяемое по уста-

ву пресвятой православной церкви. А второе в соответствии с данными.

— Это что же такое?

— А это каждый умный человек поймет. Вам, Иннокентия Игнатович, говорить об этом нечего.

Иннокентий не настаивал: значит, «всё заметано».

Перед свадьбой Выдра извлек у дантиста золотые коронки зубов и заказал обручальные кольца. То, что он назвал «в согласии с данными» была свадьба в тюремной церкви. «Кто умный», приговаривал он, «ещё как поймет».

О свадьбе он рассказывал ещё с большей словоохотливостью при любом случае поюродствовать. «Рыдала моя нареченная под венцом и после оно, аж жалко смотреть. Уж на что у меня закаленное сердце, но и оно надрывалось. Но брак есть союз нерушимый и грех великий перечить супругу на брачном ложе».

Супружеская жизнь Воздвиженских шла так, как следовало ожидать: ни мастерской шитья, ни успокаивающего щебета машин! Через три с половиной месяца, подскользнувшись на льду тротуара, она выкинула мертворожденного.

Несколько дней она лежала то в беспамятстве, то в оцепенении, не допуская к себе мужа, который и не настаивал на этом. В дровяном сарае он выпилил из фанеры гробик, оббил его кусочком голубого газета — «много ли недоноску нужно!», пристроил к нему ремень через плечо, понес через весь город, бодро поглядывая по сторонам и юродствуя: «Смотри, честной народ, хоть дитё и не моего рукоделия, а какая забота и любовь! А гробик — чисто конфетка!» А на кладбище, притоптав заботливо холмик, махнул прочувственное слово: «Истине, сыне, глаголю от лица твоего — в беззаконии зачат есмь и во гресех роди мя мати моя».

Эта история с обычным преувеличением, как бывает со слухами, дошла до Игната Степановича. Но что

ещё больше ошеломило его, это известие от Иннокентия, что он женился. Пол листика почтовой бумаги, две бездушные строки. Подпись, словно отпечатанная гуттаперчевым штампом. Без адреса отправителя. Штемпель одной из станций южно-маньчжурской железной дороги. «Почему там? Бежит куда-то? Женился без отцовского благословения! Мерзавец», не сдержавшись, крикнул он, одернув себя сразу, чтобы не слышала Катя.

Приближался конец Великого поста. Показалась весна, но с севера подул ветер и вернулась без снега зима.

Игнат Степанович говел истово, стоял подолгу на вечернях примиренный, со слезами, застилавшими ему глаза, множа сияния золотых и серебряных риз. Но служба кончалась; на дворе холодный ветер пригибал его, он втягивал голову в воротник не столько от холода, сколько от давящего гнета.

Пасха пришла ранняя, без намека на весеннее пробуждение. Игнат Степанович отстоял длинную заутреню, ожидая, когда Катя с зажженной свечей, была готова идти домой.

Обычно Катя никогда не садилась за стол с Игнатом Степановичем, но на этот раз, поднеся ему крашеное яичко и похристосовавшись с ним, она села за пасхальный стол. Игнат Степанович выпил первую за сорок дней рюмку водки, повеселел и после повторной изрек: «Хоть и нет семьи, а всё же есть дом!» «И семья ещё съедется, и внучата появятся. Да и Ромочка даст весть о себе». «Ну, дай Бог, спасибо за твои добрые слова, Катя».

В родительское воскресенье Игнат Степанович побывал на кладбище, поплакал над могилой жены. Теперь всё у него было сосредоточено на памяти о ней и думах о Романе, на первой, обвешанной благоговением; на вторых, борющихся с горячими надеждами на возвращение сына.

В один майский день у благообразовского дома появился невысокого роста человек с накинута на плечи солдатской шинелью и мешком в руке, тяжело припадая на ногу, но с прежней подкупающей улыбкой на открытом лице, не той беспечной, как прежде, а смущенной, словно на нем была непростительная вина за поражение России в Великой Войне и развал Белого Движения.

Старшего Благообразова не было дома, а встретила его Катя, вначале не узнавшая его, а затем заревевшая от счастья и сожаления. Роман осторожно обнял её и поцеловал, словно боясь, что этаким мужественный человек сам прольет слезу.

Когда вернулся Игнат Степанович, Катя сказала загадочно:

— Господь Бог знал, чем вас порадовать, ждали долго, подождите ещё маленько, — и в эту минуту в дверях показался Роман, наспех повязывая галстук, и в тон катиных слов добавил:

— Господь Бог только не знал, во что мне одеться, кроме отцовского костюма!

Приезд Романа несказанно обрадовал отца. «Вот оплот семьи, первенец! Будет время, съедутся и другие сынки, дай Бог, чтобы перебесились. А что до прошлого, можно и забыть. Прощать надо. И поддерживать. Каждый поможет друг другу, не выдаст! Не выдаст, а?» — и опять застонало у него в груди.

На следующий день Роман принес с базара двух маленьких поросят, отгородил им место во дворе и в керосиновой банке над костром варил им месиво по четыре раза в день. «К Рождеству или к Пасхе?», подшучивали соседи и Роман добродушно отмахивался рукой.

Отношения между отцом и Романом отличались сердечностью, скрытой под насмешливостью первого и нарочитой грубостью сына. Отец обращался к нему по имени и отчеству, а тот звал его батей.

Так прошло лето. Ни прежних вечеринок, ни пижники-

ков за Сунгари. Не было и чечётки. Роман заметно притих, не по годам стал старше, словно за последние десять с лишним лет жизнь его удвоилась.

В октябре, в одно из воскресений, в соборе была назначена панихида по замученным жертвам Белого Движения. Накануне по городу поползли слухи, что советские власти на дороге натравят рабочих из дорожных мастерских и комсомольцев на провокацию. До этого в городе уже происходили частые стычки между ними и боевыми дружинами эмигрантских организаций, во время которых пускались в ход кастеты, ножи, велосипедные цепи и револьверы.

В это воскресенье пошел на службу и Роман, обычно редко ходивший в церковь. По какому-то странному чувству он вернулся с полпути захватить наган, повесив его на ремне под бекешей.

Пока длилась архиерейская служба, в соборной ограде собирались враги. Как обычно, перед проповедью народ повалил из собора покурить и поговорить. Ожидали, что во время панихиды комсомольцы учинят скандал, после чего в ограде произойдет великое побоище. Некоторые гадали, кто кого побьет и готовы были ставить об заклад, советуя не отходить далеко, чтобы понюхать «свежей крови».

Обедня закончилась, но многие остались в соборе на панихиду. Когда запели «Со святыми упокой», один из комсомольцев крикнул: «Собакам — собачья смерть». В соборе произошла первая схватка, немедленно переброшенная в ограду. Появились кастеты и ножи.

В соборной ограде оказался и Роман. Он видел бежавшего из собора комсомольца и слышал крики: «Держи комсомольскую сволочь!» Кто-то бросился под ноги бежавшего и тот упал. Они сцепились, крепко держась друг за друга и стараясь подняться на ноги. Один из рабочих бросился на помощь комсомольцу и велосипед-

ной цепью ударил дружинника по голове и плечам. Полилась кровь, но тот продолжал держать своего врага. Рабочий ударил его ещё раз и тот со стоном повернулся, опустив на руки кровоточащую голову.

На убегавшего комсомольца бросились другие, но он выхватил револьвер и выстрелил в одного из них, втягивая голову в плечи и пригибаясь к земле.

Роман кинулся за ним огромными прыжками, махая для баланса руками, с тем чувством ликующего возбуждения, известного охотникам по крупному зверю или бойцам в рукопашной схватке, которое он испытал сам, скатываясь с крутого берега Волги и подымая за собой облака пушистого снега, в погоне за красными партизанами. «Стой, мерзавец», крикнул он, и когда тот повернулся к нему с револьвером в руке, нацеливаясь на Романа, он со звериной радостью выстрелил в него.

Роман знал, что под давлением советских властей на дороге китайская полиция арестует его. Меньше всего он хотел причинить неприятность отцу. В тот же день он перебрался на ближайшую станцию, сел в поезд и вновь потерялся на несколько лет, пока не появился в Шанхае.

Т И Х А Я З А В О Д Ь

Просторный особняк на тенистой улице французской концессии Шанхая. Большая веранда, стеклянные двери в сад. В дальнем углу за книжным шкафом председательствует хозяин. Делает это он несложно, с привычкой человека к ежедневному занятию, покоясь в просиженном кресле у стола, заваленного театральными афишами, альбомами, рецензиями и газетами со всего российского зарубежья. Театральные объявления и рецензии его главный интерес. Затем отдел происшествий и похоронные оповещения.

Феодор Максимович Немезидин-Волжский, он же Немезид Немезидыч, давно оставил мысль об игре: «Если меня нет в театре, то и театра нет для меня».

Наверху, на втором этаже и части третьего, жильцы. Здесь мир хозяйки, у которой, по издревле заведенному актерскому обычаю, своё сценическое имя Аделаида Эрдели, она же Адель Эрдель — тужур фидель.

По утрам Феодор Максимович копается в своих рецензиях, готовя воспоминания старого актера; на веранде тихо, уличный шум не доходит до неё. Иногда слышатся отрывки романа или бормотание Аделаиды Викторовны, да в клетке в углу зашумит крыльями птица и выкрикнет глухим голосом несколько военных команд. Это корнет фон Выпивон, попугай в лазоревых рейтузах и алом ментике, оставленный забулдыгой ахтырцем вме-

сто двухмесячной платы за пансион с пьяными мольба-
бами воспитать питомца в славных полковых традициях.

У Феодора Максимовича летосчисление своё: до и после. «До» шло наилучшим образом: свой театр, гастроли по волжским городам, толпы боготворившего юношества. «После» пошло скверно. Началось с последнего дня масленицы, обильного возлияния перед Великим постом и закрытием театрального сезона, пьяного покаяния и прощения. Наутро, в чистый понедельник, баня для очищения телесного, хлестание веником по дородным телам в клубах горячего пара. Жбан холодного кваса. На второй день легкий зуд в горле, хриповатые нотки, а через неделю от голоса, ещё недавно заставлявшего трепетать восторженные сердца, не осталось ничего, кроме гнусного сипения.

С этого и началось: мартовская революция, октябрь, Гражданская война, откат на восток — «и вот докатились до города желтого дьявола!»

Вначале скромный пансион в еврейском районе Вэйсайд. Затем, классом выше, на французской концессии. Здесь уже на веки вечные. Снова свой театр. Но можно ли играть по-настоящему без родной Волги, щедрых купцов, восторженного юношества? Без своего участия? Написаны ли роли для безголосых благородных отцов? Поражать сердца движением бровей?

Театр Немезидина-Волжского. Труппа, в которой каждый играл то по-Станиславскому, то по-камерному, то по заветам александрийки, впрочем, сходясь одинаково к плохой игре.

— И слава Богу, что в плохой, — соглашался Немезидин. — В настоящей труппе хорошо играть должны только два человека, как у меня на Волге, я да Аделаида. А остальные пусть как могут. Так было у Северина Аскольдова в Сызрани, у Петухова Третьего в Самаре. У кого ещё?

— У Мордобейчика в Яссах, — откликнулась Аделаида

Театр шел. Пятидесятилетняя Адель-Эрдель, бессменная «енженю-драматик», играла взбалмошную девицу в «Дикарке» и молодую героиню в «Казни», предмет горячей любви тореодора, попавшего в Россию. А старый актер за кулисами, судорожно хватаясь за горло, страдал в молчаливом бессилии.

Время приближалось к полдню. Газеты просмотрены. В местных отдел происшествий оказался скудным: два утопленника, пожар на хлопчатобумажном складе. В похоронных извещениях ни одного знакомого имени.

Феодор Максимович брался за юбилейные часы, щелкал крышкой, неспеша обдумывая, что заказать на завтрак.

— Так, значит, голубчик Василий, — говорил он китайцу повару, — дашь селёдочку с тонкими кружками картофеля и кольцами лука, всё это окроплено горчичным соусом. Второе, дашь...

Повар смотрит на корнета фон Выпивон, который перед завтраком легкой гимнастикой нагоняет аппетит. Заказ хозяина он слышит каждый день, ничего нового в нем нет.

— All same before?

— Ол сэйм бифор, — передразнивает фон Выпивон.

После легкого сна «минут в сто двадцать» старый актер надевал широкополую шляпу, набрасывал на плечи черный плащ из «Братьев Разбойников», брал в руки трость с собачьим набалдашником и выходил на прогулку, рослый, осанистый, с выражением величия на белом, словно мукой посыпанном лице.

Тридцатые годы. Теплый мир, внутренне мало отличный от того, что остался позади на берегах Волги, Дона, Днепра, Невы, Москвы-реки, Амура. Что, если чужие толпы на улицах, чужие голоса, чужие языки!

Русскому человеку, не по своей воле менявшему адреса за десятки лет, нетрудно привыкнуть ко всему этому.

Всё, что внешне, не его. Собственный мир внутри в верности установленному порядку. Где бы он ни был, через год-два над крышами чужих городов поднимаются золотые луковицы куполов, а на улицах появляются вывески с новыми названиями и именами.

Так произошло и в Шанхае. Кроме куполов и вывесок появились общества, клубы, зашелестели костяшки лото по четвергам, затанцевали по пятницам фокстрот и модный тогда «шимми», потрясывая в нём всем, чем можно, появлялись на опереттах и драмах по субботам, хаживали из-за мясных пирожков на воскресные литературные утреники.

Одним июльским утром в отделении международной полиции на Гордон роад появился молодой человек в приличном костюме, с открытым лицом, ясными сероватыми глазами, и на хорошем английском языке спросил о службе.

Полицейский сержант в желтоватых кольцах, прилипших к розовому черепу, с багровой сетью кровеносных сосудов на пухлом лице, прикинул на глаз его рост и вес, осмотрел, как осматривают лошадей при покупке, чуть не готовый задрать ему верхнюю губу, чтобы определить возраст. «Служил в полиции?» «Служил». «Почему бросил?» «Политическое положение, новые хозяева на Китайско-восточной железной дороге». «Участник Гражданской войны, как большинство русских здесь?» «Нет, не вышел по годам». «Белый эмигрант?» «Не считаю себя таким».

Сержант просмотрел записку с занесенными ответами. «Что же вы хотите?» «Службу при полиции по влечению сердца...» «Ах, вот как! Не просто жена и дети!» Сержант задумался. Что же, надо понимать! Другой народ. Говорят, что у них даже душа другая. Кроме того, при наплыве беженцев скриминальным прошлым (ушанхайских властей не было другого мнения, что эмигрант-

ская масса состояла из преступников), этот парень может оказаться нужным материалом.

Сержант вышел в другую комнату поговорить с инспектором.

— Почему вы не пришли в главное управление?

— Я не знал, где оно.

— Вот вам адрес. Обратитесь туда заполнить бумаги. Мы позвоним отсюда. Повторите ещё ваше имя.

— Иннокентий Благообразов.

«Значит, завтра», повторял он в ликовании, потирая руки. «Если не завтра, то через неделю-две, во всяком случае в ближайшем времени. Помещеньице, кадры. Заглавие уже есть, выношенное в душе годами — Эмигрантское Эхо! Правдивое отражение эмигрантской действительности. Чуткое ухо, твердая рука, мужественное сердце. Три кита. Стойкость, правдивость, мораль. Ещё три кита. Обслуживание, участие, поддержка. Довольно китов! Займут всю редакцию, не будет места присесть главному редактору Андрею Авдеевичу Стоянову».

Отрекомендовавшись в Тихой Заводи как литератор и свой человек в театре, он с приятностью услышал от хозяина, что «таковые нужны, так как настоящих знатоков здесь, как кот наплакал». «Теперь есть», ответил он.

— Вот вам и теремок, — сказала Аделаида Викторовна, поджидая его наверху. Андрей Авдеевич оглядел комнату, голубые обои, швейцарский вид на стене.

— Мне бы не так голубую спальню, как кабинетик. Письменный стол, лампа с абажуром, кожаное кресло.

Со станции пришли чемоданы, сундук, ящики с книгами. Всё бережно расставлено по местам, на столе бювар, малахитовая чернильница и пресспапье, перья, стопы бумаги. Оставалось только окунуться головой в любимое дело, не деля его ни с каким иным занятием.

Домашний жакет, мягкие туфли, качалка. Розовый свет из под абажура. На столике рядом увесистые папки

с трудами многих лет, альбомы с вырезками из газет. Перелистнул страницу, другую...

Великолепие новогоднего бала в Железнодорожном Собрании не поддается описанию. Весь бомонд Харбина и Пристани на лицо. Туалеты последних парижских мод, бриллианты, слепящие непривычные к ослепительному блеску глаза...

Андрей Авдеевич досадливо потянулся за карандашом: слепящие и ослепительные! Просмотрел, так и пошло в печать.

Прически дам не поддаются описанию, достаточно сказать, что растительности на них было больше, чем на маньчжурских сопках...

Дата: январь 1916 года. Сладкие воспоминания, счастливейшая пора жизни. Молодость. Талант. Не очень быстрая, но и не очень медленная карьера в отделе транзитных перевозок скоропортящихся грузов.

Другая папка. Отдел, посвященный недюжинным способностям русского человека. Внизу строка: материал для приветственных речей, газетных отчетов и некрологов.

Из числа незаурядных людей и самобытных изобретателей нельзя не отметить Ивана Мефодьевича Густафсона. С ранних лет он проявляет необыкновенные способности, не оцененные полностью. Учитывая это, он, достигнув совершеннолетия, видоизменяет свою фамилию Густопсова в надежде, что людям с немецкой фамилией легче продвинуться вперед.

Он изобретает волосостригущий прибор, снабженный колесо-ступенчатыми ножами, для стрижки голов, усеянных наростами и шишками. Позже, усовершенствовав свое детище, он снабжает его особым рычажком, что значительно расширяет применение инструмента для голов конической и яйцевидной формы...

Дальше, дальше...

С раннего детства его интересует применение технических нововведений в музыкальных инструментах. Он приспособляет кузнечные мехи к балалайке и создает первый в мире балалаечно-органный инструмент, сокращенно названный бал-органом. Никакие трудности не смущают его! Так, напри-

мер, оказалось, что от перегрева мехов, помещенных подмышкой правой руки исполнителя, появляется острый зуд, особенно при исполнении таких популярных номеров, как «Светит месяц» в шестнадцать вариаций, заставляя музыканта откладывать в сторону инструмент или героически страдать. Он тут же изобретает розовый порошок для поглощения излишней потовыделяемости, что сразу же награждает его горячей благодарностью обладателей балорганов.

Умри, Денис, лучше не напишешь!

— Он такой свежий, — воскликнула восторженная жилица.

— Вот тебе, Феодор, и суфлер. Говорит внятно, размером небольшой, как раз по будке.

— Ты ещё скажешь, Аделаида, стоять билетером или на вешалке! Этому подавай кресло в четвертом ряду. Не дашь, постановку очернит, действующих лиц с земли сотрет. Такого надо окультивировать. Правда, в природе мудро устроено, что актеры и литераторы выпивают. А это уж легче, всегда найдешь общий язык.

— На вид культурный, нашего круга, — заметила пожилая жилица, закидывая назад голову и закатывая глаза, глядя задумчиво вдаль круглыми ноздрями.

— Знали, знали, — отзывались недоброжелатели, — литератор. Рассказики на тему «Сияла ночь восторгом сладострастья», с надрывом, приглушенным воплем, как может писать только пятидесятилетний девственник.

— Что же он, абнормал? — спросила первая гостья.

— Таких нет, знаю по опыту, — отозвалась вторая.

— А как фамилия?

— Стоянов, Андрей Авдеевич.

— Как же, — оживился вертлявый человек, мотая лохматой головой и размахивая руками.

— Ну, сейчас придумает!

— Родился под праздник великого Андреева стояния, когда...

— Довольно! Какой пакостный язык у Выдры!

Мягкий, застенчивый, с внезапно вспыхивающей стыдливой улыбкой и мелодичным смехом, он был по-девичьи привлекателен. Все, кто его видел, смотрели на него с удовольствием, приговаривая «какой счастливый человек!» Но он легко менялся, становился неожиданно дерзким, чтобы тотчас ж спохватиться и спросить себя с подкупающей улыбкой: «Что со мной?»

Таков был Ипполит Ипполитович, человек лет 25-ти, стройный, с нежным лицом, голубыми, всегда смеющимися глазами, с белокурыми вьющимися волосами. Он щеголял в белом пикейном костюме, носил франтовато, чуть на-бок, канотье и трость, которую иногда, стыдась, прятал за спину.

Однажды он встретил двух русских женщин, которых видел как-то в Тихой Заводи. Поравнявшись, он застенчиво обратился к ним, назвав их сударынями, и сказал что-то, что сперва привело их в удивление, а затем в негодование. Ипполит учтиво раскланялся и отошел, но одна из них догнала его и ударила по лицу. Он засмеялся и сказал: «Так мне и надо!»

Он заговаривал о женитьбе с теми, кого она интересовала меньше всего, обещая в следующий раз открыть имя невесты. «Почему же не теперь?» Ипполит заливался смехом, от которого становилось приятно всем, кто слушал его. «Ещё рано разглашать», отвечал он, любуясь теми, кто спрашивал его, не замечая насмешек и продолжая доказывать, что человеку нужна любовь и семья. «И всё это будет, только надо немного повременить, так как ещё не пора!»

Всё, что связывалось с любовью и страстью, передовалось им повизгивающим голосом, с сипящими придыханиями и внезапными задержками на полуслове, то, что Немезидин-Волжский — сам в свое время редчайший мастер этих тонкостей — называл «архитектоникой сценического языка», отсутствие которой у актера означа-

ло его бездарность. Если еще при этом он умел раздувать ноздри, где того требовала страсть, и ходить, припадая вперед и хватаясь в драматических моментах то за лоб, то за поясницу, успех актера, как первого любовника, был обеспечен.

Таким он и был в труппе Немезидина-Волжского, в меру длинный, тощеватый, курчав и белотел. Фамилия его была Лютов, но его жена, будучи ещё невестой, девушкой романтической складки, настояла на том, чтобы он сменил её. «Что в вас лютого», говорила она, «вы такой симпатичный, прямо лютик». С тех пор он стал Лютин, а при поступлении на сцену — Лютин-Ковылин. В мире же зубоскалов его звали Люто-Кобылин.

В жизни же он был человек рассудительный, говорил лающим голосом, бросал несколько отрывистых слов, победоносно оглядывая других и тыча рукой в воздух, на что его жена отзывалась: «Алексис, не рукусуй», и добавляла: «Посмотрите, мой первый любовник то как разошелся!»

Его жена, говорившая о себе в третьем лица («дама приказала», «дама позволила»), обожала иностранные слова, дымчато-сиреневые тона («мой цвет»), деликатность в обращении и пальто с широкими раструбами внизу.

Салон красоты Мадам Антуанет. Стены и мебель в выдержанных сиреневых тонах. По утрам пульверизаторы выпускают облака персидской сирени. Сиренево-дымчатые платья на хозяйке и помощницах. Деликатные разговоры о волнах волос и лосьенах.

Из мужчин она обожала флотских, «они такие авантажные!», в минуты откровения признаваясь в романе не то с адмиралом, не то с гардемаринном, но что-то сорвалось, то ли флот снялся рано с якоря, то ли сиреневое платье не было готово для решающего свидания. Дело всё же поправилось позже, когда она вышла замуж за Лютика, тоже флотского, так как он служил конторщи-

ком на пристани в Сунгари.

Она обожала, когда её называли Тошей; этот звук ласкал её чуткое ухо. Но грубые люди не понимали этого и звали её Тоже Кобылина.

— Что готовите к этому сезону, Феодор Максимович?
— Почтительный голос, склоненное на-бок лицо, живые глаза.

— Что же можно готовить, если сам не играешь!

— Ну и что? Вы же можете направлять ещё как!

— Направлять! — с горьким смехом и безнадежным взмахом руки. — Это, дорогой Исай Давидович, не икру по лавкам поставлять. Видели последнюю постановку? Опера, да?

— Ну, опера. «Евгений Онегин». Пели ничего себе, а потом взяли и убили самого лучшего певца.

Через несколько дней после подачи заявления Иннокентия Благобразова вызвали на интервью в главное полицейское управление. Оно прошло, служба была за ним.

Пошли ровные дни. Жена Ольга, Нюта, сам. Квартира вблизи Бабблинг Вэлл роад. Служба жены в страховой компании в добавление к его заработку.

После авантюрных дней и рискованной игры в Харбине Иннокентий радовался перемене. На новом месте, не зная никого и надеясь, что никто не знает его, легче изменить жизнь, порвать с прошлым, подавить в себе острое желание скользить по канату над пропастью.

Выдра, гусь перелетный, которого Иннокентий отправил несколько лет назад из Харбина в теплые места, увидел его сходящим с паперти шанхайского собора. Рядом с ним шла молодая женщина, а по другую сторону девочка, держа его за руку.

Выдра уставился на них вытаращенными глазами, пока лихорадочные мысли металась в его возбужденной

голове. Каким образом, откуда? Что это — семья? Когда же успел жениться и обзавестись дочерью? Сколько же ей лет — семь, восемь? Неужели столько лет прошло после истории с белошвейкой?

Горя от нетерпения, Выдра бросился навстречу Иннокентию. Ещё сходя с паперти, Иннокентий заметил знакомую фигуру; он нахмурился и тяжело перевел шею, первый признак раздражения. Когда же Выдра, раздвигая толпу, бросился к нему, Иннокентий освободил руку и, не глядя на него, сделал предостерегающий жест, каким останавливают уличное движение.

С этого и начались пересуды, порожденные в пылкой на выдумки голове Выдры, с которыми он делился со всеми, готовыми слушать его.

— Свояк мой появился здесь, так рад, нет слов сказать! Добряк, не наладуешься! Не только готов рубашку с себя снять и отдать нагому, но и девушку любимую устроить другу, да еще ребеночка в придачу. Правда, выкидыша ребеночком не назовешь, а все же своя плоть. А вот, что чудно: своего справил, а чужого принял и возлюбил, яко плоть единокровну! Сочетался со вдовушкой, а то прикрыл глаза — чей, мол, ребенок! А где подхватил? В пути, поди. Может быть, бежать пришлось, от каких причин одному Богу известно, да ещё кое-кому!

Выдра делал передышку, принимал страдающий вид, вздыхал, вознося очи к небесам.

— Своим попустился, а чужого приголубил. По жалости, аль по любви? А то в пути прихватил, чтобы не скучать. В бегах, один, вот-вот выловят. Непогодица. Ночь близится, деваться некуда. А тут огонек: домик на вид привлекательный, поди и люди такие же. Открыли. Старичек с кулачек, внученка. «Лёка, подь сюда, Господь гостя послал...»

— Позвольте, на самом деле вы это видели? И станцию глухую и старичка?

— Зачем же мне их видеть, когда мне достаточно соб-

ственноручно, так сказать, лицеизреть своего свояка.

— В бегах?

— Здесь, в соборе. С супругой и деткой.

— И он сам рассказывал?

— Рассказывать нечего, если я сам вижу насквозь.

— Фантазируете здорово, если не подвираете!

— Что меня заедает — это детки! Ломаю себе голову: от праведности или от чего другого... Не о первом! Тому «надгробное рыдание творяще песнь». О дочурке-белокурке от чужого папаши. Если от праведности, то поздравительно. Люблю тебя, супруга богоданная, и люблю плод прежний чрева твоего. Вот какой я хороший! Что я и видел на паперти: орла и голубицу, льва и овечку! Чем же кроткая взяла его? Красотой, невинностью? При толстых очках и готовом ребенке? Одно из двух — благородство или расчет. Облагодетельствовал сиротку, а то и грешницу с приплодом, так ведь это же до головокружения, всю жизнь можно измываться — смотри, какой я благородный, да и скажет так, что сам поверит! Легши с овечкой, лев не стал евангельским львом, а глядеть умилительно! Ежели супруга светлая и кроткая, так и сам веришь, что такой, а что подленькое, так это можно и не замечать...

— Да о ком вы так пространно и путанно?

— Да о новом! Приехал, покрутился малость и пристроился при родном деле.

— Да вам то что?

— Мне то ничего. На мне уже отыгрались. Отыграются и на вас.

Время шло своим чередом. Несколько мелких дел по службе: кража в квартире эмигранта, очевидно своим. Несколько пьяных дебошей. Жалоба на жильца, съехавшего с квартиры без уплаты за два месяца. Мелочь, на которую жаль тратить время. Единственно интересный случай: один из младших атаманов, прокучивая казен-

ные деньги, прокатил по всему городу голую девку на крыше автомобиля.

Таким же ходом шла домашняя жизнь. Обед в семь. Небольшой отдых в гостиной, беглый просмотр газет, несколько слов с Ольгой и Нютой. Блуждание глаз по стенам, словно ожидая, что они раздвинутся и выведут его на простор другой жизни.

Ольга поглядывала на него, не зная, что происходит с ним, чувствуя, что ему не по себе. Она задумывалась, вспоминая о своей встрече с ним, не понимая, каким образом случилось так, что она с Нютой здесь, в чужом городе, в чужой ей комнате, с человеком, на которого смотрит то с робкой любовью, то со странным чувством необъяснимого страха.

Иннокентий ловил взгляд Ольги, принужденно улыбался, щекотал Нюту за ухом, целовал Ольгу в голову, ссылаясь на вечернюю работу и уходил к себе. Он садился у стола, захватив голову руками — и всё-нараставшее чувство неудовлетворенности вновь начинала мучить его. «Не то, не то», повторял он, обводя глазами вокруг.

Некоторое развлечение подвернулось при встрече со старым знакомым по Харбину, Костой Маврос, мастером на все руки и сделки, от которых можно заработать, не работая самому. Нашлись желающие купить кокаин; нашлись и желающие продать ходкий товар. Белый порошок, как для чистки зубов. Сначала продать настоящий товар в небольшом количестве, а после пробы и побольше, но уже с... «И накрыть с поличным?» Коста осклабился: «Это вам в полиции виднее — продвижение по службе?» «А вам?» «О, что-нибудь перепадет».

Первая сделка прошла, как по маслу. При второй расчёты Иннокентия были сорваны особым отделом полиции по наркотическим делам.

Осторожный Иннокентий устроил так, что ещё с утра сидел в суде свидетелем по пустяшному делу. Несмотря на эту предосторожность не всё сошло гладко. Иннокен-

тий не допускал, что кто-то мог подозревать его. Но его вызвал сержант, с кем он говорил о службе и который сказал ему позже, что хотел бы быть ему «крестным отцом». Что произошло, осталось неизвестным. Всплыло ли на поверхность кое-что из прежней жизни Иннокентия или острый нюх сержанта распознал что-то, что не заметили другие? Известно только то, что Иннокентий выскочил из участка взволнованный до крайности с пылающим лицом.

Несколько дней Иннокентий провел дома с внезапно появившейся простудой, не пуская никого в свою комнату. Он писал, перечеркивал, выводя по многу раз Мак-Клоски, имя сержанта, рвал в клочья бумагу, и снова начинал писать. Кое-какие наброски с повторным именем и упоминанием каких-то будущих лет остались не уничтоженными. Ещё более странным оказалось, что при его скрытности они позже попали в руки человека, который неожиданно вошел в его жизнь.

К этому времени следует отнести два известия, полученных Благообразовыми. В первом, как неистовый вопль, Илья писал о суровом приговоре китайского суда по обвинению его в соучастии в убийстве. Второе, полученное кружным путем, извещало Ольгу о предстоящем приезде её сестры Варвары, которую она почти не помнила.

На веранде Тихой Заводи жильцы и гости обсуждали очередную постановку между большими спектаклями труппы Немезидина-Волжского. Цель малых не скучать, быть в работе и дать выход молодым местным силам.

Одни предлагали пьеску с двумя-тремя участниками, и АдельЭрдель перебирала в голове, что предложить при своем участии. Другие, угадывая её мысли, предлагали музыкальную программу из местных сил, что вызвало поддержку одних, готовых принять участие хотя бы в балалаечной игре и возражение тех, кто лишен музыкаль-

ного дарования. Третьи иронически спрашивали: «Из каких местных сил, не из крупных ли?» «А что же», отзывались другие, «Муська Амурская не из крупных?» «Телесами, да». «А идея с Амурской не плохая. На ней шаль, гитарист в бархатных, штанах, вот и программа». «Жидковато», возражали голоса, предлагая взамен литературные выступления, горячо поддержанные членами кружка «Труженики пера». Но в представлении одних появился образ Андрея Авдеевича с увесистой тетрадью в руках и послышалась декламация Малокрововой о заговоривших деревьях и дремлющих звездах. Поднялся спор. Встревоженный шумом, корнет фон Выпивон заметался в клетке, выкрикивая хрипло «отставить».

К этому моменту подошла подвыпившая компания и совещание приняло еще более живой характер.

— Я бы предложил, — сказал один из прибывших, — «Вечер под розовым абажуром». Кресло, стол, на нем лампа, розовый свет...

— Только чтобы не перегревали кресло.

— За пять минут сидения?

— Действительно, — протянул неуверенно Андрей Авдеевич.

— Это что-то абнормал! Пять минут! А если его произведение больше...

— Вы хотите сказать, чтобы читать свое? Ну, знаете...

— Дорогу местным силам, домашнему производству!

— Могу предложить для пробы свое, — стыдливо сказал Ипполит.

— Один уже нашелся. А что именно?

— «Стишки под гитару». Они же о мухе. Не всё помню наизусть, боюсь спутаться. Так читать?

— Нурай, Ипполитка, люди свои, не осудят!

Влюбленный в Бога и вино, в пустынь убрался я давно,

О, золотое все равно! — в веселии монашеском.

Пришла желанная пора, пляши, да пой, ликуй с утра.

И пей сегодня, как вчера, в веселии монашеском.

— Может быть уже достаточно?

— Не перебивайте поэта. Качай дальше, Ипполитка, не робей! Идет здорово,

В веселии монашеском в варенье мухой утонул.

Своё я имя позабыл, в расцвете сил сошел с ума.

Ах, кто навеки полюбил жизнь по людски, тому тюрьма,

Лишь в праздник пляшет пленник хил (вповалку
пьяный караул)

В веселии монашеском.

— Всё?

— Пока всё. Может быть ещё допишу.

— Да и так хлётко. Мне нравится: «в варенье мухой я попал». Наводит на размышление: а чем мы не мухи!

— Я все думаю: «пленник хил». Хил, а пляшет!

— Чисто художественный образ. Излюбленный у нас литераторов прием.

— Мне чуется что-то в воздухе. Что-то пророческое. Почему — вповалку пьяный караул?

— Вы полагаете грядущее освобождение родины? Почему и пленник хил, да ещё и пляшет к тому же!

— Господа, побойтесь Бога! Так хорошо начали о вечере с культурной программой, а куда забрели!

— Вот именно культурный, — сорвался с места один — открывается занавес, на сцене группа общественников и труженики пера встают со своих мест при словах «о, золотое все равно», берутся крендельком под руки, делают ножкой влево, ножкой вправо, приседают и поют: «Схоронили мы отца, ланца дрица ца-ца», а из-за кулис выбегают хилые пленники, сбрасывают цепи, облачаются в бархатные штаны, берутся за балалайки...

Поднялся шум, крики, негодующие восклицания, хриплая команда осатанелого корнета в клетке. Пока всё это продолжалось, на пороге показался кругловатый человек и, как шарик, покатился к толпе.

— Всё вероятно о том же самом, — воскликнул он, собирая лицо в комок морщин и жмуря глаза, так что нельзя было понять, плакал он или смеялся. — А не знаете,

что делается. Наезжают!

— Кто наезжает?

— Они, мамочка, как вы не поймете! Гастролеры, вот кто! — Его лицо опять светлело в улыбочато-сморщенный клубок и на прищуренных глазах показались слёзы, а если у Пашенко плакали глаза и смеялся рот, то все знали, что надо ждать чего-то недоброго.

— Какие гастролеры, зачем они? У нас своих девать некуда, Немезидыч, комик Мрачных, Люто-Кобылин...

— Ах, мамочка, — с безнадежным взмахом руки и мокрым платком у глаз, — не понимают!

Пашенко разводил руками, хрустел пальцами, перекатывался на круглых ножках от одного человека к другому, скорбно смеялся и весело плакал.

— Что же плохого, что наезжают! Лишние объявления, статьи, рецензии...

— Если сунутся в Общественное Собрание, то у меня гам контракт на веки вечные.

— Что же группой или в одиночку?

— И группой и в одиночку. Всё, что ожидается от вас, мамочка, принять их. Готовьте приветственные речи, снимайте со стен образа, встречайте дорогих гостей с хлебом и солью.

— Да о ком вы говорите? Объясните, пожалуйста, что это за гастролеры?

— А вот кто, мамочка! Чины великого Ниппона со говарищи. Жандармские офицерики не старше капиганского чина и наши собственные вожди, кто из генералов, кто рангом ниже, но с руками позагребистее. А наезжают из Харбина, Мукдена, Пекина, Тяньцзина на новые пастбища, на тучные шанхайские нивы. Панталонныч днями и ночами дежурит на Северном вокзале, а у атамана Сербородько в доме дым коромыслом: готовят пироги, заливное, закупают ведрами ласьковскую водку — всё для дорогих гостей.

ЕЩЁ ОБРАТЯХ

Как обычно случалось в жизни Романа Благобразова, все происходило само по себе, включая неожиданные перемены и длительные отсутствия. После выстрела в ограде харбинского собора он зарылся на зиму в глуши на востоке Маньчжурии, перебрался на короткое время в Мукден, где встретился с Ильей, о чем тот писал отцу краткой припиской после просьбы выслать деньги. Были слухи, что он перебрался в Индокитай, служил в Иностранном Легионе — явная чушь, принимая во внимание его искаленную ногу.

Во второй половине тридцатых годов в сырой январский день, когда талый снег чернел на улицах Шанхая и рикши дрожали от холода в мокрых куртках и штанах, со схода парохода компании Мессаджери-Маритим сошел коренастый человек. На пристани, разглядев его заранее, к нему подошел молодой человек.

— Я Боря Файнберг. Вы тоже русский? Если вы ищите комнату, у моей тети есть как раз, что вам нужно.

Борина тетя, затянутая в черное платье, завешанная бурами, бренчащими браслетами, с золотом и камнями на пальцах, встретила Романа, как давно потерянного сына.

Большой обеденный стол с десятком стульев в просторной комнате. В углу миниатюрный человек с густой гривой и бородой разыгрывал на виолончеле один и тот же пассаж. В конце стола малокровная девица с рыжими бровями на сиреневой белизне лица занималась английским языком с двумя бестолковыми учениками. В другом углу Боря Файнберг играл в карты с приятелями.

— Вот мой муж Яша, как видите, виолончелист. А это наша дочь Соничке, как видите, учительница. А это наши

картежники, как видите.

Чемодан в комнате на втором этаже. За окном быстро темнеющий день, черепичные крыши с остатками грязного от сажи снега... Совсем, как Париж в последнюю зиму... Вон там мерещится подобие Эйфелевой башни... Вздор, остаток от рекламы... Холод от одиночества, даже если ищешь его сам. Вздор, просто на дворе холодно и сыро. И тяжелая нога, сложенная студентом-медиком в санитарном поезде, стынет от неподвижности... Чужой город, чужие люди, чужой снег...

Позвали на обед. Стол полон людей, теплых, шумных. Дымящийся суп, рыба, мясо. Даже водка, которой Яша угостил нового жильца, налив и себе и раздвинув усы и бороду, чтобы добраться до рта.

После обеда расставили стулья по стенам, отодвинули стол. Яша взялся за виолончель, Сонечка села за пианино. Тонкая фигура в длинном платье стала позади переворачивать ноты.

— А это наша племянница Симочке Кóшке, — сказала Фанни Давидовна, любуясь группой.

После концерта Боря показывал фокусы, извлекал из-под платка букеты цветов, глотал огонь, прокалывал себе щеки иглами, жонглировал стаканами, выбивая чечетку, затем заставил пуделя с цилиндром в зубах обойти на задних ногах публику.

На этом вечер не закончился. Достали лото, разложили карты на столе. В перерывах начались анекдоты, от которых Фанни Давидовна тряслась от смеха в звоне бус и браслетов, а Сонечка и Симочка стыдливо прикрывали ресницами глаза.

Смеялся и Роман так, как не смеялся давно. Где тут тревога, о какой неизвестности говорить! Всё ясно, как на экране: Яша на втором пульте в Симфоническом оркестре Марио Паччи («а если подкопнет, то и первым виолончелистом»). Боря Файнберг, чародей и престижитатор! Какие-нибудь еще два-три фокуса и — гвоздь

сезона на сцене Люсеум. А Соничке? Майя Соничке не алле драй, секретарка, стенографиленка и типовретёрка. А Симочке? Чем не владетельница салона мод!

Как можно тревожиться за такую жизнь, цепкость, уверенность в завтрашнем дне! Что из того, что на дворе мокрый снег, что рикши дрожат от холода, что они падают на бегу, обливаясь кровью, хлынувшей из чахоточных легких! Это в стороне, случается с другим. Мы не приехали сюда менять чью-то жизнь, страдать за кого-то.

Церковь, книжный магазин, бакалейная лавка, домашняя столовая в любом месте Зарубежья служат справочным местом для поиска родных и знакомых. Нового человека спрашивали, откуда он, как фамилия? Не брат ли Благобразову, что служит здесь в полиции?

Иннкентий в Шанхае, надо разыскать! Из всех возможных служб здесь — полиция, думал Роман, идя по данному адресу к брату.

Он позвонил. Дверь открыл китаец бой. За ним показала русая головка.

— Папа, мама дома?

— Мама скоро придет, а когда папа, не знаю.

— А ты знаешь, что я твой дядя?

— У меня дяди нет.

— А теперь нашелся. Нюта, да? Вот мы и знакомы. Ты знаешь, что сейчас случилось со мной?

— Нет, не знаю. А что? — Палец у рта, испытующий взгляд.

— Я приехал на велосипеде и не успел сойти с него, как к нему бросился аббат в длинном пальто до полу, перенял из моих рук руль, поставил ногу на педаль и укатил. Я не успел опомниться.

— А велосипед для девочек?

— Почему? Обычный.

— Он сел, а у него длинное пальто?

— Ах, вот ты какая умная! Сколько же тебе лет?

— Скоро девять.

— Мне надо быть осторожным в моих рассказах.

— А у вас много рассказов?

— Для одной девочки, которую я полюбил сразу, найдется кое-что.

Когда Ольга вернулась домой, она удивилась, услышав звонкий смех Нюты и мужской голос.

Роман поднялся с места. — Я так бесцеремонно влез в ваш дом и завязал дружбу с этой очаровательной девицей. Я Роман, брат Иннокентия.

— Я очень рада. Вы первый из семьи Кешы, кого я встречаю. Хотела бы познакомиться со всеми. Кеша скуп на рассказы...

Светлое лицо, белокурые волосы, темное платье, очки, придающие ей учительский вид. Чуть заметное замешательство. Она быстро оглядела Романа, спохватившись, чтобы не задержать взгляда на его вытянутой ноге.

— Вы также в наших краях! На долго ли? Почему не зашли раньше? Кеше было бы приятно, и нам с Нютой.

— Мама, он рассказывал, что жил со змеями...

— Не он, а дядя Роман надо сказать.

— ... и что у него был друг Удав Удавич. Ты думаешь, это правда?

— Попал сюда случайно. Все эмигрантские дороги на Дальнем Востоке ведут в Шанхай. Привели они и меня. Надо где-то осесть, Ольга...

— Ольга Николаевна. Зовите просто Ольгой, Лёкой.

Дружеский разговор. Теплый, как в сердечной семье. Уютно. Из кухни доносится запах приготовляемой пищи. Как бы в ответ на его мысли, Ольга сказала, что Иннокентий скоро придет и как он будет рад.

Рад или нет, неизвестно. Почти четверть века, как в конце лета уехал в Петербург. Можно оказаться чужим за эти годы. Каким стал Иннокентий? Почему служит в полиции? Почему отец так сдержанно говорил о нем?

Поворот ключа в двери. Насторожившаяся Ольга, ог-

лянувшись вокруг, всё ли в порядке. Шаги в передней, уверенные, крепкие. Увидев брата, как будто совсем не удивился. Некоторое замешательство, похлопывание по плечу, спине. Обмен случайных слов. «Какими судьбами?» «Да, вот, брат, надумал побывать здесь. Случайно узнал, что ты тут. Давно уже?» «Несколько лет. А ты из Харбина?» «Какое! Лет десять, как оставил». «Помню, читал о том случае в соборе Харбина»... «О, давно забыто, Иннокентий!» «Думаешь? Не скажу, Роман. Ещё помнят... Ну, а ты, Лёка, как?» «Спасибо, Кеша, хорошо. Поди устал? Сегодня дольше обычного. Сейчас будем обедать». «Папа, он говорит»... «Подожди, Нюта».

Встреча произошла, прошел обед, ещё час-другой в гостиной за таким же случайным разговором. «Устраиваешься здесь?» «Пока не знаю, надо что-то делать. Город живой, что-нибудь подвернется». «Вот это наше русское что-нибудь! А как у тебя, Лёка, на завтра?» «Папа, он рассказывал»... «Подожди, Нюта, потом скажешь, тебе и спать пора».

Легкий придавленный зевок, глухое покашливание в кулак. Смушение Ольги. Нюту отвели спать.

— Слышал об Илье?

— Когда я видел его в последний раз? Как будто ничего. Жаловался, что не было службы, а впрочем...

— Отец упоминал о нём?

— Что-то рассказывал, не помню, Иннокентий.

Испытующий взгляд. — Ничего не слышал о его последнем подвиге? Любезный братец кажется затянул туго петлю на себе.

— Каким образом? Что случилось?

— Длинная история, расскажу при случае, теперь не хочется. Не до него. — Легкое позевывание.

Вернулась Ольга. Роман взглянул на часы, поднялся, выправляя ногу.

— Где это тебя так угораздило?

Ольга подавила в себе испуганное восклицание. Ей

было стыдно за мужа.

Роман рассмеялся добродушно. — Старое дело. Легкий дебош в благородном доме.

Известие, полученное Иннокентием от Ильи, вначале встревожило его: как оно отразится на нем и его службе? Об этом он думал несколько тревожных дней, пока не нашел ответа: брат брату рознь. Один алчный до денег, готовый на нечистые дела ради наживы, топит себя, попадает в петлю. Другой служит с примерной верностью, следует свято долгу. Брат за брата не отвечает, чего же волноваться!

«Подвиг» Ильи произошел следующим образом. Пребравшись в Тяньзинь, Илья опомнился, решив отойти от жизни мота. У него завелась хорошая служба заведующего импорт-экспортной фирмы.

Всё шло ладно и потому, что всё шло именно так, у Ильи стало вкрадываться глухое недовольство, что жизнь обходит его. Он гнал от себя воспоминания о прежних днях, кроме тех, где они были приятны, полны удовольствия. Для усмирения этого будоражающего чувства он втянулся в эмигрантскую политическую деятельность, связанную с местным Антикоммунистическим комитетом. Сделал он это и ради страховки, опасаясь, что комитет все равно наложит на него руку, что было бы хуже.

Случилось так, что комитет в фактической или мнимой борьбе с коммунистическими агентами и провокаторами, которых было много в городах Маньчжурии и Китая, охотился за одним из них. Знали его имя, внешность, знали, что для прикрытия своей работы он завел контору по продаже советской пушнины.

Особенно рьяно охотился за ним один из комитета и охотился по важным причинам: в 1918-м году они оба состояли в разбойничей банде Тряпицина, известного по кровавому делу в Николаевске-на-Амуре, где они вырезали часть русского населения и почти всю японскую ко-

донию. Антикоммунистический руководитель допускал, что если советский агент попадет в их руки живым, то он по простому соображению порасскажет всё о прошлом, что если гибнуть, то гибнуть вместе.

Здесь весьма кстати появился Илья. Не то, что он сам предложил заманить в свою контору провокатора и там разделаться с ним. Трудно допустить, что у Ильи, с его рыхлым характером и страстью к легкой наживе, зарождались бы в мозгу такие опасные авантюры.

Провокатор скрывался на английской концессии, где японские власти и созданный ими комитет не решались ещё хозяйничать. Илье было поручено связаться с ним под предлогом закупки пушнины.

Коммерческая сторона дела заинтересовала Илью и в скором времени у него в конторе появилось несколько медвежьих шкур из Приморья. Самого же агента ещё не было. Для этого требовалось время и умение Ильи влезть в душу. Произошло несколько встреч, даны заказы, предложены в обмен товары.

После длительной подготовки встреча была назначена в конторе Ильи. Агент явился в сопровождении компаньона, рослого человека, одетого в плащ, хотя на дворе стояла сухая жаркая погода.

В конторе, кроме Ильи, никого не было; дверь в его кабинет, куда заглянул человек в плаще, была открыта настежь; секретарша была отпущена на весь день. Хозяин поставил на стол виски, соду и лед, но гость не притронулся к стакану, продолжая говорить о делах. Его спутник налил себе полстакана виски, выпил, крикнул и налил ещё, растегнув плащ. Илья взглянул на него, заметив тонкий ремешок, спускавшийся с плеча, и сразу оробел.

Всё, что последовало, произошло так внезапно, что Илья не мог опомниться. Из двух соседних комнат ворвались молодцы из комитета и произошла свалка, во время которой человек в плаще вырвался, забыв о ре-

вольвере, на улицу. Когда прибыла полиция, она застала несколько человек, заворачивавших в медвежьи шкуры задушенного шарфом советского агента.

Произошло это за полтора года до получения Иннокентием отчаянного письма от Ильи, в котором тот сообщал, что был втянут против воли по доброте и наивности, а через несколько строк добавлял, что действовал по благородному движению борца против коммунизма и что время, проведенное в китайской тюрьме в невероятных условиях всё же скрашивалось надеждой, что его, невинного, оправдают. Как он ошибся, вопило его письмо, когда его приговорили по соучастию в предумышленном убийстве к восьми годам заключения.

Андрей Авдеевич с любовью в кротких глазах осмотрел свой кабинет, стены, письменный стол, шкаф, дощечку с надписью «Редактор». Передовая для первого номера «Эмигрантского Эхо» созрела давно в голове, оставалось только обмакнуть перо в малахитовую чернильницу и бережно извлечь из волшебного хранилища ее пламенные слова. Подобные творческие моменты обогащали и прежде его плодотворную жизнь, но это был исключительный, к которому он так страстно стремился за последние двадцать лет.

Шаги на лестнице. Приоткрытая дверь, впусившая клубы едкого табачного дыма. Сквозь него живой, полный веры в себя женский голос.

— Редактор, коллега?

— Как будто так, — не без игривости ответил он, оглядываясь вокруг, — другого не вижу.

«Как можно напустить столько дыму, что сквозь него ничего не видно!» Вглядевшись пристально, он различил верхнюю часть лица, взбитые хохолком буро-каленные волосы и что-то сияюще-восторженное, что хроническому романтику предстало, как прелестное очертание тургеневской девушки.

— Гантимурова, Мария Григорьевна. — Она стянула вязаную перчатку, развеяла ею дым, и сунула редактору руку. — Секретарша. Отдел происшествий, советы хозяйкам, последние моды. По необходимости, статьи по искусству, театру, балету. Безумно люблю.

— На статьи по искусству, театру и балету вакансий нет, заполнены ценными сотрудниками. А вот уход за кожей, — редактор запнулся, разглядев бурый пергамент бурятских скул. — А вы не из князей Гантимуровых?

— Гантимуровых у нас, как собак нерезанных! Кого не встретишь в Даурии, каждый от хана Тимура, значит князь. Это что же — Эмигрантские Новости?

— Позвольте мне вас, многоуважаемая, прокорректировать: не Новости, а Эмигрантское Эхо! Та только по слухам и пересудам, а мы отражаем. Разница большая.

— Безумно хорошо! — воскликнула Гантимурова, закуривая нервно сигарету. — Чтобы отражала правдиво, смело, даже если от этого самому больно! Значит так: на мне корреспонденция, письма в редакцию и ответы на них, советы хозяйкам, отдел красоты, как уход за кожей, массаж груди, сведение ненужной растительности. Отдел мод, последние фасоны из Парижа.

«Должно быть последняя модель из Даурии» подумал редактор о пестрой блузке, воздушных воланах над широким костяком плеч, кружевцо по воротнику.

— Где же мне устроиться, коллега? Вон там в углу?

— Я хотел поставить там платяной шкаф.

— Два стола, один для меня, другой для Ремингтоши, он для меня как перворожденный для матери. Сколько лет неразлучно! Пострадал бедняга безумно за эти годы, один костыль не работает и каретку надо иногда перекидывать рукой. Но стучит бойко, услышите сами, оставила внизу, сейчас принесу своё сокровище.

— Вот мой Ремингтоша, — сказала, вернувшись, Гантимурова, любовно оглаживая металлического уродца, пришибленного жизнью. — Люблю безумно!

В Эмигрантском Эхо уже были свои ценные сотрудники. Для балета, на выбор, Святослав Лебединин-Озерский или Орест Озеров-Лебединский. Для постановок по прозе, Балетоман и Зритель. Для театральных постановок высокого качества, Модест Мельпоменин. Для остальных Театрал и Посетитель. Для концертов, Юлиан Мелодин, а помельче, Ценитель и Слушатель. Статьи политические подписывались Обозревателем, От собственного Корреспондента и Из Достоверных Источников. Для литературных статей и книг были припасены Аркадий Пишущих, Прозин и Книгоед. Спартаку отводились спортивные статьи.

С появлением Марии Григорьевны число сотрудников удвоилось. Появились: Тетя Маша, советы молодым хозяйкам; Косметичка Мириэль, культ тела; Княжна Мэри, воспоминания детства, заметки для души и отдыха; Мария Звездич, большой свет, хороший тон, перевоспитание в зрелом возрасте.

На робкое признание редактора, что ему не хотелось бы писать о модных в Шанхае скачках (псевдоним «Коновед»), Мария Григорьевна, допуская, что у коллеги от рождения страх ко всем животным больше болонки, вызвалась на этот отдел под псевдонимом Джигит Марит, рассказав о том, как она скакала по родной Даурии — и впечатлительный редактор видел на противоположной стене, как мимо календаря страхового общества Феникс неся огнедышащий скакун и на нем, без седла, неустрашимая секретарша с Ремингтошей у груди.

— Значит, всё решено, коллега. Безумно хорошо! Но я хотела бы выговорить одно: не встречать публику. И времени не будет, да ещё дым и кашель.

Затем появился ещё один ценный сотрудник, Толя-завсё, он же Ножницы и Ноги, на обязанности которого была мелкая хроника, отдел происшествий — похороны описывал сам редактор, а свадьбы Мария Звездич — вырезки из газет и прочая мелочь.

В жизни Андрея Авдеевича пошел ровный ход радостно-трудовых дней, лишь изредка нарушаемый капризными требованиями читателей «дать что-нибудь веселенькое» и небрежной подготовкой текста объявлений, нарушающего форму, которую требовал для своего печатного органа взыскательный редактор.

Два резко различимых мира — богатства и власти с одной стороны и удручающей бедноты и бесправия с другой — видел Роман в Шанхае. Великолепные особняки-дворцы с газонами, садами на международном сеттлменте и в французском городе, заселенные разбогатевшими лавочниками из лондонского Сохо, парижских и марсельских окраин, колониальной аристократией из черашних проходимцев, торговцами свиной щетины, соевыми бобами и воловьими шкурами, ожиревшими биржевиками-спекулянтами, миллионерами дельцами по кокаину, опиуму, живому товару. Всё это жило в роскоши, в неге, окруженное десятками прислуг; обжиралось, опивалось самым дорогим, что можно было достать, не жалея денег, так легко и не всегда чисто нажитых.

В пять часов дня, когда толпы клерков, биржевиков и прихлебателей богатейшего города-дельца высыпали из контор, банков, пароходных, компаний, агентств, ломбардных домов на Нанкин Рoad, на Банд, на Авеню Эдуарда Седьмого для традиционного чаепития и виски, по этим улицам, искусно лавируя между другими автомобилями, экипажами, рикшами, проносились щеголеватые спортивные автомобили, управляемые женщинами из дорогих публичных домов на Киянзи Рoad.

Проходил пятичасовой парад; толпы шанхайской знати разъезжали по домам, клубам, на приемы, на встречу с женщинами, разряженными в шелка, меха, в золоте, бриллиантах; на обеды с дорогими винами, шампанским, в обстановке непомерной роскоши, баснословного богатства, сибаритства, сознания своей избранности.

Часами позже они колыхались под рокотание саксофонов и повизгивание скипок в неторопливом ритме, удобном для пищеварения; тряслись их жирные груди, наливались тяжелой кровью верикозные вены, лиловели заплывшие щеки, и над ароматом дорогих духов женщин поднимался терпкий запах подмышечного и ножного пота кавалеров, время от времени отрыгавших перееденной пищей. Они считали необходимым это притворное веселье, как передышку после удачно сбитой цены в закупке свиной щетины и вздутой цены при продаже. Всё было на их стороне, мир земной и небесный; для них ворковали обольстительным тенорком саксофоны и изощрялись пальцы таперов; для них выносили женщины колыхания их пережравшихся брюх, отвратительное дыхание ртов, прикосновение потных щек, похотливое скольжение волосатых лап по обнаженным спинам.

Жизни этой не хотел знать Роман, она отталкивала его своей омерзительностью. И чем более он отворачивался, тем более его влекло глубочайшим состраданием к другому миру, подавляющему своим сознанием примиренной обреченности.

В богатейшем городе он видел перед лавками жирных китайских купцов малолетних детей со вздутыми животами, с коростами и струпьями на телах, подползавших с жалобным воплем к мешкам с рисом. В годы периодических недородов и наводнений матери бросали своих детей на улицы на голодную смерть — и богатейший в мире город-ростовщик равнодушно проходил мимо. Он видел нищих, людей, обезображенных слоновой болезнью, с десятками пальцев на каждой ступне; он видел поводыря — туловище без ног и рук, с кольцом вокруг шеи и веревкой, за которую держался слепой, двигаясь осторожно за обрубком, перекатывающимся по захарканному тротуару. Он видел подобие ящиков с решетками, за которыми лежали оплывшие жиром голые тела китайнок с полуидиотскими глазами, любовный то-

вар для рикш по медному грошу за визит. Он видел стариков китайцев с маленькими мальчиками на поводу, бежавшими за англичанами педерастами с криками «маста, доллар». Он видел рикш, с жалобно-удивленным стоном падавших на улице от разорвавшихся чахоточных легких, с кровью, сверкавшей на мокрой от пота груди. Он видел другие картины. Как только часы на соборе Св. Троицы пробивали полуночный час, из узких улиц позади магазинов Синсир и Вингон высыпали сотни подростков девочек под командой китайнок-мам. Не медные гроши, а серебро текло здесь, но как ничтожно было оно по сравнению с золотом, получаемым их сестрами по профессии в домах на Киянзи Рoad, затиснутыми между английским музеем и собором.

Оба мира были одинаково чужды Роману и он одинаково проклинал их!

Но это Азия, спорил он с собой, зло тысячелетий, утвержденное землею и благословенное небом! Проходить мимо с закрытыми глазами, заткнутыми ушами. Зажать и рот, не извергать хулы! Кого тронут проклятия, вырывающиеся в бессильном гневе! Сложить чемодан и в молчаливо-благородном негодовании оставить этот чудовищный мир — и переселиться в другой, не менее чудовищный! Ах, Роман, Роман, глупая голова!

Роман никуда не уехал. Предстоял ещё разговор, который Иннокентий хотел устроить в одно из воскресений. Затем другое обстоятельство: Роман ещё не пробыл на новом месте положенные ему судьбой или собственной прихотью два года.

Но всё это имело мало значения из-за одной случайной встречи.

В ЛЮБЛЁННОЕ ВИНО

— Вы такой свежий, — воскликнула с восхищением Сузанна, расспрашивая Романа о его днях до прибытия в Шанхай. «О чем рассказать? О случае у собора? О начале маньчжурских холодов на лесной концессии, о работе охранника, о сплошной тайге, о тишине, как под сводами готических соборов? Об одичании, в котором так много положительного. О зеленом море?»

— На самом деле? Почему?

— Бездумно. Самое главное.

— Станный вы человек.

Испытующий взгляд синевы глаз, подбородок в чашке руки. В открытые двери веранды вливается дыхание весны. В другой руке пучек фиалок, принесенный Романом.

— А дальше? Я нетерпелива, хочу слушать. С самого начала!

«Много ненужного, никому неинтересного. Случайная отправка на французский фронт, выкорчеванный артиллерийским огнем лес, землянки. Суровые и всё же бесцельные годы. Голод по неоконченной жизни, простому стулу, случайные набеги на Париж, то неприветливый, то чарующий при цветении каштанов... О тревоге за родину, о Гражданской войне на юге России, на Волге, в Сибири; о санитарных поездках, об одной растерянной сестре милосердия на весь состав, о столах искалеченных людей, о смердящем запахе гниющего тела... О дрогнувшем мужестве, сознании бесцельности, потерянной надежде; о притуплении одинаково к жизни и смерти... Как об этом рассказать белокурой голове, синим глазам?

— Что же вы молчите? Что было после зеленого моря?

— Настоящее синее у Шаньдунского полуострова.

— Так же в одиночестве?

— А как же иначе на маяке?

— И на долго?

— У меня каждые два года перемена. А на маяке совсем неплохо. Привык разговаривать с собой, пускаться в горячие споры, но хорошо, что не дуешься на себя.

— Чудак вы, Роман, и выдумщик. А дальше что?

— За службу на маяке дали отпуск и пассажирский билет и я махнул в Сайгон. Франко-анамитская смесь, платаны, черепичные крыши цвета персимонов, живая голпа, красивые анамитки...

— Уже без одиночества? — Сузанна звонко рассмеялась, откинувшись назад. Засмеялся и Роман, вторя ей, как смеются люди, довольные друг другом. — Теперь то я буду слушать вас с особым вниманием.

— Боюсь, что разочарую вас. Разъезжал по городу в экипаже, как один из инспекторов по постройкам. После такой неустомительной службы отдых на веранде отеля, шезлонги, случайные встречи, которые забываются сразу при расставании...

— Что-то не договариваете, Роман! Два года в экзотической стране и так скупое! А дальше?

— Случайно попал в Японию, сперва в Нагасаки, затем в Токио. Нагасаки очаровательный город, ещё живущий в прошлом столетии. Фонарики, цветные кимоно, приветливая толпа. В середине города гора, в прошлом часть, где жили иностранцы. Там был и дом Чо-чо-сан, несчастной гейши, воспетой Пуччини в «Мадама Батерфлай», как поется по-итальянски. Замечательна последняя сцена накануне приезда Пинкертон, отца её ребенка, со своей американской женой. Чо-чо-сан укладывает спать ребенка, сунув в его руку американский флажок, и скрывается за ширмой в непоборимом горе совершить чаракири. Когда она поет предсмертную арию — вы слышите в ней рыдание — вы видите, как её шелковый пояс,

перекинутый через ширму, исчезает, стянутый рукой в агонии смерти.

— Замечательно! Так и видишь это... А верно, японки хороши?

... Комната на втором этаже, вид на высохшее русло реки. Станция Готанда, Токио... Айко-сан, смуглая орхидея, щебечущий голос певчей птицы...

— Что же вы не отвечаете, Роман? Заныло сердце по Чо-чо-сан?

...поезд в Атами, японскую Ривьеру...апельсиновые рощи, бамбуковые заросли, белеющий прибой моря, вокзал, чарующие цвета кимоно... комната отеля у самого берега моря, ровный гул прибоя... как лепестки чайной розы падает шелк кимоно...

— Ну, Роман-романтик, отвечайте, отчего так призадумались? Хороши японки?

— Хороши, — и они оба засмеялись.

— И тоже два года?

— Почти. Внезапно потянуло к своим — березкам и сирени или к Марьям Ивановным и Иван Иванычам. Расскажите лучше о себе. Это интересней и безоблачней.

— Что вам сказать! Мечтаю танцевать на большой сцене, с семи лет училась балету, говорили, что подавала надежду, верила и сама, верю и теперь. Нельзя жить без надежды. Родилась в Польше, но прожила почти всё время в России. Кроме танцев училась музыке, играла бетховенские сонаты, Шопена, Скрябина, декламировала Блока, Ахматову... Всё было впереди — и всё оказалось в прошлом, и неужели потеряно всё! И все равно мечтаю танцевать. Вижу себя на сцене, театр полон зрителей, нетерпеливо ожидающих выхода известной примабалерины Сузанны Тамановой... Ах, Роман, показаться на такой сцене раз и умереть от счастья! А знаете, кто я в жизни? Софья Швейчук! С таким именем только работать в мастерской шитья! — Она рассмеялась, но глаза заблестели от наплыва слез. — Я такая жадная, мне

так много хочется, а у меня так мало осталось! Кому здесь нужны белые лебеди, сонаты, стихи? Кто будет просиживать ночи над ними? Кому здесь нужна красота?

— Красивые женщины...

— О, на них большой спрос! Даже на гадких утят, и на тех спрос, — добавила она с горечью.

... Влюбленное вино! Как дальше? «Прекрасно в нас влюбленное вино», воскликнул Роман, и на его голос в ночной тишине города бросились рикши в надежде, что ему надоест ковылять по сонным улицам и он возьмет одного из них. «Хлеб и вино. А дальше?»

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которую дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

— Так вот, слушай, Нюта: в одном отдаленном царстве за синими морями случайно оказался один человек...

— А он был детектив?

— Нет, что ты! До этого далеко! Вроде бродяги, ничего не делал, а только слонялся по царству. И было у него одно желание любить кого-то. Но всех любить нельзя, не хватит сердца. Любить короля? Его и так любят все. Принца? Но ты его не видишь, он всё время пропадает на охоте. Любить принцессу? Но это ей так прискучило, что она постоянно говорит: «А, ну вас с вашей любовью! Дайте что-нибудь новенькое!» Любить зверей? Они и так любят бродяг, любили и его. Любить цветы? А надо сказать, что там росли изумительные цветы, как лиловые тюльпаны, серебряные орхидеи, но всё гордое, неприступное. И вдруг он наткнулся на один цветок и пришел в неопишемое волнение — вот, кого надо любить! Знаешь, какой?

— Нет, не знаю. Скажите.

— Подсолнечник! Ты думаешь, что это простой цве-

ток? Ничего подобного! Стройный, царственный, тянувшийся золотой короной к солнцу, его нельзя не полюбить с первого взгляда...

За минуту-две до этого щелкнул замок входной двери и вновь тишина, словно кто-то прислушивался. «Что за ерунда!», и Иннокентий, не здороваясь с Романом, прошёл к себе.

Они говорили обо всём, что попадало в круг их интересов, понимая друг друга с полслова, радуясь быстрому ответу, удачно сказанному слову. Сузанна смотрела на Романа, доброго, преданного, которого обязательно надо любить, как любят верного пса, как любят дядю-забудыгу, деда-шута. Она смотрела на него с доверчивой радостью, гадая, он ли должен быть здесь, с нею рядом, то на ступеньках веранды Тихой Заводы, то блуждая вдоль верховых тропинок, на которых гарцевали всадники и всадницы в жокейских костюмах.

— Жить, наслаждаться, радоваться успеху другого и своему, любить жизнь и самую любовь во всем её разнообразии, к детям, животным, людям, старикам и старухам, помня, что и они любили в свое время... И, конечно, другую любовь, как любовь Ромео и Джульетты, Петрарка и Лауры, Сони к Николаю Ростову... Или эта любовь только в обольщающих романах? Есть что-либо похожее на неё у этого наездника с болтающимися ногами на коротышке лошадке? Ах, какая я глупая, Роман, не слушайте меня!

Они дошли до скамьи у конца тропинки и сели на неё. Начало майского вечера.

— Так хорошо и почему-то грустно! Когда думаешь об этом, видишь, что переход от счастья к отчаянию такой маленький, достаточно крохотного детского шажка. Вы молчите, Роман, вам нечего сказать? Или вы так милосердно даёте мне выболтаться! Я только и думаю о себе, только себе одной желаю счастья, успеха... Почему

я и не хочу называться Софьей Швейчук. Я ничего не имею против неё, пусть сидит у себя в мансарде под голубятней, она и похожа на палевого голубя. Но я, Сузанна Туманова, этого не хочу! Что же я хочу? Ах, сколько раз я уже говорила об этом всему миру! Ну, хорошо, нет сцены, должно быть что-то другое. Что, именно? Любовь, конечно, смелая, ошеломляющая, несмотря ни на что, как поется в романсе: «Он хромой и горбатый, но когда он играет концерт Саразате»... Ах, Роман, простите, — и она упала головой на его руку, пока он, глупо ухмыляясь, тяжело выправлял ногу.

Роман возвращался поздно в пансион, тихо поворачивал ключ двери, проходил на цыпочках, не зажигая света, пустую столовую к лестнице наверх — и каждый раз слышал осторожный скрип шарнир и, не глядя, чувствовал, что в приоткрытой двери появлялась голова Симки Кóшек. Он старался не видеть её кроткого лица, спрашивающих глаз: «Ну, как, Роман родненький, счастливы?» — и сгибаясь ещё ниже, пробирался к себе.

Счастье радовало его, он знал, что оно будет с ним и завтра и в другое время. Он забывал о ночном городе, о рикшах, бродящих по пустынным улицам, о скученных телах на досках шаланд на Сучоуском канале, об овечьем лице, грустившем по нем. Счастье согревало его, оно было его желанной гостью.

Он не знал, что в это время у себя в комнате с нарастающей тревогой Сузанна вглядывалась в зеркало в осунувшееся лицо, расширенные от страха глаза — и голова её падала на руки в судорожном плаче.

Дверь редакторского кабинета приоткрылась и через обычную дымовую завесу показалась голова секретарши. — Коллега, там по объявлению.

Как он не любил, когда его перебивали на самом ин-

тересном месте. Он только что дописал строку о балетном выступлении: «Балерина с налетом озабоченности о блестящем выполнении своего номера облекла свой талант в форму пылкого воображения». Что ещё? Несколько слов о стальном носке, выгнутой ножке. Какая подпись — Лебединин-Озерский или Балетоман?

— Коллега, вы слышите?

— По какому?

— Судя по постному лицу, траурное.

Андрей Авдеевич вздохнул, пошарил на вешалке черный пиджак, принял соответствующее выражение лица и вышел в приемную.

— Принес извещение о кончине супруги. — Посетитель всхлипнул и полез за платком. — Вот:

Прибитый горем Иван Васильевич Разгуляев
с распронаединственным внуком
извещает о кончине дорогой супруги
и верного спутника жизни

Анны Лукиничны, урожденной Размалеяевой

Андрей Авдеевич прочел раз, прочел другой, пожевал губами, покачал скорбно головой.

— Печально, ничего не скажешь. В свое время все... Не по форме. Почему, например, прибитый, а не убитый горем?

— Ежели убитый, не имел бы чести лично ответить на ваш вопрос, так как пришел бы родственник или душеприказчик.

— Это верно, — вздохнул редактор. — Затем, распронаединственный...

— Что же мне прикажете водить за нос дорогую усопшую, что у неё завелись и другие внуки?

— Не возражаю, если нет, так нет, но само выражение... Урожденная Размалеяева. Х-м! Это тоже как-то...

— Что — как-то? Ежели мы Разгуляевы, а семья покойницы Размалеяевы! Лучше-ка я отнесу оповещение в Эмигрантские Новости, там возьмут, как есть.

— Возьмут, возьмут. Там всё берут с руками и ногами.

Некоторое время спустя в редакторский кабинет заглянула бурятская голова.

— На сколько дней, коллега? — Живой, приподнятый голос.

— На шиш с маслом! Не по форме. Если мы будем принимать объявление Тудыкина о смерти супруги, урожденной Судыкиной, то Бог знает, что получится. Не для этого я открывал печатный орган! — Его глаза блеснули гневом. — Что-нибудь ещё?

— Вас, коллега, спрашивает господин Благообразов.

— Прочел с удовольствием вашу статейку. Актуальная и весьма. Затрагивает многие стороны и хлещет пре-
больно по живому месту.

— Находите возможным поместить её?

В голосе Романа озабоченность: убедительны ли его выводы, дойдут ли они до читателя и, прежде всего, до редактора. Он тщательно обдумывал, прежде, чем написать эту статью, давно мучившую его главной мыслью о массовых преступлениях, совершаемых ради пресловутого общественного блага. Тип этого преступления он относил почти исключительно к нынешнему времени, порожденному появлением тоталитарных обществ.

Вначале статьи он бегло коснулся известных в истории случаев предательства, связанных с войнами, подговками к ним и ведением их. Затем параллельно им развивалась деятельность политического, экономического и даже религиозного характера, развивая дальше и в значительно большем масштабе предательство, проникновение в чужие общества, доносы, клевету, заманивание неповинных людей в заранее приготовленные сети, чудовищную систему допроса и принуждения их признаваться в несовершенных ими преступлениях.

Здесь шли ссылки на массовое проникновение советских агентов в эмигрантские организации, как Братство Русской Правды, Общества Младороссов, на развитие по-

казных московских судов, сталинские расправы.

— Какие же выводы вашей статьи?

— На это ответил Толстой в «Война и Мир»: «С тех пор, как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступление над себе подобным, не успокаивая себя этой самой мыслью. Мысль же есть — предполагаемое общественное благо других людей».

— Не совсем понятно.

— Это как раз самое существенное в статье! Не безнаказанность — какая она может быть, если главные преступники суть власть имущие, на стороне которых свой закон, подсобные организации с благопристойными названиями ограждение мира, охрана безопасности и т. п., а удобный способ самооправдания и самоуспокоения, что все омерзительные художества совершаются во имя призрачного общественного блага. Всё это облачено в пышные одеяния благочестия, возвеличено святой верностью к мудрым заветам ильичей, виссарионычей и им подобным. Само собой разумеется, что за исполнение «долга» ради «общественного блага» сыплются, как из рога изобилий, награды, ордена, повышения за застеночную доблесть. Звание чекиста стало почетнее звания ученого. На преступнике сотни и сотни невинно загубленных жизней, но он достойный член общества, породившего его, вдохновляющий пример для юношества! Как же допустить, что у такого артиста не нарастает удовлетворение, сознание своей необходимости, гордости за выполненный долг! Если веришь сам, что совершаешь благо, как не внушить тому, кого истезаешь, ссадишь нагановой пулей в затылок, что и тот участвует в утверждении этого «общественного блага». Вот в этом и есть вся суть моей статьи — с оговоркой, что и у нас — кто мы в эмиграции, как не осколок от российско-советской глыбы!? — появляются подобные отталкивающие начала.

— Х-м, — вздохнул редактор недоверчиво, — вывод,

как бы вам сказать, того...

«Не дошло», думал расстроенно Роман, поглядывая на озадаченного редактора. «Кое-кого может быть и касается, но не нас. Мы, слава Богу, у Него за пазухой».

После ухода Благообразова редактор долго тарашил глаза на стену. Яростно трещал ремингтон, клубы удушливого дыма рвались через неприкрытую дверь. Редактор вздыхал, скреб затылок и снова вздыхал. Опомнившись, он придвинул незаконченную рецензию о балете, пробежал быстро глазами, обмакнул перо, и не задумываясь больше ни над чем, стал бойко выписывать: «Балерина в танце показала интригующий кусочек современной науки».

— Слышал что-либо об Илье?

— А что такое, — встрепнулся Роман, встревоженный озлобленным тоном брата.

— Мерзавец! Порочит не только себя, но и других. Дал же Господь Бог такого братца! В одном месте били, били и в другом. С одной службы гнали, гнали со второй и с третьей. Попал на черный лист. Грозили судом за растрату, унижался, молил о пощаде. Неужели ты ничего не слышал? Или не хотел, как не хочу и я, чтобы его похождения коснулись меня? Не хочешь, правда?

— Совсем не то, Иннокентий. Отец что-то намекал. — Он запнулся, продолжать или нет. Минута молчания. Иннокентий нахмурился, пристально глядя на брата.

— Что же он рассказывал?

— Об Илье?

— О ком же ещё?

— Ты знаешь отца! Ему всё представляется, что Илье не везет в жизни.

— Не везет здорово хапнуть и чтобы не поймали. Бедняга, такое невезение! Оттого так и страдает!

— Ты зло говоришь о нем, Иннокентий. Нужно ли так?

— А ты знаешь о его последнем походе?

— Не имею никакого представления. Когда же я видел его в последний раз!

— Всё, что было у него раньше, пустяки по сравнению с петлей, в которую он себя засунул. Я покажу тебе кое-что. Я много дал бы, чтобы никто не знал об этом. Вот, полюбуйся, — сказал он злорадно, протягивая ему письмо Ильи.

Воскресенье. Ольга и Нюта ушли гулять. В открытые окна льется свежий воздух раннего лета. С Бабблинг Вэлл Род доносится гул автомобилей, грохот трамвая, заворачивающего за угол. Пока Роман читал письмо, Иннокентий шлепал соломенными сандалиями по полу, брэнча кусками льда в стакане виски.

— Что же грустно, — протянул задумчиво Роман.

— Грустно, что не запекли на двадцать...

Роман поморщился. Письмо Ильи и слова Иннокентия расстроили его. Он сидел с опущенной головой, представляя брата в тюремном одеянии, с лицом, на котором вместо пухлых малиновых щек висела серая морщинистая кожа, с тревожным огоньком в желтизне глаз. Каким привередливым был Илья дома, этого не ел, отворачивался от другого, по нескольку раз мывший руки в страхе, что к ним прилипнет зараза. И вот судьба! Китайская тюрьма, убийцы, воры, курильщики опиума, язвы, пороки.

— Неужели дали так много! Дело политическое...

— Какое там, — отмахнулся пренебрежительно рукой Иннокентий, — так можно любое убийство подвести под политическое дело. Ты это сам хорошо знаешь.

Роман насторожился: что дальше? Намек более, чем ясный. Ждал и Иннокентий, позвякивая льдинками.

— Просто пообещали поделиться тем, что снимут с мертвого, иначе Илья не пошел бы на мокрое дельцо.

— Разве нельзя предпринять что-либо? Апеллировать, найти хорошего адвоката?

— В Китае? Комик ты, Роман! Действовать можно

только деньгами, если они есть у тебя. «Камшо» — самое бойкое слово, обогатившее «пиджин-инглиш». Комиссия, взятка. Выложи умело крупный куш и Илья будет на воле готовить новое художество. Ты этого хочешь? Есть у тебя этот куш?

Роман рассмеялся. Комик не он, а Иннокентий! — Ну, хорошо. А этот Антикоммунистический комитет, ведь это японское создание? Они теперь сильны в Китае, могут сделать, всё, что хотят. Разве они...

— Япоши? Я не знаю, позади они этого дела или нет. Таких, как Илья, сколько угодно, хоть пруд пруди. Засыпался один, другой прет на его место. Заботиться о них некому, да и не стоит.

— Если нельзя помочь, можно посочувствовать, подержать...

— Принести на Пасху красное яичко в темницу!?

Роман встал, волоча тяжело ногу, подошел к окну. На площадке внизу играли дети, как играют дети всего мира, гоняясь друг за другом, горячо споря, копаясь на корточках в земле, качаясь на качелях, визжа от радости. Щебетали азартно воробьи, не отставая от детской стаи. Пронзительно кричали амы-няньки, поддерживая легкий разговор. Стройный рикша с распахнутой рубашкой на бронзовой груди бежал размашисто на подобий орловского рысака, поддерживая оглобли двумя пальцами и почти вися в воздухе, так хорошо была сбалансирована его коляска тяжелым седоком. Издалека неслись звуки веселого американского фокстрота, бой барабанов, рев тромбонов и басов. Через несколько минут из-за угла показался китайский оркестр в синих формах с красными лампасами, золотым шитьем, эполетами и киверами. За ним шли десятки кули, неся на длинных шестах катафалк черного дерева с золотыми завитками и петлями. За рядами наемных плакальщиц и плакальщиков двигалась огромная толпа, часть в экипажах, часть в собственных рикшах, большая часть пешком. Танцевала улица,

плясали кирпичные дома, деревья; атласные облачка выписывали в небе пируэты. Всё ликовало под звонкий оркестр: смерти нет, есть один животрепещущий танец!

— Ты не собираешься оставить меня одного, — невинно спросил Иннокентий. — Мы редко встречаемся, а есть о чем поговорить. Мне как-то попала в руки статейка из местной газетки. Написана ничего, видно, что автор её мог бы быть достойным членом местных «Тружеников пера», есть у нас здесь такое почтенное общество.

— Для начала хорошо, продолжай дальше.

— Что мне особенно понравилось в ней это её выводы. Ты знаешь, о чем я говорю?

— Догадываюсь. Выводы ты говоришь!

— Особой оригинальностью они не блещут, зато сильны своей натянутостью и предвзятостью. Но это можно пропустить, проглядеть...

— А что нельзя?

— Ты кажешься пописываешь для французского телеграфного агентства Гавас?

— «Пописываю» слишком громко сказано! Так выводы, ты говоришь?

Иннокентий казалось не слышал. Он принес из своей комнаты газету, на ходу просмотрел её и небрежно отбросил в сторону.

— Знакомо это тебе? Я сделал некоторые пометки, по правде сказать, вряд ли они и нужны. Автор этого почтенного труда начинает так, как начинаются русские сказки: «В некотором царстве, в некотором государстве», не у нас, а где-то там, судите сами, где! Правда, дает намек, что то, о чем пишется, присуще людям тоталитарного мышления, но что возможно охватит и нас, что упаси Бог! Там это делается во имя одной идеи, сиречь — общественного блага. Вот тут то и начинается глубокий корень статьи: все эти творящие благо суть наипаскуднейшая сволочь, которую надо безжалостно истребить особенно, если она покажется среди нас. Ты имешь ко-

го-то в виду? Предупреждаешь других? Может быть уже заготовил списки, кого...

— Зачем же так произвольно, — нахмурился Роман. — Мне, лучше будем говорить, автору хотелось выявить, что каждая эпоха имеет свои особенности, как и преобладающие преступления. Если грубое насилие раннего феодального строя сменилось утонченным коварством, изощренными пытками, то это касалось, главным образом, придворной клики, герцогов, графов. Совсем неплохо посадить в железную клетку ближайшего родственника, шурина, дядю и вывесить за окно замка на солнечную сторону, если кому-то показалось, что этот родственничек зарился на его престол, земли, жену, любовницу. После индустриальной революции появились свои особенности: панамы, хищения, умышленные банкротства, массовое взяточничество. Строители железных дорог умышленно планировали их вдали от городов в расчете, что отцы их, промышленники, все, кто зависел от дороги, входили бы в сделку с главными инженерами...

— Пространно, Роман! При чем тут дороги!

— Все эти клетки с испеченными герцогами, подкупы, капничество лишь детские проказы по сравнению с тем, что породил наш век! Не только классовую борьбу, в которой крестьянин встал на крестьянина, рабочий на рабочего, интеллигент на интеллигента! Доносы, поклепы, огульные обвинения приняли эпидемический характер. Летучей заразой предательства заражены целые общества, требование казни невинных лиц стало обычным явлением рабочих митингов — всё во имя того же общественного блага. Это ещё не всё. Развилось массовое предрасположение к бесчинству, подлость приняла права гражданства, дар к бесчестию расценивается, как дар к музыке, поэзии... Вот всё, что автор этой статьи хотел сказать. Как она будет принята, убедит ли или заденет кого, дело другое.

С лица Романа сошло обычное выражение доброду-

шая. Иннокентий, опустив голову и скрутив шею, смотрел исподлобья на брата.

— Кого, например, — приглушенно спросил он.

Роман повел плечами.

— Я могу сказать одно, — тот же сдавленный голос, старавшийся подавить волнение, — кому-то надо быть особенно осторожным.

Июнь, июль. Наступление душной шанхайской жары. Город жил по прежнему в жадной наживе денег, в погоне за удовольствием, пресыщением. Биржевые маклеры торопили кучеров, стоя в колясках, соскакивая на ходу у банков ради сделок. Время — деньги. Нарастало щелканье костяшек китайских счетов в учете прибылей. Голоса спекулянтов на хлопчатобумажной бирже становились азартнее и сочнее харканье в плевательницы, необходимую в Китае утварь. Назойливее зазывали менялы, звеня серебряными долларами. Гудели толпы на базарах, пристанях, вокзалах, вопили, стонали нищие, ослабленные, пронзительно кричали чайки над грязной водой Вангпу; стихийно нарастало сумеречное верещание цикад в гуще деревьев, предсказывавших ещё более душный день на завтра. Остро пищали комары в тяжелом дыхании ночи.

— Здесь комары ростом с моего Ремингтошу. Вы бы видели, коллега, как прошлой ночью они искусали мне грудь!

После разговора с Иннокентием Роман ещё больше чувствовал жалость к одному брату и отчуждение от другого. Он перебирал в уме всё, что произошло и что было сказано, приходя к выводу, что в сущности ничего не произошло, не считая судьбы Ильи — и то, что ничего не произошло, оказалось самым неприятным. Было бы лучше, если бы закончилось спором, сердитыми голоса-

мй, но не тем холодным тоном, враждебностью младшего брата.

Он укорял себя и за то, что первоначальное чувство сострадания к Илье как-то вдруг притупилось в нем; он не хотел думать — почему, стыдясь за свою тяжелую любовь к случайно встреченной девушке. «Как грустно», качал головой Роман, блуждая по улицам города — и он не знал, было ли ему грустно за Илью, холодность Иннокентия, за Ольгу, с которой было что-то неладно, за Сузанну и её неутолимую жажду жизни или за себя. «Как грустно», продолжал он качать головой, привлекая внимание встречных. «Но когда он играет концерт...»

Когда Иннокентия не было дома, а Нюта занималась своими делами или шла спать, Ольга заговаривала издали, с оттенком нерешительности о том, что видимо тревожило её. В её словах чувствовалась недоговоренность, ожидание чего-то непоправимого, сознание своего бессилия противостоять этому. Время от времени она поглядывала на дверь, как бы ожидая, что покажется Иннокентий и оглянет холодным взглядом сидевших в гостиной. Если в такие минуты появлялась Нюта, она в порыве внезапной нежности или боязни, что кто-то отнимет её дочь, крепко прижимала её к себе, закрывая руками и восклицая: «Доченька ты моя дорогая!»

Роман слушал, пытливо вглядывался и ничего не понимал. Он помнил, что раз или два Иннокентий обмолвился об Ольге, как о человеке неуравновешенном, с склонностью к драматизму, что от неё всё можно ожидать и что его жизнь с ней подчас «тяжелый случай по холере». Раз, за её спиной, он поднес палец ко лбу и покачал головой в знак того, что у неё «не все дома».

Роман видел в Ольге тихую приятную женщину, нежную мать, заботливую жену. Ничего странного в ней он не замечал, кроме случайных проявлений тревоги и испуга. Но он почти никогда не слышал её смеха. Когда

Нюта заливалась громким смехом от его рассказов, она только чуть улыбалась.

Раз Роман застал её за изучением французского языка. Она сперва оробела, затем обрадовалась, когда он заговорил с ней по-французски. Она расспрашивала его о Париже, Марселе, настаивая, чтобы он говорил медленно. Они оба смутились, когда, насмешливо улыбаясь, вошел Иннокентий. Ольга отложила в сторону самоучитель и взялась за вышивание.

Как могли совершенно различные люди начать совместную жизнь, думал Роман. Он припоминал странный разговор, который затеял с ним какой-то вертлявый человек, видимо знавший Иннокентия и питавший к нему то подобострастие, то враждебность. Что же было такого в Иннокентии, новом для него человеке? Что могло быть у них общего почти с десятилетней разницей в возрасте? Лицом, особенно глазами, он походил на мать, как помнил её Роман, но в его серых глазах не было той теплоты и восторженности, озарявшие её взгляд; казалось они таили в себе двойное зрение, двойной взгляд: первый, поверхностный, на вид внимательный и даже ласковый, старавшийся быть обычным, не выдававшим ничего; второй, всегда настороже, недоверчивый, беспокойный, полный тревоги, но не той, которую он внушал Ольге и другим, а своей, особенной, связанной со страхом, что то, к чему он рвется всей душой и сердцем, ускользнет, обманет его.

Осторожный поворот ключа, воровская поступь через столовую, ожидание, что в приоткрытой двери покажется голова с вопрошающим взглядом, жалость к другим и недовольство к себе... Не зажигать огня, не думать, ждать глухой ночи без снов — и всё внезапно изменилось от найденной на столе записки: «Куда вы, Роман, запропастились? Не показываетесь почти месяц. В чем дело? Приходите обязательно завтра, так много сказать вам. С.»

— Как я рада вас видеть, Роман! Где вы скрывались всё это время? Неужели уже прошло два года со дня нашей встречи и вы снялись с места для перелета в иные края? Слава Богу, вы ещё здесь и по-прежнему свежий! Вы не знаете, какое счастье вы мне принесли! Я выступаю в балете, соло, в Умирающем Лебеде.

— Замечательно, я так рад за вас, Сузанна! Где?

— Во Французском Клубе. Я так счастлива, не нахожу себе место. Я всё думала о вас, что с вами. Вдруг вызывают по телефону, ну, думаю, это вы! «Сузанн Таманова? Могу я вас видеть?» Приходит молодой человек, секретарь клуба. «Не приму ли я приглашение участвовать в программе в День Взятия Бастилии?» Когда он ушел, я готова была кричать от радости. Правда, это не Ковент Гарден, но и не Общественное Собрание с нашей детворой в собственной постановке «Принцесса Грез и Жук Землеед». Большой французский праздник, вся знать города. Чарующие звуки Сен-Сана... Ещё за кулисами начинается ритмическое дрожание ног... Выход... Застывший зал... Умирает лебедь, но воскресает танцовщица... Божественная музыка... «Это плачет лебедь умирающий»... Ах, Роман, — всплеск рук, закинутая назад голова, её золотое сияние, полуоткрытый рот. — Последние звуки виолончели, слабеющие движения крыльев в предсмертной муке... И — гром аплодисментов, рев голосов, сладкая музыка, Таманова, Таманова... Выступление в Люсеум, ещё одно, прощальный спектакль, отъезд в Европу, Париж, мой, любимый, в котором, правда, никогда не бывала, но с которым таинственная связь — с Бульварами, Итальянский, Капуцинов, Осман, с пармскими фиалками у Маделен, с цилиндрами мужчин, с красивыми женщинами в шляпах со статусовыми перьями... со всем тем, что я видела на картинах Монэ и других импрессионистов и только в репродукциях... Что же я топчусь в прошлом столетии! Проснись, Таманова, тебя ждет новый день! Какое счастье, Роман...

СЕСТРИЦА

Есть люди, про которых можно сказать, что у них не было ни детства, ни юности, что они начинают жить сразу с сорокалетнего возраста. Такой казалась была старшая сестра Ольги, появившаяся в один из прекрасных или непрекрасных дней в доме Благобразовых.

Никто не помнил о приглашении Варвары Ивановны, да и она сама, со свойственной ей бесцеремонностью, на вопрос о приглашении ответила бы просто: «Ну, напросилась, если так больше нравится! Привыкнем друг другу и всё пойдет гладко».

Привыкнуть нужно было Ольге, моложе своей сводной сестры на семнадцать лет, которую она смутно помнила с тех пор, как отец, отдав её родственникам после смерти её матери, переселился из средне-российской губернии на Урал.

Вслед за письмом, полученном почти одновременно с письмом Ильи, месяца через два явилась и сама Варвара. Она втащила чемодан в гостиную и сказала удивленной Нюте, чтобы ей приготовили чай. Пока бой возился в кухне, она сбросила ботинки, пошарила в чемодане и вытащила трепанные шлепанцы с красными помпонами. Напившись чаю, она обошла всю квартиру, заглянула во все углы, пошарила на книжной полке, но не найдя ничего интересного, наткнулась на коробку шоколада, поставила её на столик у дивана, развалилась на нём, болтая ногой с повисшей на носке туфлей.

— Мама, у нас какая-то тетя, — прошептала Нюта, когда мать вернулась домой. — Она сейчас спит.

Услышав голоса, Варвара сбросила ноги с дивана, прищурила глаза при виде Ольги, словно восстанавливая в

памяти, какой она была прежде; с громким смехом она обняла и поцеловала её.

— Ну, вот, я и примчалась к тебе, как ты хотела, — воскликнула она, заставив Ольгу задуматься, — с вещами, как говорится на тюремном жаргоне, на вечное.

Ольга видела поджарую фигуру с сухими ногами, на которых мешком висели чулки, с гибкой спиной, узкими плечами и плоской грудью; тонкий овал бледно-желтоватого лица, зеленовато-серые глаза в редкой оправе белеватых ресниц, толстые косы, закрученные короной на голове, жилистые, фиолетовые от веснушек, руки. Что-то жалкое было в ней, робкое в её глазах, словно она боялась, что затянут ремни её обшорканного чемодана, вынесут на крыльцо и скажут: «Вон там за углом всегда можно найти рикшу».

Она рассказала о себе, «как похоронив муженька», она в людском потоке добралась до Харбина, где узнала «о сестренке Лёке и её счастливом браке» и не могла удержаться от желания повидать её, «хотя бы на миг». Ей нигде не нравилось и она расхваливала только Урал, где ей жилось привольно, и тут же, забыв о сказанном, жаловалась, что её притесняли и как она страдала; теперь она хочет полного покоя, монастырской жизни, где она могла бы делать добро несчастным людям.

Ольга смотрела на сестру с тем затаенным интересом, с каким рассматривают заморскую диковинку. Жалость и сомнение боролись в ней. Нюта прижималась к матери, такими же вопросительными глазами рассматривая неожиданную гостью, её лицо, желтые волосы, уложенные шапкой на маленькой, как у жирафа, голове.

Поплакавшись над своей судьбой, она укорила сестру за то, что та оставила её, и тут же громко рассмеялась. Когда она, показывая на ходу, как переставить мебель в гостиной — после замечаний о платьях для Ольги и о воспитании Нюты, — вошел Иннокентий. Она быстро, по-кошачьи, подпрыгнула к нему, заглядывая ему в гла-

за и заливаясь счастливым смехом, взяла его за руки, словно желая повернуть к свету и разглядеть получше с восхищенным восклицанием: «Ах, что за красавец!»

Поразил всех в доме её смех, неожиданный, громкий, с жирным отзвуком, который не удивил бы никого, если исходил бы от ожиревшего человека, с обвисшими щеками и грушевидным кадыком, а не от гибкой, как стебелюшка, женщины. И её язык, острый, насмешливый, подчас циничный; чем откровеннее были её выражения, тем громче звучал её смех.

После обеда, когда Иннокентий собирался позвонить в Тихую Заводь или другой русский пансион и заказать комнату для Варвары, она горько воскликнула:

— Разлучить опять с сестренкой, которую я с таким трудом нашла!

Делать было нечего. Нюту пристроили на диване, а Варвару вселили в её комнату. Так прошло несколько дней, во время которых Иннокентий, обычно оберегавший свою жизнь с примерной заботливостью, мог бы настоять на переселении Варвары в другое место. Но он ничего не предпринимал, а на молчаливый, но достаточно ясный вопрос Ольги пожимал плечами: её сестра, как же поступить иначе.

Разрешение вопроса пришло от Варвары, которая знала давно, что хотела.

— Почему вам не устроить комнату для Нюрки?

Ольга поморщилась: почему Нюрка, а не Нюта?

— Какую комнату?

— А ту, где навалены чемоданы.

— Так ведь это же чулан!

— Какая разница! У людей приличная комната, а несчастный ребенок должен ютиться на диване! Я уж не говорю о том, что в гостиной нельзя больше сидеть, так как Нюрке надо рано идти спать.

Гостя повела себя по-своему. В отношении Ольги она приняла покровительственный тон, словно та была не

старше Нюты, и совершенно фамилиарный с Иннокентием. Странно, что обычно сдержанный на слова и чувства, не терпевший панибратства, Иннокентий охотно принимал это от Варвары.

Днем дома никого не было. Иннокентий и Ольга служили, Нюта возвращалась из школы около трех. Бой после утренней уборки уходил на базар и пропадал почти весь день.

В эти свободные часы Варвара пересмотрела гардероб Ольги и нашла, что всё было «тряпье», которое вряд ли можно перешить во что-то толковое и «по вкусу». Она перебрала всё немного, что было на книжной полке, не найдя ничего для себя. «Ни романов, ни стихов! И что страннее всего — в доме сыщика ни одного сыщика!»

«Вот, где должно быть интересно», думала она, заглядывая в комнату Иннокентия. На первый раз она только окинула её пытливым взглядом и заглянула в шкаф, где висели полицейский дождевик, форма и два костюма. Набравшись смелости, она принялась за его письменный стол; некоторые ящики не были закрыты, но в них ничего не было, кроме карандашей, резинок и других мелочей; два других были набиты английскими брошюрами, пособиями по полицейскому делу. Другие ящики были закрыты на ключ.

Ни в открытых ящиках, ни на столе не было ни писем, ни записок. Она пошарила в открытых ящиках, нет ли там ключей к другим ящикам, ощупала карманы костюмов в шкафу, провела рукой по верхней полке, где лежала его шляпа и полицейская фуражка.

Она была поражена, что на всем лежало полное отсутствие личного, словно Иннокентия никогда не бывало в комнате или он так умел прятать, что ничего нельзя найти. А ведь должно быть что-то, не даром она слышала о нем кое-что в Харбине.

Раз за этим повторным занятием, когда Варвара была погружена в поиски, на пороге показалась Нюта, с паль-

дем, приставленным ко рту от немалого удивления.

— Ну, что глазеешь! Если будешь так тихо подбирать ся, я вот этими ножницами отрежу тебе косы и скажу твоей матери, что ты сама это сделала. А если скажешь что-либо отцу или матери, то я так ущемлю тебе язык, что ты станешь заикаться. Проваливай, пока тебе не попало, как следует.

Вечерами, когда после обеда все сидели в гостиной, Варвара заигрывала с Иннокентием, подсмеиваясь над ним, что его имя означает блаженство или невинность, и спрашивала Ольгу, такой ли он на самом деле. Ольга жалко улыбалась; щемящий комок подступал к её горлу она старалась найти предлог, чтобы уйти из комнаты.

Раз она заметила руку сестры на руке Иннокентия. Ей показалось, что желтая плеть или змея опутала не только кисть мужа, но и её самую, её семью, дом. Она бросилась в кухню и, не обращая внимания на боя, припала головой к окну. Слезы хлынули потоком от предчувствия чего-то непоправимого.

После нескольких встреч с редкими знакомыми Иннокентия она быстро остыла к ним. Сперва ей нравился Мохильковский, другой детектив Международной полиции, за его манеру подплывать к женщинам сбоку, на ногах, чуть согнутых в коленях, с повернутым в сторону лицом и помутневшими от похоти глазами. Гурий Аполлонович, или как его обычно звали Панталонич, заговаривал с ней влажным голосом, стыдливо хихикал, касался мокрыми пальцами её руки.

Когда он надоел ей, она завела дружбу с Воздвиженким-Выдрой, «единственно умным человеком во всем городе», от болтовни которого она узнала ещё кое-что об Иннокентии. Для чего ей это было нужно, вряд ли знала она сама, кроме расчета, что «может пригодиться».

14-го июля, Французский парк. День Взятия Бастилии. Душный вечер, небо в тяжелых испарениях, накопивших-

ся за день изнуряющего зноя.

Яркие огни Французского Клуба. Праздничное на-
строение. Автомобили, фаэтоны, частные рикши подъез-
жают к парадной лестнице, высаживая нарядную публи-
ку. Звуки струнного оркестра. Звон посуды, бокалов, се-
ребряных шбанов с шампанским на веранде. Блестящие
формы, мундиры, золотое шитье, муаровые ленты, орде-
на и медали, палаши, сабли, кортики; летние смокинги,
ослепительные наряды дам. Не хватало только редакто-
ра Эмигрантского Эхо, чтобы мастерскими стояновски-
ми мазками увековечить торжество французской знати
и её гостей по случаю пролетарского бунта. Тем кстати
было бы подобное историческое описание, что никто не
мог сказать, что безмятежное пребывание в условиях
колониального быта метеорически приближалось к кон-
цу и что никто не отважился бы предсказать на исходе
гридцатых годов, сколько ещё раз повторятся Дни Взя-
тия Бастилии на отдаленных владениях *la belle France*.

Для избранных, не имевших ни мундиров, ни звезд,
ни миллионов, и кто поэтому не мог попасть в клуб, бы-
ло предоставлено гуляние в парке и ожидание фейер-
зерка. В толпе Французского парка не было ни собак, ни
солдат, ни китайцев, но были многочисленные предста-
вители двух особенностей Шанхая: так-называемые пор-
тугальцы, отпрыски выходцев из Португалии, женивших-
ся на китайках, и *halfcasts*, полукровные, отпрыски ки-
тайцев, женившихся на так-называемых португалках; и
новые поселенцы города — российские эмигранты. По-
следние, не делясь на касты, создали свои классовые под-
разделения, и те, кто служили клерками в Русско-Азиат-
ском банке или в Английской таможне, смотрели свысо-
ка на сторожей, охранявших промышленные склады.

Новые поселенцы прогуливались парами или в одиноч-
ку, то под руку, то заложив руки за спину той чинной
походкой, которой они шествовали ещё так недавно по
дорожкам своих городских садов. Они церемонно рас-

кланивались, чмокая пухлые ручки дам, сияли праздничными улыбками, суетливо давали прикурить, угощали друг друга сахаринной водой в киосках. Присяжные уха-жоры поигрывали значительно глазами при встрече с женщинами, оборачивались для оценки их ног и спин и переглядывались понимающе с другими ферлакурщиками — совсем так, как делали у себя дома.

Они поглядывали на клубную веранду, прислушивались к речам,говору, звону бокалов, разделяя радость по поводу взятия Бастилии, праздника, последовавшие отражения которого довели их до желтых вод Вангпу и зловонных каналов.

Роман пребывал в состоянии «примиряющей грусти», как, подсмеиваясь над собой, определял он рвавшееся наружу глухое чувство неудовлетворения. Он радовался за Сузанну и грустил, что это было сё страстно желаемое, ни с кем неделимое счастье. Он хотел рассеять тяжесть влюбления, подавить в себе нарастающее раздражение. «Вот если такую бы форму, как у этого комиссара полиции, медали на выгнутой колесом груди, такие же тараканьи усища, вытаращенные от служебного усердия глаза! Или такую же стройную фигуру с точеными ногами хлыста-франта в белом смокинге с красной гвоздикой, на которую он сперва поплевал, прежде чем продеть в петлицу. Такое бы лицо с голубой белизной, выпяченной челюстью и недоуменно-вопросительным выражением полудевы, пропустившей второй месячный период».

Роман нашел пустую скамью, прислушиваясь к тому, что доносилось из клуба. Два человека, один пожилой, вихлястый, с беспокойными глазами, другой молодой с жидкой бородкой на простоватом детском лице, остановились у скамьи, оживленно разговаривая. Говорил больше пожилой, поучая другого, а тот только поддакивал с восхищенными восклицаниями и заливался смехом.

Заметив вытаращенный на себя взгляд, Роман отвернулся в сторону, вытянув осторожно ногу вдоль скамьи,

не отрываясь глазам от залитого светом клуба.

— Сразу, как сказываю, не подойдешь. Надо срастись, выкормить в себе и радоваться, аки детищу своея.

— Чему же радоваться, дядя Василий?

— А то и плакать. В Писании то как сказано: «К Богу слезит око мое». Тебе, отрок, не понять. Кажись, земляк?

— Он повернулся к Роману, заглядывая ему в лицо. Не дожидаясь ответа, он указал пальцем на молодого. — Мы спор ведем, т. е, я возглашаю, а отрок вникает, но по молодости лет и необразованности не имеет понятия, а если и говорит, то необозначительно и боится оного.

— Чего же мне бояться, дядя Василий?

— Это он о некой братии поверх нас, власть имущие и ризы блюдущие в белизне... Конечно, постукивают все, кто в Бога верует. У нас, ведь, без стукачества, как без причастия...

Молодой залился смехом, хлопая себя в восхищении по ноге. В клубном зале медленно гасли огни. Весь в волнении, Роман подвинулся вперед всем корпусом... Первые звуки Сен-Сана из «Карнавала Зверей». Песнь о лебеде. Это Яша бородач из пансиона Фанни Давыдовны, прижавшись головой к грифу виолончели, начал волшебство... Вот-вот с замиранием сердца вслед за блуждающим лучом прожектора... трепетное движение ног, чуть откинутый корпус, русая голова с белым венчиком, сведенные вперед руки, полуприкрытые глаза, полуоткрытый рот... Видение белого лебедя... «Заводь спит, молчит вода зеркальная...» Затихший зал. В умирающем лебеде оживает балерина. Софья Швейчук превращается в Сузанну Таманову.

— Ко мне не прилипнет, — заливался смехом молодой.

— Нет, а? Раз встал на святой путь, так уже всё снято, а? Знал я вашего брата, выискивали, чем бы пропитаться, ну, и постукивали себе на здоровье. А с другой стороны, если взглядеться позорче, — он коснулся руки Романа, — то по нынешним временам болезнь самая ходкая, что

вам чума или холера... Ко мне не пристанет, как я к монашеству уготовляюсь.

...Темный зал, огни рампы. Из оркестровой ямы рвется к небу реквием по белой птице и ода по случаю рождения балерины... Ах, Роман, какой восторг! Дожить до этого момента и сохранить его на всю жизнь! Это уже не мечты, не хрупкое сплетение надежд. Чарующая музыка! Нет смерти лебеда, есть только перевоплощение. Пусть он «с собой о прошлом говорит». Поговорим о будущем, оно важнее...

— ...некрасиво, мол, и подло. Вчера ещё занимался этим, а сегодня бросил, а то другой перехватил, так это теперь подлость. Оно, конечно, прилипчивое. А что скажешь? По Писанию то как: «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него». Что-ж тут о совести говорить! Вот и берутся за тебя, если кто владеет твоей жизнью. А знаю я одного, — он опять повернулся к Роману, чтобы привлечь его внимание, — знаю. «Идет впереди, аки огонь поядающий!» А разглядеть поближе, ан, нет, поодаль, где его никто не видит, но так шурует оттуда, одно заглядение.

— Огонь поядающий, сказано то как!

...Поговорим о будущем, пока виолончелист склоняет голову над грифом. Как мало надо ему, всего точку для штыка виолончели? А много ли мне нужно? Пересечь на пуантах сцену, сделать ряд трепетных движений, вернуться на середину, медленно склониться, вытянуть ноги, припасть головой к коленям, с руками в замирающих движениях крыльев... Оживать в умирающем? Грустно? И бесконечно радостно! Это только образ чего-то светлого, оно умирает, мы сознаем это с грустью... Но кто-то оживает: Сузанна Таманова. Нет больше сизого голубка, что живет в мансарде Тихой Заводи, за которую не плачено несколько месяцев...

— О ком это вы, дядя Василий?

— Есть такой, — нехотя отозвался вихлястый, тараша

глазами по сторонам. — Добрый, заботливый, лучше не найдешь! И подругу беспорочную уступит и дитё мертворожденное в придачу, и наставит в жизни, аки пастырь благочестивый. И сатанинской прелестью соблазнит и проказой поразит, аще аз язвы ношу прегрешный! Сему удостоился, каюсь, окаянный, сотворив сие ради спасения, если не души, так кожи.

«Что это за начетчик? Откуда эта семинарская витиеватость? Что-то знакомое в суетливой фигуре?» Роман встрепенулся. В зале раздались громкие аплодисменты. Вспыхнули огни... Раскрасневшееся лицо, глаза, озаренные счастьем, в руках охапка роз... Видите ли вы это, Роман? Или вы прислушиваетесь к чьей-то болтовне, улавливая в ней что-то близкое? Слышите аплодисменты, вызовы, а у меня нет больше ног! Цветы, восторженности публики — ведь это я! Как мне радостно! Не слушайте вздора случайных людей, побудьте со мной, с моей радостью и счастьем...

— Как бы сказать, предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивых бросил меня.

— Слова то какие!

— Слова словесами, а чувствуешь, отрок, что за ними?

— Что, дядя Василий?

— Подвиг! И это надо сказать стоя, на вытяжку, как перед командующим генералом или правящим властью. Конечно, и подлость, всё вместе.

Роман прислушался. Что дальше? Он повернулся к соседу. Из клуба доносились звуки аккомпанимента и голос певца... Сузанна вероятно у себя в уборной перед зеркалом, всматриваясь в себя, как восхищенный зритель всматривается в портрет мастера, изображающий балерину в сиренево-белых акварельных тонах с изящно выгнутом стволом шеи над ключицами и оголенными плечами...

— Сей отрок из послушников, уготовляет жизнь себе вечную. Однако не прочь и поучиться кое-чему. Настав-

ников много, наезжают на стогна города. Возьмутся скопом, с нажимом, объявят призыв стукачей-добровольцев, вспорят кошельки, а кому и кровь пустят, всё, мол, ради общей пользы.

— Как это — встрепенулся Роман, — для пользы? И почему подвиг и подлость всё вместе?

... Вероятно в клубе парадный ужин, шампанское, тосгы. Ландышевый венчик на золотистой голове, изогнутые пальцы на концах вилки и ножа, бокал, поддерживаемый за хрустальную талию... И опять чувство глухого раздражения охватило Романа.

— Почему же подвиг?

— Совершают одиночки, потому и подвиг.

— Вы начали с другого.

— То есть? — Вихлястый принял изумленное выражение лица и подмигнул молодому: начинается самое интересное.

— Что кто-то «предал вас в руки беззаконника». Если не хочешь, не попадешь в «нечестивые руки».

— Двойко, и так, и сяк.

— Нет желания не попасть?

— Отчасти.

— И нет сопротивления?

— Каким же дерзновением возрю на судию, блудны аз.

— Слова то какие — воскликнул молодой в восторге.

— Почему вы паясничаете? Ветхозаветные тексты, тон семинариста? Признание в чем-то? Почему вы рассказываете это мне, человеку чужому?

— А ведь встречались, беседовали. Как же! О льве и ягненке, ежели помните. В общем об одном и том же предмете. Не столько о таинстве брака, сколько о таинственности оного. Оред голубка рядышком, полюбовно! А ведь тоже ради чего-то...

— Подвига и подлости? — раздраженно спросил Роман. — У вас всё путается!

— Путаницы нет. Вот только насчет самого слова...

Но дело не в этом, а в том, что дар надо иметь...

— И к подлости?

— Без дара ничего не сделаешь. Я вот сказывал отроку, что надо срастись, но этого ещё мало. Горение, зуд такой, что не стерпеть. Поелику сие для общей пользы, роптать нечего. Надо принимать, как есть, и благодарствовать. Для сего подвижничества у нас ныне простор, как никогда.

— Для подлости?

— Ну, если так хотите сказать...

«Что он, вычитал у меня в статье или я каким-то образом перенял у него?»

— Вы серьезно или продолжаете скоморошничать?

— Серчают, — смеялся звонко молодой. — Побежим, дядя Василий, сейчас запустят. Страсть интересно!

С шипящим свистом взвилась в воздух ракета и ослепила парк белым пламенем. Роман разглядел своего соседа: серовато-темное лицо, высокие скулы, провалившиеся щеки, острый подбородок, нечесанная шапка волос, длинные ноги и руки.

— Вот и Иннокентий Игнатович крепко верят в это, что для пользы, иначе бы...

— Знаете его хорошо?

— Встречал. Большой они человек.

— В какой области?

— Поди во всех, за что не возьмутся. Ишь, шустрый какой, уже побежал. Ну, мне пора! Засим! Не каждый раз говоришь с умным человеком.

Во время очередного вечера в Тихой Заводи Ипполит вызвался заменить декламатора, который не мог участвовать в программе. На вопрос, будет ли он читать ещё раз о «веселии монашеском», он ответил, что то, что он хотел бы прочесть, много лучше его собственных вещей. «Ну, слава Богу!», ответили ему.

Балалаечный ансамбль Гриши Сухого ждал, когда за-

тихнут голоса и уж готовы были ударить по струнам, но раздался громкий смех Варвары, сидевшей с Ольгой в первом ряду. В задних рядах крикнули «тише». Гриша взглянул на певицу, шевельнул кудрями, и балалаечники припали к струнам. Выждав несколько тактов, Муська Амурская уперлась кулаками в крутые бедра и, поводя плечами и грудью, запела «Ехали цыгане на ярмарку».

Дошла очередь до Ипполита. Он вышел, сразу оробев, на полукруг, жмурясь от света прожектора.

— Это не то, что я хотел прочесть. Переменил в последнюю минуту. Стихотворение Есенина, посвященное неважно кому. Ещё назвал её кобылой разъезженной. — Приятный смех. — Извините, не хотел сказать, но раз в стихотворении...

Он обвел глазами публику, словно выискивая кого-то.

— Странно, так хорошо помнил, а сейчас... Там только одна строка, которая имеет значение, её я и прочту.

Он пошевелил губами, сделал шаг вперед, глядя в упор на Варвару Ивановну, и продекламировал: «К вашей своре собачьей пора остыть». Он замолк, странно улыбаясь.

— Это всё, извините, как умел.

Варвара Ивановна побледнела. Позади раздались негодующие голоса: «Черт знает, что такое!» «Вывести вон нахала». «Это какой то абнормал!»

Сидевшая рядом с Варварой Ольга не поняла, что случилось; она удивленно оглядывалась, смотрела на Ипполита и его приятную улыбку, словно радовавшегося, что он доставил такое развлечение всем.

— Ничего, Лёка, не обращай внимания, он меня открыл за то, что я назвала его блаженным.

Странно, что Иннокентий, стоявший в дверях, как только услышал Ипполита, сразу вышел в коридор и вернулся, когда в зале раздавались негодующие восклицания. Он удивленно оглядывал всех, словно желая понять, в чем дело. Не было сомнения в том, что он слышал и о «кобыле разъезженной» и о «своре собачьей» и видел

устремленный на Варвару взгляд Ипполита, но он продолжал удивленно оглядываться.

— В чем дело, — спросил он Петю-унгерновца.

— Почти что по-матери. И кого!

Казалось, что эпизод на этом и закончился, если то, что произошло годами двумя позже, могло иметь какое-то отношения к легкому скандалу в виде поздней расплаты. Но об этом мог знать только один Иннокентий Благодяров.

За два с лишним месяца после выступления Сузанны в Французском клубе Роман ни разу не видел её. Он подходил к Тихой Заводи, не решаясь зайти и спросить о ней. Он возвращался вечером, подолгу стоял на другой стороне улицы; окно ее комнаты попрежнему оставалось темным; он знал, что ждать бесполезно, и всё же продолжал оставаться на месте.

Наконец он набрался храбрости и под предлогом визита Стоянову, зная, что тот у себя в газете, показался на веранде Тихой Заводи. Старый актер, позевывая после полуденного сна, раскладывал пасьянс.

— Так, так, — тянул он, догадываясь о цели прихода Романа, но не делал попытки помочь ему. — Так, так, — шипел он, постукивая пальцами по столу и раздумывая, что положить на что, чтобы удался пасьянс. Роман чувствовал, что старый актер страдал не меньше, чем он, от запоздалой старческой любви.

— Желаете узнать, где наша очаровательная танцовщица, — просипел он злорадно, отрываясь от карт. — Хотел бы и я, не говоря о том, что как владелец пансиона...

— Феодор, — предостерегающе заметила Аделаида Викторовна из своей комнаты.

И вдруг случайная встреча у лавки химической чисти. Удивление, мгновенная мысль свернуть в сторону — и ра-

достное восклицание, всё в одну секунду, пока галдела улица, визжали трамвайные колеса, гудели в порту пароходы.

— Я всё время думал о вас, Сузанна...

— Я знаю, чувствовала, это меня трогало... Так много сказать и не знаешь... — Ее лицо казалось серым, испуганным, хотя она старалась придать ему выражение самоуверенности, почти вызова.

— Всё хорошо, Роман, очень хорошо... Так счастлива после того вечера, успеха... Чувство полета на огромных крыльях, восхитительное ощущение высоты! Теперь посыпятся предложения, как из рога изобилия... Что я вам рассказываю, дурачу себя! Прошло три с половиной месяца, и что — *masci*, как говорится на *pidgin-English*, ничего! А как я старалась заручиться контрактом! Может быть и могла бы, но идти на что-то ещё...

Её губы свелись в горькую улыбку, она отвернулась в сторону, переложив из руки в руку сверток платьев.

— Мир дельцов, от которых я, балерина, завишу, что то особенное! Конечно — тут я всегда вспоминала вас и вашу оценку этих особенностей — это Шанхай, циничный, алчный, думающий только о наживе, своем удовольствии. Что ему искусство, красота, чье-то горение... Я задолжала в пансионе... Ах, что говорить! Вот мы и дошли. Хотит зайти со мной?

Она положила платья на прилавок, закрывая от Романа выцветшие пятна под рукавами. Её лицо озарилось улыбкой, которую он так любил.

— Вы ещё хоть немного любите меня, Роман? Так приятно думать, что кто-то любит тебя по-хорошему.

Он хотел спросить ее, как она, где живет, что с ней, так много вопросов после долгого времени, но он чувствовал, что, видя в ней перемену, не должен был делать этого. Казалось, что и Сузанна думала о том же самом. Она ничего не ждала, ничего не просила. Его любовь трогала её, но может ли добрый дворовый пес заняться

антрепризой, устроить ангажемент, дать выход её метушейся душе?

— Забудьте обо всём, Роман. Не кому поплакаться по душе, а вы как раз подвернулись...

Они вышли навстречу шумной толпе, мимо однотипных кирпичных домов и лестниц, по тротуарам, усеянных сором, окурками. Но предвечернее небо поздней шанхайской осени было прекрасно, каким оно было памятными летними вечерами.

Они свернули в боковую улицу, прошли мимо нескольких домов с выступами наружных лестниц. У одного из них она остановилась и взялась за чугунную калитку.

— Вот мы и пришли, Роман, и я должна попрощаться с вами, у меня так много дел. — Она остановилась, роясь в сумочке, странно передернула плечами, засмеялась, и сказала, что у неё завтра важное свидание относительно ангажемента. Сказала это она быстро, бессвязно, как говорят, когда не верят своим словам.

— Ну, Роман, до свидания. Вы не знаете, как я благодарна вам. Ну, идите, а то я сейчас заплачу.

Он дошел до угла, мучаясь, что ничем не мог помочь ей, чувствуя, как нужна была такая помощь. Перед тем, как свернуть за угол, он встрепенулся, чтобы броситься к ней, но увидел, что Сузанна шла быстро, не оборачиваясь, в другую сторону. Это поразило его. Ещё мгновение — и Сузанна потерялась в толпе.

— Папа, почему дядя Рома не приходит больше к нам?

— Не мешай, Нюта, видишь папа читает.

— Он только перелистывает книгу. Было весело, когда приходил дядя Рома, а теперь...

— Дядя Рома человек непостоянный. Сегодня он здесь, а завтра за тысячу верст в другом месте.

Нюта задумалась. Что значит тысяча верст? Далеко?

— Я даже не знаю, где он? Ты знаешь, Лёка? Оставил он тебе какую-либо весть? Впрочем, неважно.

«Почему неважно», думала Нюта. Задумался и Иннокентий, помня насмешливые слова брата при последней встрече, что было «также неважно». Важно, что появилась пропасть, расхождение в вопросе правоты. Что сделал бы он сам в то воскресенье? Передал бы револьвер с взведенным курком соседу, указав на мастерового с цепью, бывшего человека по окровавленной голове, и на другого с револьвером в руках, а сам бы отошел в сторону, чтобы затеряться в толпе?

— Сейчас твой дядя Роман сидит в другом доме, рядом с другой девочкой и рассказывает ей всякую чушь.

Нюта задумалась. Первый налет ревности омрачил её лицо.

— Что с тобой, Кеша? Отчего у тебя такой тон? Нюта, не мешай, видишь, папа занят. Займись своими игрушками.

Зазвенел телефон. Иннокентий сорвался с места, бросился в коридор. «Константин Яковлевич», тихо спросил он, поглядывая на открытую дверь в гостиную. Он подобрал ногой длинный шнур и исчез у себя, закрыв плотно за собой дверь.

Роман возвращался на ту улицу, где он так странно расстался с Сузанной, проходя медленно мимо знакомого ряда домов, останавливаясь у памятной решетки, не решаясь открыть ее, подняться несколько шагов по лестнице, дойти до двери, нажать кнопку звонка и спросить бодрым голосом, не здесь ли живет мисс Сузанн? «Мисс Сузанн — кто?» Таманова или Софья Швейчук, сизокрылый голубок, живший когда-то у себя в голубятне на французской концессии.

Нажать на ручку калитки, услышать ржавый скрип шарнира, заглянуть в открытую дверь... Два возможных ответа: «Да, здесь, не знаю, дома или нет». Или второй: «Никогда не слыхала такого имени». Что делать в первом случае? «Можно пройти?» «Пожалуйста, наверху,

второй этаж, такая-то комната, но я, право, не знаю... А то, поди, ещё спит». «Днем?» «Кто её знает!»

Подняться, постучать? Стук сердца может быть громче... Вдруг откроется дверь и высунется голова, недовольный голос: «Что надо? Почему не оставите меня в покое? Я сказала ясно, что я хочу — забвения, без глупых мечтаний и надежд... Просто — ничего, *masci*! Зачем вы тревожите мою память о случайном даре я приписала вам? Это как глумление весельчаков-тюремщиков над осужденным, что его завтра не казнят... Кто помогал мне обманывать себя? Кто говорил мне о декорациях, танцах, музыке, всё волшебное, упоительное... Только слушать и умиляться! Какой милый человек! Спасибо! Идите своей дорогой и оставьте меня в покое, если любите, не стойте в дверях, я все равно не открою их. И не ходите, как тень Гамлета по этой улице, она не стоит этого... и не хватйтесь за решетку, ещё опрокинете ее и мне придется платить... Ах, что я говорю! Простите...»

Но может быть совсем не так. «Сузанна Швейчук или как ещё? Такой у нас нет. Не помню, была ли раньше. Их так много, всех не упомнишь». И тот же голос в ответ на чей-то вопрос из глубины коридора: «Какой-то проходимец ищет себе девочку».

СКВЕРНЫЙ ВЕЧЕР

— А вот и мой кавалер, — воскликнула Варвара при виде Романа. — С ним мы и пойдём, если никто из вас не хочет познакомить меня с прелестями вашего Вавилона. Я хочу знать, как веселятся здесь. Да и мне самой надо бы развлечься, не сидеть же мне здесь в девках и беречь своё сокровище!

— Вот кстати и подвернулся брат Роман! Человек бывалый в таких местах, одним словом — парижанин. Наверное, успел перезнакомиться со всеми хозяйками значных мест и девицами.

— Такие знакомства и человек молчит! Мог бы и меня пристроить на заработок! Теперь то мне особенно хочется повидать эти заведения, чтобы знать, к чему готовиться. Когда же вы собираетесь знакомить меня с ночной жизнью Шанхая?

— Что за вопрос! Брат Роман готов.

— Сегодня, конечно! Если я что хочу, я хочу немедленно! Когда слет гостей?

— Часов в десять. Самый разгар вероятно к полуночи.

— Слышите — вероятно! Как будто не знает! Сколько сейчас? Восемь с небольшим! Напьемся чаю, а затем в «объезд по епархии», как говорится у вас, у мужчин. Лёка, собирай поживее чай, мне уже невтерпёж.

Холодный вечер. Шум ветра в верхушках деревьев. «Слава Богу, что нет рикш на два пассажира», думал Роман, видя перед собой сгорбленную спину человека, бежавшего неторопливой рысью. Остались позади яркие огни Банда, мост через Сучоуский канал. Сечуан Роад, пансион Фанни Даыдовны, где Яша, бородатый черномор, рассказывает за чаепитием о «ыцарях и релестных

амах»; в столовой тепло, шумно...

Роман показал рукой направо и рикши свернули в узкий кривой переулочек.

— Что эта за дыра? Куда вы меня завезли, Роман?

— Куда вы хотели. Это «траншеи», бары, девушки, танцы. Видите, освещенные входы по сторонам?

— Так в первый попавший?

— Раз мы приехали сюда, давайте осмотримся.

— Хорошо, следуя вашему чутью. Видно, что идете по знакомым следам.

Он вел Варвару мимо освещенных входов, у которых стояли зазыватели, заманивая прохожих к себе. Вдоль стен жались рикши, дрожа от холода. Блуждали одиночные фигуры, останавливаясь то у одного входа, то у другого. За одним из них бежал старик китаец, волоча за собой мальчика, с криком «маста, доллар». Из открытых дверей неслись шумные голоса, клекот саксофонов, бряканье по клавишам таперов, смех — и всё это звучало, как бормотание блудливого старичка, как кокетничание размалеванной старухи, готовое перейти в горький плач.

Роман дошел до конца переулочка, останавливаясь и заглядывая внутрь; раза два он вернулся к одному из первых домов у входа в «траншеи», и Варвара готова была зойти на призыв привратника, но он покачал головой.

— Нет, не здесь. Вот что-то на другой стороне.

— Не всё ли равно, — отозвалась Варвара, которой заскучило блуждание Романа от одного дома к другому.

— Посмотрим ещё раз. Мне кажется вот здесь вам понравится больше.

Коротконогий человек с грудью колесом, выпиравшей из тесного смокинга, с котелком на кошачьей голове, опирался круглой спиной о прилавок вешалки. Жирная хозяйка, затянутая в черное платье, украшенная ожерельями, брошками, кольцами, в золотых разношенных туфлях, сладко улыбаясь мясистым лицом цвета поражённой печени, откинула тяжелую портьеру.

Полутемный зал для создания интимности и грошевой романтики, столики, крохотная эстрада с прижатым к стене пианино. В середине, на открытой площадке, несколько тесно скованных пар. Облако табачного дыма застилает потолок. Тяжелый запах непроветренного помещения, алкогольного перегара, человеческого пота, не промытых уборных.

Варвара с жадным интересом оглядывалась вокруг; всё ей было в новизну, поражало её воображение; она притихла, подавленная невиданной до этого роскошью. Скрипач повизгивал на скрипке, саксофон клочкотал соблазняющим тенорком, тапер, сидя боком к пианино, небрежно перебирал клавиши. Танцующие скользили по полу с равнодушными лицами, словно исполняя навязанный долг, приседая в коленях, потрясая головой, плечами, жирными ляшками, задом в модном танце shimmy, Танцевали мелкие клерки из шанхайских контор и таможи, капитанские помощники и механики с иностранных грузовиков. Танцевали воспитанницы хозяйки кабака с замкнутыми лицами и загадочными улыбками, как требовал хороший тон заведения. Громяхая ногами, входили толпой посетители, шмыгали бои с подносами, разнося напитки. Громче поднимался гул пьяных голосов, судорожно захлебывался саксофон, совпадая ритмом с человеческим пульсом, возбуждая танцующих, как возбуждает тум-тум африканских барабанов население джунглей.

Роман старался занять Варвару, но ей было не до него; она была заморожена, с завистью следила за танцующими, приглядываясь к каждому движению ног, рук, голов, плеч, словно желая навсегда сохранить их в памяти.

Чувство досады расло в нем, что он не мог отказать ей и теперь должен сидеть в этой толпе. Ему был неприятен шум, пьяные голоса, табачный дым; неприятна была и Варвара, жадная до зрелищ, делавшая попытку кокетничать с соседями.

Одна из танцевавших женщин освободилась от своего партнера, подбежала к одному столику и ударила по лицу человека, сидевшего за ним. Тот поднялся, с недоумением оглядываясь вокруг. К нему подошел человек, танцевавший с женщиной, собираясь ударить его. Завязалась свалка, куда деловито направился вышибало, чтобы выволочь кого нужно наружу за двери, но в это время женщина, ударившая того, догнала его в проходе и с громким плачем бросилась ему на шею.

На Варвару эта сцена произвела большое впечатление; она вскрикнула от удовольствия и разлилась громким смехом.

— Пора идти домой, — сухо сказал Роман.

— Начинается самое интересное, а вы хотите лишить меня удовольствия! Зачем же тогда пришли? Ещё хоть полчаса.

Роман опустил голову, мирясь с тем, что надо ещё терпеть, торопя эти полчаса.

Вдруг над гулом пьяных голосов раздался пронзительный женский крик — и Роман вздрогнул. Что-то заставило его подняться и взглянуть в дальний угол и там увидеть Сузанну, с руками, поднятыми над головой. Она упала на стол, сбивая стаканы, зарываясь лицом в руки в истерическом плаче.

Роман сорвался с места и, подпрыгивая на ходу и расталкивая танцующих, бросился к ней.

— Сузанна! — воскликнул он с такой острой болью в голосе, что моряки, сидевшие за столом, посмотрели на него с сочувствием. — Сузанна!

Она подняла голову, всматриваясь в него расширенными глазами и закричала: — Нет, нет, только не это! — и опять забилась головой о стол в истерике. Через минуту она снова подняла голову, напряженно всматриваясь в него, вдумываясь, кто это мог быть, почему его голос звучит так странно, непохоже на другие голоса. Её глаза стали дикими, она вскрикнула, опрокинувшись на

спинку стула. Растерянно, с глубочайшей жалостью и болью смотрел Роман на вздрагивающие плечи и спину Сузанны...

Варвара была вне себя от восторга, когда вернулся Роман; она заливалась жирным смехом, хлопала себя по ноге, глумясь над ним: — Сподобился, голубчик герой!

С лица хозяйки сошла кроткая улыбка любящей матери, наслаждавшейся невинной забавой своих дорогих девочек. Вместо приторно-слащавого выражения, выработанного многолетней работой в кабаках и домах терпимости, злобой исказилось багровое мясо её лица. Она подбоченилась, раскачиваясь на каблуках, крича пронзительным голосом: — Ах ты, сволочь, дерьмо собачье! Сука недобитая! Приперся сманить мою девочку! Лайдак паршивый! Отбивать от компании девочку! Варнак! Заказал за весь вечер стаканчик, так думает, что может скандалить у меня.

Роман казалось замер, не слыша ругани хозяйки, не замечая ни любопытных взглядов на себе, ни притихшей Варвары. В его ушах ещё звучал крик и захлебывающийся плач; он ещё видел напряженно-испуганный взгляд, словно спрашивающий, почему они оба здесь, в этом смрадном месте, среди пьяных людей. Он не отрывался глазами от того угла с бесконечной жалостью и сознанием бессилия, что не может взять её на руки и вынести через зал, подальше от этой мерзости, на свежий отрезвляющий воздух. Он ничего другого не слышал, кроме её крика; ничего не видел, кроме расширенных зрачков её недоумевающих глаз, он не видел, как к нему подошел коротконогий человек с котелком на кошачьей голове, наклонился над ним, положив тяжелую боксерскую руку на его плечо и, заглядывая выразительно ему в глаза, спросил, «в чем дело?», готовый приподнять его и протаскать сквозь пьяную толпу и у входной двери, открыв её ногой, выбросить на улицу.

Что-то было в лице Романа, в его позе, в невыразимо

грустном взгляде, в притихшей Варваре, что-то необычайное для кабацкой жизни, что присмирела и хозяйка, отошел и вышибало, виляя круглым задом в обтянутых брючках. Бойко забил по клавишам трехпалый тапер, захлебнулся в скорбном клокотании саксофон, вздрагивая головами и плечами, подрагивая в коленях, виляя задом и работая локтями, заметались пары в эпилептическом shimmy.

Роман пришел в себя. — Пойдем, — сказал он и, не дожидаясь Варвары, пока она крутилась у зеркала, надевая пальто, вышел наружу. С умоляющим криком «маста, доллар», кинулся к нему старик китаец, волоча за собой плачущего мальчика. Дрожали от холода рикши. У стены напротив, прижавшись к ней плечом, корчился человек в мучительных судорогах рвоты.

Андрей Авдеевич неспеша дописывал некролог из серии замечательных людей. «Молодым ветеринарным врачом Станислав Бунч-Бунковский вышел в один из блестящих каваллерийских полков, где он быстро проявил себя, как смелый новатор в деле улучшения как конского, так и людского состава. Один из его проектов вызвал оживленные дебаты и готов был быть принятым, но разыгравшаяся революция помешала этому благому начинанию. Проект сводился к целесообразности перемещения копчиков у господ строевых офицеров и всадников, что должно было способствовать обучению верховой езде, искоренению набивов на спинах лошадей и поднятию боеспособности конников. Оказавшись в эмиграции, Бунч-Бунковский не порывает с научной работой. Он не рвется, как все, в Прагу или Париж, а перебирается на Ближний Восток, где в течение короткого времени выпускает двухтомную классификацию верблюжьего кала, труд, сразу создавший ему репутацию видного ученого».

— Коллега, вы слышите или нет? Там посетительница с объявлением.

— Похоронное?

— Не похоже, скорее по женскому делу.

Андрей Авдеевич пошарил в шкафу и вытащил пиджак в меловую полоску.

— Вот объявление. Обращение к сочувствующим.

Редактор взял записку и внимательно прочел:

Интеллигентная вдова средних лет, истомившаяся по домашнему уюту, желает встретиться с симпатичным, непьющим мужчиной не моложе 60-ти лет с целью создания семейного счастья.

Он прочел некоторые места дважды, взглянул для проверки на истомившуюся вдову, снял пенсне, протер устало переносицу.

— Желаете поместить это у нас?

— За этим и пришла.

— На день?

— Хоть и на неделю.

— Недельная ставка дешевле, — сказал с видом сожаления редактор.

— А то и дольше. Пока не откликнутся.

— Женихи?

— Непьющие.

— В этом и загвоздка, — вздохнул он. — Симпатичного и непьющего!

— Настродалась, ещё как, — всхлипнула вдова, шаря в рыжей сумке за платком.

— Симпатичные не подведут, а вот непьющие!.. Кто у нас из таких, Марья Григорьевна?

— Надо справиться в Обществе Трезвости.

— Махнули куда! Последний действительный член в прошлом году сгорел от спирта.

— А вот этот брюнетик из молодежавых, с седоватым бобриком. Видный, походка легкая. Ещё переодевается.

— Х-м! Кто же это такой? Так это отец Бонифаций из юниатов. Хватили, матушка! Святой жизни человек, непьющий, твердо можно сказать. По части духовного,

одно... Но они-с, — он потыкал дужкой пенсе в сторону вдовы, — имеют другое в соображении... Ежели бы другое оформление, по-человечнее: оставили бы симпатичного, а другого, того, похерили.

— И опять страдать? Ну, это вы оставьте!

Он вскинул пенсне на переносицу, отчего его глаза опять стали чистыми в голубой изумленности, и заговорил теплым, проникновенным голосом:

— Извините, не могу, к сожалению, назвать вас уважаемой клиенткой, но в виду категоричности в оформлении вашего объявления, наша газета не может принять его. Наш печатный орган зиждется на твердых началах этики и морали, и брать платное объявление с запросом о предмете, которого нет в природе, равносильно обману и действию, говоря юридическим языком, с заведомо негодными средствами...

Андрей Авдеевич ораторствовал бы ещё, но в приемной никого не было, и только за перегородкой, сквозь дымовую завесу, особенно надсажено и яростно бился уродец Ремингтоша. Затем дым рассеялся, смолк металлический клетот и зазвучал голос с тупой безразличностью:

— По пяти доллариков еженедельно, неутешная вдова ждала бы себе семейного счастья. Ей светлая надежда, а вам чесунчевая пара. Не преть же вам всё лето в суконном.

Двумя часами позже. Опять кудлатая голова.

— Коллега, там по объявлению.

— Могилка или семейный уголок?

— Ни то, не сё. Человек веселый, всё насвистывает.

Бодрый человек в летнем костюме с галстуком бабочкой обмахивался канотье и поигрывал пальцами по прилавку.

— Позвольте представиться, представитель фирмы медикаментов и препаратов для сухощавости, омоложения, душевной и физической бодрости. Только что поступил в продажу веритабельный элексир жизни, средство, об-

ладающее до сих пор неоткрытыми свойствами омоложения. Препарат доппель-моппель доктора Калиостро...

— Не из графов ли?

— Возможно, человек заслуженный. Вот свидетельство одной из страдавших: «После двухнедельного принятия розовых пилюль доктора Калиостро я в 75 лет стала выглядеть, как в 73».

— Что же, не поверить нельзя.

— Сотни свидетельств от благодарных людей, осчастливленных доктором Калиостро. Вот текст. В рамке на две колонки. Наверху название препарата, лабораторная реторта. Ниже выдержки из благодарственных писем. Петитом на две колонки. Инициалы вместо имен, возраст вместо адресов, только города. Где петит, где корпус.

— Петитом убористее. Конечно, и корпус. Боюсь, не подойдет.

— Корпус?

— Объявление. Опасаюсь я вашего Калиостро. Если розовые пилюли доктора Гаврилова, ещё бы ничего. А Калиостро! Много натворил в свое время! Что принимая чудодейственные пилюли в 75 лет выглядишь как в 73, допускаю, тут не подкопнешь! А вдруг у Калиостро есть и такие омолаживающие препараты, что престарелые, принимая их, молодеют себе на диву не по дням, а по часам, и умирают от детского поноса. Вот ваши бумаги, а засим откланиваюсь. Обратитесь в Эмигрантские Новости, там вашего Калиостро обласкают, как родного. Сами такие.

Вечером, верстая номер для печати, Гантимурова, с руками в типографской краске, откидывая локтем калено-бурую прядь с чела, повторяла надрывным голосом:

— Вот родные могилки, рука не подымается засыпать их землицей. Вот прибитый горем Тудыкин скорбит о кончине супруги, урожденной Судыкиной. Вот неутешная вдова, страдающая без семейного счастья. Вот их

сиятельство, граф Калиостро и его магические пилюли, оскорбленный отказом помочь святому делу омоложения доверчивых людей... А вот здесь, — она повернулась в сторону и обвела рукой широкий круг, — чесунчевая пара с рубашкой аля апаш для редактора, новый костылек для родимого Ремингтоши, черный плащ с поперечными лентами на груди для Толи-за-всё, совсем такой, какой у него был в Благовещенске, парниша так страдает по родине! Осталось бы и мне на кружевной бюстгалик, всю жизнь мечтала...

— В какой вертеп ты заманил Варвару Ивановну? И что ты сам делаешь там? Стыдно сказать — учинил скандал, чуть не вышибли! Оpozорил её, да и меня!

— Каким же образом — тебя? Разве ты тоже замешен? Я понимаю твои заботы о Варваре Ивановне и обо мне. Спасибо тебе.

— Я знаю твоё зубоскальство. Но вот, что, Роман! Меня не касается твоя жизнь. Ты сам по себе. У меня семья, положение. Я не хочу быть втянутым в скандальные истории. С меня довольно Ильи...

— Да? — спросил Роман, насторожившись, ожидая, что скажет дальше Иннокентий.

— Ты знаешь, Роман, какое положение на сеттльменте? Различные опасения, что могут иметь для нас, а кое для кого особенно, чреватые последствия.

— К чему ты ведешь, Иннокентий?

— Никуда ве веду. Так, к слову... Видишь, иногда присутствие кого-то... кого-то... мм...

— Догадываюсь. Знаю по опыту: раз начнешь подбирать слова и говорить бессвязно, значит у тебя есть, что сказать.

— Ты помнишь, Роман, при нашей первой встрече ты сказал, что всё забыто... Не забыто и не будет забыто, что ты убил комсомольца... То, что ты здесь, известно советскому консульству... и... мы...

— Ты знаешь об этом? Каким образом? Иными словами, тебя посещает тайно скрывающийся от правосудия убийца и тем компрометирует примерного английского констебля. Или ты уже сержант за ревностную службу?

— Не издевайся, моя служба в стороне. После скандала в кабаке всем могло стать известным...

— Мировая печать, разведки всех стран...

— Не зубоскаль, ты мастер на это. Всё, что надо советскому консульству — снестись с властями, и в английской полиции появится ордер на твой арест.

— И попадись он тебе на глаза, а у тебя ордер, что бы ты сделал?

— Арестовал бы.

— В согласии с чувством долга?

— В согласии с чувством долга. Я предан службе.

Ранний вечер сырой зимы. Одинокая фигура, крыльцо с чугуиной решеткой. Ожидание, что кто-то выйдет.

... Какой скверный вечер! Мервенная бледность лица, крик отчаяния, истерический плач... Всё вздрогнуло, закружились столики, заметались в смертельном ужасе женщины, пугая своим видом кабацкую чернь... Надгробным рыданием скорбел саксофон...

Устало пробежал рикша, шлепая рваной соломой сандалий по мокрой мостовой. Сырой ветер загромыхал железной вывеской. Медленно бредущая пара показалась из-за угла. Поровнявшись с Романом, она остановилась.

— Кажись встречались! Прогуливаетесь? Прогуливаемся и мы. Вывел старушку проветриться. Бань здесь нет, а ведь как славно веничком по старым телесам! Вот и вывожу освежиться. Старушка ничего, тихая, готовит, стирает неплохо. Всё собираюсь представить в роде мамаши. Одним словом, уматерить. На первый взгляд звучит странно. А могу ли я Божью коровку удочерить на 76-м годку? Не беспокойтесь, ничего не слышит. Поэтому и живет при мне.

Выдра оглянул ряд домов, лестницы, темные окна, фонарь на углу.

— Никак квартиру подыскиваете, или проживаете здесь? Сказывают, девушки, из этих, снимают себе комнаты... Но вам то что, человеку одинокому!

Сырое серое утро. Цуруга-мару. Обычная возня на пароходе, готовившегося к отплытию. Скрипят лебедки, поднимая груз и опуская в трюм. Подъезжают автомобили, рикши с пассажирами, чемоданами, узлами. Гул толпы, крики носильщиков.

Два года после приезда в такой же холодный день. Срок, установленный для перемены... Так лучше. Потомиться вначале, дать растаять сердцу, сгладить на время шероховатые стороны жизни, попытаться облечь её в пурпур и виссон, и снова оборвать.

Путаясь в длинном «траурном» платье, Симка Кóшек несла за Романом по трапу его чемодан. Она ни за что не хотела расстаться с ним, это было её последнее прикосновение к Роману, и овечье лицо ветхозаветной Руфи смеялось и плакало.

Над желтой водой Вангпу кричали, как с горя, чайки. Галдела толпа. Начиная ржать глумливый город, возвращаясь после угара ночи к своему богатству, как возвращается пес на свои блевотины. Смеялась и плакала Симка. И плакало шанхайское небо, как плачет небо, когда горько на земле.

Так хотелось сказать, не выпуская чемодана из рук. «Рома, родненький, куда вы, не уезжайте, оставайтесь на самом деле!» Так хотелось ей вложить в ласковые слова робкую любовь, преданность, но ничего не получалось, кроме незначущих слов «на самом деле», смеха и слез.

КАК ОБУХОМ!

На реке Вангпу против города стояло несколько японских военных кораблей. Японское командование высадило войска в Хонкью, японской части города, чтобы отвлечь международное внимание от событий, готовившихся произойти в других местах Азии.

В городе было напряженное положение. Русский полк Волонтерского Корпуса сеттльмента и Русский отряд волонтеров французского города патрулировали улицы.

Иннокентий дежурил всю ночь. До ухода Ольги в контору он сказал, что из-за тревоги его могут вызвать в любую минуту, поэтому он вздремнет у себя у телефона.

Ольга решила отвести Нюту в школу. Варвара спала обычно до позднего утра. Китаец бой не появлялся второй день. Ольга приготовила мужу завтрак, сказав ему, что лучше не пить кофе, чтобы заснуть. Незначительные слова, если они и были последними в её разговоре с ним.

Улицы были пустынные. Трамваи ходили редко; после полудня перестали ходить совсем, когда японские самолеты сбросили несколько бомб.

На службе сказали Ольге, что из-за тревожного положения она могла не приходить. Возвращаться домой по пустынным улицам и сидеть там, тревожась за Иннокентия, который вероятно опять на службе? Лучше заняться работой, чем волноваться. После полудня управляющий решил, что нет смысла оставаться дольше и отпустил всех по домам.

Ольга вышла на Авеню Эдуарда Седьмого в надежде, что попадется трамвай, но после долгого ожидания решила дойти до Авеню Жоффр, чтобы зайти в русскую булочную купить хлеба и печенья к чаю. Несколько жен-

щин толпилось внутри, обсуждая положение в городе и тревожась за мужей.

Она дошла до Рут де Сёр, гадая, дома ли Иннокентий или вызвали на службу. На углу Бабблинг Вел Рoad было небольшое оживление: несколько человек и патруль обсуждали налет японских самолетов; одни говорили, что глупо сбрасывать бомбы над скаковым полем, оставив там две воронки, на что другие возражали, что это только цветочки, а ягодки впереди, когда начнут бомбить не только китайский город, но и сeттльмент и французскую концессию.

Ольге стало совсем не по себе и она заторопилась добраться до дому. Вернулся ли он или ещё спит? Нюта ещё в школе. Она быстро поднялась по лестнице, тихо отворила дверь и сняла туфли, чтобы не будить Иннокентия, если он спит. Прошла бесзвучно по коридору, заглянула в пустую гостиную и остановилась на цыпочках у приоткрытой двери его комнаты.

Заглянула — и у неё закатились глаза: голые руки, ноги, спина Варвары, обнимавшей на тесной кушетке Иннокентия. Она готова была вскрикнуть, но боль, как петель, стянула её горло. Она отшатнулась, силы оставили её... Чуть не падая, она добралась до выходной двери...

«Как обухом по голове», повторяла она, блуждая по пустынным улицам, борясь с отчаянием, веря и не веря тому, что случилось. Временами она успокаивалась, оглядывалась вокруг, узнавая или не узнавая улицы, дома. «Ничего не произошло... всё ещё по-старому... мы ещё там, далеко от этого города... Нюте всего пять лет... никуда не уезжали... так недавно и совсем иначе... Откуда же сестра? Да её вовсе не было тогда, она даже не помнила её, жива ли... Ах, нет! Как обухом по голове! Голые лопатки, длинные, как желтые плети, руки... Всклоченная голова Иннокентия... глаза... Почему закрытые?... Как обухом!»

Издалека доносилась спорадическая стрельба. Ольга остановилась, прислушиваясь. «Человек вышел утром из дому и не вернулся. Почему», спрашивала она себя с чувством облегчения, что ей не надо думать о другом. «Потому, что стреляют».

Безразличие охватило её. До этого ей хотелось плакать, уткнув голову в руки на одинокой скамье сквера, но теперь ей было все равно. «Потому, что стреляют? Да».

Смеркалось. «Просто не может быть. Померещилось. Иннокентия даже не было дома... А закрытые глаза? О-о-о!» стонало в ней мучительным криком, но пустынная улица не слышала её, не видела её глаз, измученного лица... «Странно», тревожила она себя, «первая встреча, такая неожиданная и решающая для неё... и угар любви, восторг первых дней, горячая волна признательности за участие, которое... зачем вспоминать! От этого больнее и улицы кажутся пустынее... Но всё в порядке, нет никакой тревоги в городе, нет и стрельбы. Кто остался жив, разошелся по домам, если есть дом... И никакой тревоги на душе, всё безоблачно. Память уже не выбрасывает страшных по холоду и бесчувствию слов: «смотри не выкинь мне фортеля, как это бывает с полутронутыми!..» Господь Бог знает, что я не тронутая, что я не живу призраками, что не вижу то, чего нет... Как пусто опять... Нет, этого не могло быть. Ничего не было. Одно воображение... даже если перед ним закрытые глаза Иннокентия... На том углу я уже была. Тогда ещё стоял патруль. Почему я брожу, ищу что-то? Бóльшей пустоты на улицах? Но ведь всё закончилось, нет стрельбы. Кто-то вышел утром на улицу, не зная, что будет стрельба, и не вернулся домой. Теперь, слава Богу, всё закончилось и кто мог разошелся по домам. Вероятно и Иннокентий дома. Но это уже не мой дом...»

Нюта выбежала навстречу, крепко прижалась к ней, заглядывая с детской ласковостью и любовью в её глаза,

торопливо рассказывая, что было в школе и жалуясь, что как долго она ждала её. Иннокентия дома не было. В гостиной Варвара развалилась в кресле, болтая ногой с повисшей на носке туфлей, с загнутой в корешке книгой в руке. Рядом на столе стояла коробка шоколада.

— Где ты пропадала, Лёка? Служба давно закончилась, а тебя всё нет. И боя нет, тоже где-то пропадает. Порядки, а! Не завела ли ты, сестренка, шашни на стороне? — и Варвара затряслась жирным смехом.

Ольга молча прошла в свою комнату. Долго сидела на кровати, перебирая случайно оказавшиеся под рукой вещи. Вдруг вздрогнула, кровь схлынула с её лица. Встала, шатаясь, дико оглядываясь вокруг, бросилась в ванную комнату. Похолодевшие пальцы судорожно развязывали узел бельевой веревки, боясь, что кто-то отнимет её, как отняли дом, семью, мужа и только ещё хранилось последнее тепло крепко прижавшейся Нюты, светлых глаз детской ласковости, стынувшее от вида поджатой ноги Варвары на кресле и другой с узкой голой ступней, с носка которой свисала туфля с розовым помпоном, пустых бумажных чашечек шоколада на полу...

— Где мать, неужели опять ушла? Ни её, ни боя, некому сделать чай. Почему вода клокочет в ванной? Пойди, Нюрка, останови.

Нюта взялась за ручку двери, толкая её спиной. Что-то мешало открыть её. Повернулась — и с диким криком увидела мать.

Г А С Т Р О Л Е Р Ы

В конце 1939-го года в Шанхай прибыло из Маньчжурии и Северного Китая несколько групп служащих Бюро по делам Российских Эмигрантов и Антикоммунистического Комитета во главе с офицерами японской жандармской службы Кэмпетэй. Отдельно от них, под видом высланных из Харбина японскими властями, прибыло несколько эмигрантских деятелей. У всех у них было одно и то же задание: подчинить — как это уже произошло в других местах — сорокатысячную русскую колонию Шанхая контролю военных властей Японии.

Отдельно от этих разношерстных групп в Шанхай прибыл Садао Такахаси, капитан жандармерии при Квантунгской армии. Потомок самураев, с красивым лицом, вдумчивыми желто-карими глазами, персиковым румянцем щек, с изящными движениями рук и тонких пальцев, он невольно представлялся склоненным над китайскими классиками или бережным выписыванием иероглифов с тем чувством благоговения, с каким в Азии, тщательно растерев туш на каменной плитке, выписывают кистью на рисовой бумаге изображения Милосердия, Любви, Красоты; или вырисовыванием легким движением кисти на белом веере коричневой ветви сакуры с распустившимися вишневыми лепестками. Он был бы достойным украшением японской комнаты с её изысканной простотой, низким черно-розовым столом, цветами икебаны в лапис-лазуревой вазе, сидевшим в черном кимоно на золотой подушке на соломенных настилах пола, вслушиваясь в игру шамисен и кодо. Он также был бы на месте, небрежно набрасывая кистью стихи классической формы «танка» о багрянном листе клена, мед-

ленно скользящем в осенней прозрачности над озером Судженджи, отражающим белизну снежных вершин.

Стихов он не писал. Классиков читал только русских и тома ранних изданий, всегда путешествовавшие с ним, Толстого и Достоевского были покрыты на полях замечаниями по-русски и японски.

Он знал в совершенстве русский язык, любил редкие слова и выражения, обычаи, особенности жизни, никогда не жив в России. Всё это он достиг сладким, любимым трудом. Единственно, что выдавало его — замена «л» буквой «р», особенность японской речи, и протяжное «этто», сказанное с придыхающим и всасывающим звуком.

Ещё в поезде из Мукдена он пересмотрел свои доклады, представленные в штаб армии для утверждения, думая о большой самостоятельной работе. Но по прибытию в Шанхай, он, к крайнему неудовольствию, узнал, что там уже были другие офицеры Кэмпетэй, посланные для той же цели. Это задело его самолюбие. «Зачем так много, когда я могу справиться один. Просить штаб об откомандировании на старое место? Или сделать всё, чтобы расчистить поле для самого себя?»

Вначале весть Пащенко о приезде гастролеров встревожила многих, но скоро о ней было забыто. Правда, что-то беспокойное осталось, иначе Пащенко не смеялся и не плакал бы в одно и то же время.

Жизнь текла своим чередом. Всколыхнула её на время история с Благобразовыми, погоревали о молодой жизни, посудачили, а при встрече с Варварой и Иннокентием кое-кто вспомнил декламацию блаженного Ипполита. И также забыли.

Готовились к праздникам, встречали радостно 1940-ой год, кричали дружно «С Новым Годом, с Новым Счастьем», свистали друг другу в уши свистульками, обсыпали конфетти, опутывали серпантином, крепко выпивали, завидно закусывали, радуясь всему в ласковом хмелю.

Отходили праздники, готовились к новым, ожидали масленицы, блинов с икрой и семгой, Великого поста, долгих церковных служб, Пасхи, розговень. И улыбались всему тепло и доверчиво.

Улыбалась матушка Капитолина Ефимовна, просвирня при соборе. «...Замешиваю тесто для просфор, а всё нет да нет слышу «Козочка, да Козочка!» С чего, думаю, мерещится мне это! Ложу просфоры на протвень, опять слышу явственно «Козочка!», аж встрепелась вся. Поворачиваюсь, а на пороге покойный отец Никодим в исподнем. «Мне бы, Козочка, разговеться сейчас крашеным яичком и ветчинкой». «Что ты, отец Никодим, какие, говорю, теперь розговени, ещё масленка не подошла». А он стоит и руки простер, вот-вот примет тарелочку из моих рук и разговееется, смотреть жалко, хоть плачь. За земным значит скучает душенька усопшего, к нашим радостям тяготеет...»

Улыбался Исая Давыдович, кротко и грустно.

— Вот теперь бы и жить. Кажется всё есть. Добрались до хорошего места, что же ещё нужно! А вод, поди, и...

— Вы случаем не о гастролерах ли?

— Ну, приехали, как будто ещё ничего! Оглядываются, с чего начать. Сколько раз проходили через это! Регистрация, таксация, конфискация, а в конце — ликвидация... Да и свои не лучше.

— Панталонич?

— Ну, вызывал, не только меня, а и Моисеева, Гутмана, Аккермана. Всё на тот же чай с сахаром. Как, мол, себя чувствуете? Не беспокоит ли «новый порядок?» Отчего же ему беспокоить меня? Он сам по себе, пусть живет, царство ему небесное! Помяните моё слово: придет новая партия икры, а Исая Давыдовича уже не будет на местном рынке.

— Выехать из дому? Почему? Мне здесь нравится, не дует, крыша не течет, удобно. Вот ещё отдать Нюрку в

пансион, совсем будет хорошо.

— Но что скажут другие!

— И говорят! Выдра спрашивает, состою ли я в морганатическом браке или просто пребываю в блуде?

— Вот я доберусь до него, мерзавца!

— Какой же это блуд, если я запросто, по родственному му заступила место младшей сестрёнки!

— Варвара! Это... вы... м-м... ты...

— Ну, залепетал, старик! Уедем, если хочешь, а когда забудут, вернемся. Пусть седенький попик окропит святой водицей и благословит наш прочный брак. А то, что он будет прочным, сомнений не будет. За этим то я посмотрю сама. Не так, как Лялька, которая чуть ли не сама привела пугливенького муженька к коварной...

— Варвара, как можно!

— Не смущайся, отче Инноченце! Могла бы больше порассказать о нашем бабьем деле, да не хочу смущать тебя фактами жизни. Как-нибудь мы сядем рядом, возжем лампаду перед иконой твоего блаженного покровителя и ты мне, как на исповеди, выложишь всё, что у тебя затаено, и станет легко твоей душе, а что ей тревожно и чего-то не хватает, так это я вижу.

Газеты из Шанхая доходили до Игната Степановича недели спустя выхода, сразу по несколько номеров в пачке. Иногда он просматривал их сразу, иногда откладывал и совсем забывал в работах и заботах по хозяйству.

После продажи советскими властями Китайско-восточной железной дороги Японии, Игнат Степанович переселился в северную Корею, где природа напоминала ему то, что он так любил на «линии», купил большой участок земли и в короткое время создал образцовое хозяйство, назвав усадьбу Раздольем в память Евдокии Дмитриевны. «Всё для детей и внуков», говорил он. «Дай Бог, чтобы их побольше!»

Он ужаснулся, наткнувшись случайно на заметку в

хронике Шанхайской Зари о самоубийстве Ольги. На следующее утро он выехал поездом в Фузан, чтобы пересечь на японский пароход, плывущий в Шанхай. По прибытию, он немедленно разыскал Иннокентия. Был полдень. Встретила его Варвара, сразу догадавшись в чем дело, но на все его расспросы ответила, что ничего не знает и что Иннокентия не будет дома до вечера.

Весть о приезде отца расстроила Иннокентия. «Начнутся расспросы, что и почему, припомнится ещё старое, не обойдется и без поучений. И так много неприятностей». Смущена приездом старшего Благобразова была и Варвара. Сказать: «Вот, дуреха, было с чего!», можно было Выдре и другим зубоскалам, но не старому почтенному человеку. Перед его приходом она надела черное платье и придала лицу постное выражение. Нюте было сказано не выходить из своей комнаты.

Разговор не клеился. Старший Благобразов всё откладывал спросить сына о главном и крепился удерживать слезы. Иннокентий хмурился, отмалчивался или отвечал односложно.

В дверях стояла Варвара. Её желтое лицо, холодные глаза раздражали Игната Степановича. «Кто эта женщина на правах хозяйки здесь? Родственница? Троюродная сестра дядиному мерину?»

Присутствие Варвары смущало и Иннокентия. Он хотел сказать отцу, что странности наблюдались за Ольгой раньше и что он всегда боялся, что она сотворит что-то непоправимое под давлением душевного недуга, но он боялся, что Варвара не сдержится и фыркнет или рассмеется.

Каждый раз, как старший Благобразов порывался спросить о Нюте, Иннокентий вставал с места, делая вид, что ему что-то нужно, или задавал вопрос о том, что мало интересовало его самого.

Отец смотрел на Иннокентия, отгороженного от него каменной стеной, тяготясь встречей с сыном, зная, что

она тяготела и Иннокентия. Он вынул из жилетного кармана часы, взглянул на них; что же сидеть ещё дольше! Наконец он собрался с духом, поднял руку, как бы прося внимания, и Иннокентий нахмурился, выпятив вперед челюсть. Отец встал, присел в ногах, расправился, словно без этих движений не мог начать.

— Поправить ничего нельзя. Что случилось, случилось и не мне говорить об этом. Где Нюта, почему ее нет?

Иннокентий произнес несколько неразборчивых слов, что она или спит или не хочет выйти.

— Иннокентий, я хочу её видеть. Я чувствую, что в этих условиях я должен что-то сделать.

— В каких условиях, отец?

— Ты знаешь, мне говорить тебе нечего.

В дверях опять показалась Варвара, что-то дожевывая, и оперлась о косяк.

— Я чувствую, что у меня ответственность...

— А у меня, отец, её нет?

— Я не говорю, что нет... Я не знаю, что я дал бы... иметь при себе этого ребенка! Это бы мне так напомнило... — Он отвернулся в сторону, чтобы скрыть набежавшие слезы. — Ты занят, начать бы с того... Ребенок может оказаться помехой. Наконец, она тебе не дочь...

— Такая же, как и дочь, никакой разницы!

— Она моя племянница. Сестра знала, как я люблю Нюрку. Может бы даже...

Иннокентий метнул на Варвару строгий взгляд. Слезы опять подступили к глазам Игната Степановича.

— Ты знаешь, Кеша, какой Катя сердечный человек! Всю душу отдаст ей. Как отдала и тебе. Она вынянчила тебя...

— Вероятно, не таким, как ты хотел, — криво улыбнулся Иннокентий. — Хочешь чтонибудь выпить? Есть виски с содой. Водки, к сожалению, не держу, не создал привычки.

— А, что, — махнул рукой Игнат Степанович. — Слу-

шай, Иннокентий. — сказал он твердым тоном, заставившим того поднять голову и взглянуть в решительное лицо отца. — Ты покажи мне Ньюту, спит она или нет.

Иннокентий тяжело повернул шею, нахмурился.

— Варвара Ивановна, пожалуйста, приведите Ньюту.

Варвара нехотя оторвалась от двери. Отец насторожился. Минута, две. На пороге показалась Варвара с Ньютой.

— Ты понимаешь, отец, она ещё в таком состоянии... Ведь она первая, которая...

— Иди, иди, — толкала девочку Варвара, — никто тебя не укусит.

У Игната Степановича защемило в груди. Странное лицо, нерешительная походка, испуганные глаза. Совсем не та живая девочка, о которой так восторженно писал Роман. Он встал, подошел к ней, взял её за руку, заглядывая ей в глаза, ища в них отблеск своей любви.

— Я твой дедушка, который тебя очень любит. Знаешь, Ньюта, у меня есть большое место, река, где можно купаться, а зимой бегать на коньках, лес, где водятся птицы, разные звери от малых до больших, все добрые, хорошие. Есть и пони для тебя, летом верхом, а зимой на санках...

— Отец, лучше не надо... Ещё хуже. Варвара Ивановна, уведите Ньюту к себе. Ты знаешь, — Иннокентий дождался, пока они не ушли, — после того случая она мучительно заикается, — и с сдавленным криком он выскочил из комнаты.

— Позвольте мне попотчевать вас этой настоечкой. На сухих померанцевых косточках. Чуть-чуть горечи, как в первом налете ревности. Как раз для первой!

— У нас на «линии» по первой не закусывали. Если осенью, то под холодок, а то под...

— Где это?

— В Маньчжурии, на дороге.

После встречи с сыном Игнат Степанович крепко загрустил, и только здесь, у приветливого хозяина, начал приходить в себя. Он с удовольствием оглядел стол, блюда с закусками, батарею бутылок, около которых озабоченно возился старый актер. «Совсем, как на линии...»

— Ну-с, здравствуйте, дорогой! Без закуски, а, по вашему! Никогда так сладко не пьется, как с хорошим человеком! А их всё меньше и меньше, хоть бросай пить! Не злоупотребляю, но и не отвращаюсь — надо чем то жить! Обратили внимание: корпулентность у меня, как у обер-кондуктора, а вот голос подкачал. Убил, зарезал, живьем в землю закопал! Что я теперь — червь безгласный! Статист и тот может слово выдать.

— От какой же это причины, — участливо спросил Благообразов.

— Разное говорят. Одни, что, мол, от папы, другие, что от водки. Слышали когда-либо, что от неё такой вред? У артиста, что у соборного протодиакона, голос всё. Потерял, иди в лабазники, торгуй рыбой. Вот и утопаю, дорогой, в гнусной хрипоте и сиплости... А прежде — роли, да какие! Царь Феодор Иоаннович, Цар Эдип, Городничий... А из Островского, и не учтешь! Из обеих столиц приезжали послушать. Федя Шалапин, волжские мы оба, плакал, вот бы мне такой голосище! Что ни спектакль, то с аншлагом: Немезидов-Волжский в заглавной роли — распродано. Вспомнить! «Дорогу, Любим Торцов идет!» Голос, тон! Театр трепещет. Купчих полумертвых на руках выносят. На галерке лавочники сатанеют от гордости, что и ози купцы. Сам полицмейстер, на что уж сверхестественный мужчина, и тот кусает ус и сгоняет слезу. Всё грозил театр закрыть. Ты, говорит, Феодор, так расстраиваешь народ, что Бог знает до чего ты их доведешь.

Игнат Степанович следил, как Немезидин, принявшись к пробке графина, наполнял рюмки, благодушно думая, что актер, как и рыбак, если не соврет, то ему не-

чего рассказывать.

— У нас на «линии» обычно после четвертой пили кустиком. Соединяли рюмки посредине стола и выпивали все вместе.

— И это достойно подражания! И так, дорогой, кустиком! Ведь как было в старое время! Масляная, пьяное покаяние и прощание с театром на сорок дней. Хоть умирай с голоду, если нет приватного заработка.

— Как же жили?

— Кто домой ехал, кто перебивался с хлеба на квас. Я не пропадал, вел классы театрального искусства.

— С молодником?

— Какое! Кобелей натаскивал на пожарное дело. Целыми днями просиживал в амбаре с арапником в руках. Закурю папиросу, растоплю жарко, брошу на пол, а воспитанник задерет ногу, цырк на окурочок. Закурю другую, другой артист выходит на сцену. Так нашколивал труппу, глаз не сводили с меня, мошенники, дрожат от нетерпения, каждый старается блеснуть талантом. Когда курс пройден, вывожу их на бульвар. Сяду на скамью, один кобель у ног, два позади в резерве. Закурю, выкурю до половины, брошу на тротуар. Артист ногу вверх и с первого раза, не целясь, на окурочок, чтобы не тлел. Господа обер-офицеры и молодые купчики просто на могли наглядеться. Брали на перебой по 50 рублей за кобеля. На утро новые классы. Терпение нужно было. К тому же кобель кобелю рознь. Главное, чтобы дородный, видный, чтобы у подлеца дух был заправского брандмейстера — чуть что, сейчас гасить! Нет здесь таких, не вида, не смекалки. И поручиков нет. Нет и купчиков. Одна шмоль, голь, ноль и компания, из них же первый есмь аз.

В углу корнет фон Выпивон заметался в клетке и хрипло выкрикнул «отставить».

— Тебе то что волноваться, — сказал хозяин, берясь за графин.

— Голос потерял, а взамен сидячую болезнь приобрел,

это актеру такая напасть! Кто он — чинодрал или сиделец в лавке!

— По-народному это называется почетуй. Есть и народные средства, такие, что как рукой снимают самый застарелый геморрой.

— Где их найдешь?

— Старые лекари знают, фельдшера. Многие из них самых ученых докторов за пояс заткнут. Есть такие доки насчет болезней, которые врачи загнать загонят во внутрь, а извлечь и не могут.

— На это врачи первостатейные мастера! А что у вас насчет женшенья говорят? Помогает от многого, а?

— Испытанное средство. В Китае тысячи лет.

— Знающие люди сказывают, что насчет мужеского естества чудеса делают. Не испытывали?

— Остерегаюсь.

— Отчего же, если на самом деле...

— По этой самой причине. Как преставилась супруга, с тех пор воздерживаюсь.

— И давненько?

— С 1912-го года. Любил покойницу беззаветно. Поженились мы оба девственниками, так однолюбами и на гом свете встретимся.

Старый актер задумался: что-то особенно цельное. Может ли так быть на самом деле?

— У меня в театре суфлер был. Любил меня старик, талант во мне уважал. У тебя, говорит, Феодор, он в колыбель вкладенный. Сидим на пристани, выпиваем. Старик обливается слезами. Феодор, говорит, что бы ты ни делал, не бросай женский пол. Перестанешь совокупляться, загра же умрешь!

— Не обзавелись детками?

— Где там! Может быть и были кое-где, а как узнаешь или соберешь их в актерском кочевье.

Оба задумались. Серый зимний день подходил к концу. За верандой желтела влажная трава газона. На куче

осенних листьев сидела ворона, копаясь в ней.

— Жалею, понятно...

— Не знаю, что сказать. С одной стороны так, а с другой... Выращиваешь деток, окружаешь заботой, любовью. Мать не доспит, больного выхаживает, здорового пестует. Какое же это материнское сердце огромное, с земной шар! Трое у меня сынков. Когда подрастали, завещал им никого не обижать ни словом, ни делом и быть благородным в отношении женщин, это превыше всего! За старшего уверен, крепко держится отцовского наказа, а вот другие... Слышали, что случилось с младшим, с его женой?

Феодор Максимович готов был поднести рюмку ко рту, но поставил её опять на стол, сочувственно глядя на Благообразова, его глаза, налившиеся слезами.

— Этакое несчастье! Кабы знал, давно приехал бы. А то зарылся, как крот, в землю, всё, мол, для сынков, а там, где на самом деле нужна помощь, там...

— Как же могли знать, дорогой?

— А отцовское сердце то на что! Слышали, поди, и о среднем? Тот то вовсе прославился...

Игнат Степанович отвернулся в сторону, качая закинутой через колено ногой. Ворона соскочила с кучи и запрыгала по мокрой траве.

— Этим зельем горе не зальешь, а всё же помогает. Приподнимите ка рюмочку, дорогой! Не надо себя расправлять. Всё это, к сожалению, известно. Такие времена, не знаем, что ещё ждать!

— Ольгу не забыть. Молодая, всё впереди, — и такое страшное дело! Иннокентий всё норовил сказать, что, мол, у нее такое расположение, что чуть ли не вытаскивали ее раньше из... А вот не верю я этому! Ещё какая то женщина там. Сродная сестра? Знаете её?

— Нет, дорогой, ничего не могу сказать. Видать видел, а что, как, извините, не знаю!

— Дите жалко. Ведь этакое увидеть, останется на всю

жизнь. Просил, умолял, отдайте мне её. А что страшно у ребенка! По письмам Романа, встречали, поди!, живой, веселый ребенок. А взглянул, ужаснулся! Запуганное, не-детское. Молчит. Я спрашиваю, хочу разговориться, молчит. Потом уж сынок признался, что она мучительно за-икается. А до этого? Так и не ответил.

— Х-м, — задумался старый актер. Через минуту он встрепенулся. — Итак, дорогой мой, завтрак, как и всё остальное приятное в жизни, пришел к концу. Чтобы нам теперь выпить?

— У нас на «линии» обычно пили осажё. Кто послабже, пил малагу, а кто покрепче — коньяк. Только у нас называли «соснак», звучит мягче.

По вечерам, возвращаясь домой, Иннокентий часто встречал в своем квартале господина, прогуливавшего двух страшных на вид псов-боксеров. После нескольких встреч они разговорились, сперва о псах, о погоде, затем перешли к военно-политическому положению в Европе и в Азии. Теперь их встречи затягивались и псы поглядывали с нетерпением на хозяина, когда же они расстанутся и снова можно гулять. С каждой новой встречей разговор углублялся. Они обсуждали позицию Советского Союза, нараставшую военную мощь Японии и возможную роль предприимчивого человека в грядущих событиях. О роли они говорили вскользь, как о предмете академического характера, не интересующего никого из них. Иннокентий вслушивался в английский язык своего собеседника, в мягкий акцент, стараясь разгадать его национальность. Ему казалось странным, что тот особенно горячо говорил об Японии, то обвиняя её в агрессивных стремлениях, то горячо доказывая, что они недостаточно последовательны — и Иннокентий чувствовал, что тот нащупывал почву, на которой он стоял.

— Если вас интересует этот вопрос, я мог бы познакомить вас с одним знающим человеком.

За две встречи до этого, расставшись вблизи дома Иннокентия, господин с собаками подождал, когда тот исчез за дверью, тихо поднялся на площадку и там при свете спички прочел имена на медных дощечках.

— Что же я с удовольствием.

— Отлично, господин Благообразов, — сказал тот чисто по-русски, но с тем же легким акцентом, что и по-английски — и Иннокентий громко рассмеялся. «Свой, интересно только на какой из двух сторон точно».

Из-за трагической истории с Ольгой встречи Иннокентия с господином с собаками прервались, но всё же он не забыл о нем и даже навел справки, узнав, что имя его было Казимир Ляшкевич и что он управлял небольшой французской текстильной компанией.

Затем телефонный звонок. «Звонил вам несколько раз, да всё неудачно. Помните, прогуливались вместе. Я ещё упомянул одного господина. Как насчет этого четверга вечером у меня?»

«Ляшкевич? Сказать, что занят? Для чего? Что меня не интересует?» Иннокентий прикрыл рукой трубку; из гостиной выжидательно смотрела на него Варвара. «Интересует, интересует», заговорило в нем страстно.

При его появлении у Ляшкевича два боксера зарычали сердито. В гостиной, кроме хозяина, который сам открыл ему дверь, никого не было. Через несколько минут раздался дверной звонок и хозяин вышел открыть дверь. Псы пошевелились в передней, но без всякого угрожающего лая. Иннокентий насторожился ещё больше, услышав голос хозяина, заговорившего на хорошем японском языке.

— Такахаси-сан, Иннокентий Игнатович Благообразов, — произнес четко по-русски хозяин.

Позже, стараясь перебрать в памяти подробности того вечера и сохранив только впечатление полного удовольствия, Иннокентий чувствовал, что он крепче свяжется с

новым знакомым. Такахаси-сан, перебирал он в уме. Отличный русский язык. Ясный ум. Казимир Ляшкевич, поляк, владеющий одинаково русским и японским языками. Нужны ли они управляющему текстильной компанией? Кроткое поведение псов при виде японца. Старые приятели. И почему для этой встречи Ляшкевич устроил так, что в доме не было даже прислуги боя?

Ещё несколько встреч, уже помимо Ляшкевича. Такахаси нашел в Иннокентии не только хорошего слушателя, но и человека, понимавшего его с полслова, и когда он заговорил о русской колонии Шанхая, что ей нужно и в чем её недостаток, последний уже знал, что ожидалось от него.

— А ты всё строчишь, старик, и нет тебе удержу, прямо Нестор или Пимен, ещё одно последнее сказанье. Ты бы лучше порассказал, о чем помышляешь, кого хочешь поразить, на какие награды и ордена надесешься. Или тебя не соблазняет слава и ты тонешь по теплые подмышки в своих тайных бумагах ради общей пользы?

— Не беспокойся, это всё для того, чтобы не мешать твоему чтению, и чтобы... тебе...

— Ну, залепетал, старик! Такой краснобай, а как кончится самого главного, сразу же теряет дар речи! Дружку то своему можно выложить вчистую, как батюшке на исповеди. Я то сберегу. Вдруг ты забудешь, запутаешься, захочешь вывернуться, а то свалить на другого, а записок то и нет, сам уничтожил! Тут и нужен свой человек подсказать, что и как... Между прочим, тебе опять звонили дважды. Подойду, отвечу, шнур как мертвый. Что бы это могло быть, отче?

Иннокентий встрепенулся, пытался поправиться, но ничего не вышло. Варвара давилась от хохота.

— Актер ты захудалый, отче Инноченце, тебя даже в немизидинскую труппу не примут. Это не важно. Ты у

меня на главных ролях первого любовника. Конечно, могла бы чаще вызывать на бис, но понимаю, что подвизаешься на благо человеческое, а понять — простить! Не знаю, как ты у других, а у меня, как стеклышко, насквозь вижу.

Доклад был озаглавлен нарочито канцелярским языком: «Некоторые Мысли об Упорядочении Положения», в котором излагалось создание и состав новой эмигрантской организации взамен существовавшего в течение ряда лет Эмигрантского Комитета.

Ничего нового в докладе не было; та же мысль о подчинении русской колонии контролю японской жандармерии и принудительное служение «новому порядку». Но Иннокентий придавал этой тупости официального мышления особую раскраску и освещение, никем на замеченные в то время и только полностью оцененные одним человеком двенадцать лет спустя в душный августовский вечер в токийской харчевне на берегу реки Сумида. Сделал он это исключительно серым подбором будущего правления и придачей ему функций, смехотворный характер которых также не был тогда отмечен.

Сделал ли он это потому, что считал русскую общественность не стоящей лучшего представительства, что в её среде не было достойных людей? Хотел ли он показать неразборчивость японских властей, их несостоятельность вне круга жандармейской исполнительности? Сделал ли это он по истине, обретенной им в первом знакомстве с общественными организациями, что чем внутренне грубее человек, тем сильнее тянется он к грубой власти. Но то, что он сделал это с определенной целью, не оставляло никакого сомнения. В самом же докладе все эти соображения были представлены, как исходившие целиком из указаний капитана Такахаси.

Параллельно созданию новой организации, «стоявшей на страже общественного блага», доклад рекомендовал

создание собственного информационного органа путем привлечения к «новому порядку» одной из существующих газет, как, например, Эмигрантское Эхо, материально мало обеспеченную, которая сочла бы за честь примкнуть к новому движению.

Владыко Амвросий вышел на амвон, скашивая глаза на пол, чтобы попасть ступнями на возложенные орлицы; укрепив жезл, он поправил горящий рубинами крест на золотом полыхании бороды и свел для благословения пальцы, отмеченные младенческой пухлостью.

— Дорогие братие и сестры! Благословение Господне да пребудет на вас! — Звонкий голос с приятной хрипотой, перемещение ног на орлицах, взгляд на свод купола, на изображения пророков на золотой мозаике. — Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы! Когда надо нам вспомнить сии слова, как не в наше страдное время! Что тревожит сердца наши больше, чем то, что слабо уповаем мы на защиту Всевышнего! Малые мы и последние из последних, а не о нас ли сказано в Священном Писании, что последние да будут первыми! Две ли малые птицы продаются за ассарий, и не одна из них не упадет на землю без воли Отца нашего; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.

Владыко Амвросий перевел дух, обвел глазами паству, наряженных дам с детьми, публику попроще, толпу мужчин у выхода, не успевших до начала проповеди выйти в ограду покурить, и задержал свой взгляд особо на группе людей, стоявших впереди.

В центре группы стоял Платон Серобородько, атаман сводно-казачей станицы, в синих штанах с желтыми лампасами, синей суконной блузе, с солдатским Егорием на груди. Носок одной ноги в мягком сапоге выдвинут вперед, корпус чуть откинут назад, большой палец левой руки заправлен за узкий ремешек с серебряным накладом, правая висит свободно для осенения себя разма-

шистым крестом. Рядом с ним Косоротов, медвежатистый на вид, с отвислыми щеками, с раскрытым воротом рубашки для простора ожиревшему мешку подбородка, с тяжелой головой, припавшей к плечу, и мутными глазами, последний заведующий городской школой небольшого городка Приморья.

По другую сторону Серобородько стоял генерал Пестряков, то в небрежной позе, откинув коленце в сторону, то подтянутый, с выпяченной грудью и руками по швам, с выражением умиленного благочестия на конопатом лице и сознанием своей важности.

Рядом с ним Гулейко, скуластое лицо, глаза с желтоватым блеском, квадратный череп, скудно покрытый пучками пегой седины, серая борода на круглом подбородке, брезгливо-выпяченные губы. Около него Вечкин, литератор, и Рыбоконь, человек неопределенного вида и занятия. Все они, за исключением Серобородько и Рыбоконь, прибыли из Харбина под видом высланных, и Иннокентий, после краткого знакомства с ними, нашел их как нельзя более достойными возглавить новую организацию. Последнего же он включил в состав правления за мнение о нем, как об ораторе, что «когда он выступает на собрании, не поймешь, где у него рыба, где конь».

— Слухи ходят, — продолжал Владыко Амвросий, — а их много, то ли мало у нас других забот, то ли много времени. Одни о войнах, гладе и море. Другие, наоборот, «придите к нам, уверуйте в нас и будете счастливы с нами!» На слухах о войне ответим словами Евангелиста Матфея: «Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть». На другое же ответим: «Не прельщайтесь соблазнами счастливой жизни, а уповайте на благодать Божию».

Стоявшие в первом ряду осеняли себя крестами, кто истовым, с поклоном, кто мелким, оглядывали других, видят ли те, как смиренны они перед Господом, как уповают на Его благодать! Не многого просят они у Него,

о самом малом, чтобы вывел их на общественное служение, почетные места, ибо сказано, что невозможно человеком, возможно Господу Богу.

Не многого просит и атаман Серобородько, только чтобы по мере своих слабых сил помог бы он хорошим людям раздвинуть «Крышу о Восьми Углах» так, чтобы один из них прикрыл бы и его собственный край с тайгой, реками, горами, долинами, и чтобы к нему на Иман или в Графское приезжал бы Такахаси-сан, уже не капитан, а полковник Кэмпетэй Великого Ниппона, в поднесенной ему с почетом форме — синих штанах с желтыми лампасами, в фураже с желтым верхом, из под козырька которой выбивалась бы казачья чёлка.

А проповедь шла дальше о каких-то отдаленных людях, которые «рыбки не кушают, а рыбака заедают, иконы лобызают устами, извергающими хулу и недоброе...» Глаза владыки заполнялись слезами, щеки пылали в жару. Умилялся от слов владыки и первый ряд: есть и такие, которые заедают, но только не они.

А в стороне стоял другой человек. В черном, словно траурном костюме, с высоким лбом, с редкими волосами, зачесанными от одного уха до другого, с рукой на плече восьмилетней дочери, рядом с женой, чуждый всем, службе, проповеди, шеренге гастролеров, стоял по долгу положения Оскар Эдуардович Мельцер, председатель Эмигрантского Комитета.

Стоянов вел Эмигрантское Эхо с увлечением и любовью. «Главное в газете её «читабельность», говорил он, оглядывая редакторский кабинет — часть отгороженной комнаты. Следовало бы повесить дощечку с надписью «Без доклада не входить», да некуда. Хорошо бы застлать кабинет пушистым ковром и так изолировать его, чтобы не слышать трескотни осатаневшего ремингтона и секретарского кашля, и не раздражать нос запахом яичницы

с луком, которую за дверью Толя-за-всё жарил на примусе дважды в день.

Рабочее утро, просмотр почты. Новый текст для объявления гастрономического магазина: «Плавайте с рыбой Рывкина в море наслаждения». Заметка для хроники: «Берта Абрамовна и Аарон Моисеевич Гинсбурги извещают о появлении на свет крепкого и энергичного наследника». Тяжелый конверт с сургучной печатью и вензелем:

М. Г., г-нъ Редакторъ! Въ помѣщенномъ Вами извещеніи о смерти Моего Отца, Барона Іюлія Августовича фонъ Клоппъ, Вы изволили напечатать слово Баронъ съ маленькой буквы. Такое оскорбительное отношеніе къ высокому титулу и самовольное искаженіе текста заставляетъ меня заявить Вамъ о прекращеніи моей подписки на Эмигрантское Эхо.

Примите, и прочее,
Баронъ Август Іюліевичъ фонъ Клоппъ

— Мария Григорьевна, сколько осталось недоставленных газет?

— Кому, коллега?

— Вот этой титулованной особе. Вычесьте, что осталось и вернуть оскорбленному барону. Можете для сбережения времени сократить фамилию на одно «п».

— С чего же послать, коллега, если в кассе пусто, как в степях Даурии?

— Это не мое дело, уважаемая! Вам сказано, и кем? Редактором. Так и сделайте.

Он посверкал гневно стеклами пенснэ, прикрыл дверь и снова погрузился в работу. Рукопись в несколько страниц, на главном листе выписано четким почерком:

Как Я Покушал Сырной Пасхи На Розговенях
У Бабушки Генеральши

Или Происшествіе в Святую Ночь
(Из Воспоминаний Золотого Детства)

Специально для Пасхального выпуска

— Мария Григорьевна, каково это заглавие?

Сотрудница Тетя Маша достукивала рецепт приготовления куличей из миндального теста. Утопая в облаках зловонного дыма, она откинулась на спинку стула, взглянула на рукопись.

— Обожрался пасхой, вот и происшествие. Подумаешь новосты! Дайте прочесть Толе-за-всё, пусть проверит, что там. Со временем сам станет редактором.

Слова сотрудницы покоробили чувствительного редактора. Он спешно прикрыл дверь и перевернул заглавный лист.

«Мои сердобольные родители не посекли меня вовремя, застукав меня за тайным писанием стишков, так что писательский зуд разъедает меня до сих пор. После ранних упражнений появилась драма, нашумевшая провалом, о догоревших огнях и увядших цветах... И так золотое детство, бабушка генеральша, которой у меня никогда не было...»

Редактор замер. — О чем это! Не о моей ли драме «Догорели Огни»?

— Пакостники из Эмигрантских Сплетень, коллега?

— Хуже, — простонал редактор. — От гастролоров. Узнаю руку Вечкина-Течкина...

Оснований для тревоги было достаточно. Последнее время всё чаще стали появляться анонимные письма того же содержания, что несмотря на заверения, что газета отражает эмигрантскую жизнь, она совсем не уделяет внимания новому направлению и что если господин редактор и в дальнейшем... И ещё одно, несколько личного характера: «Пронесся слухок, что освобождается место редактора небезызвестной вам газеты. Кажись так. А ведь у нас есть грамотный человек, полковой писарь, а буде кто собирается на покой, то неплохо бы записаться в станичники...»

ЗАКАНАЛЬЕ

О деятельности гастролеров вначале говорили, что это «там, в Заканалье, в Хонкью, японской части Шанхая, до нас не дойдет».

Затем стал появляться здоровый праздный парень с лицом, известным в простонародье, как «ряшка», в полувойенной форме, в фуражке с желтым верхом и офицерской кокардой. Он обходил русские предприятия сеттлмента и французского города, заглядывал в частные дома и говорил: «Вы, конечно, не откажете есаулу Скокле-нсу в сборе на борьбу с Третьим Интернационалом. Если какие затруднения, а то неохота, придется доложить, не знаю, как посмотрят японские власти».

Продолжал приглашать на чаепитие Мохильковский, ведя беседы о сионизме, его росте, еврейском засилии, и вздыхали грустно мелкие лавочники, пока хихикал самодовольно хозяин.

Чаще стали посещения редакции Эмигрантского Эхо, толще статьи о «новом порядке», «Хакко-Ичиу» «Крыше о Восьми Углах», которую Япония воздвигала над Азией и под которой особенно хорошо должно было бы жить российским эмигрантам. То, что могло идти в хронику, редактор принимал, а от статей отбивался: «читательный материал, а нет места».

— Вступили бы в станицу, было бы и место и всё, — по-ясиял атаман Серобородько, пока Петя секретарь, он же Петя-унгерновец и Петя-кувшинчик, измерял шагами редакторский кабинет.

— А это что за гусь висит?

— Это портрет Гаршина, Всеволода Михайловича, писателя.

— А я думал, что из Эмигрантского Комитета. Что-то больно скучный.

— Так это верно, станешь скучным.

— А мы оживим ваш кабинетик, — подплывал боком, хихикая, Мохильковский, — повесим вместо него портрет настоящего военного писателя, чиница Гаврюшина. Он внесет бодрости! Что вы на это скажете, уважаемая?

— Почему бы не повесить на гвоздь ваш портрет, уважаемый, вы, ведь, тоже писатель. Жаль, что только по скромности или другой причине вы не подписываете свои письма.

— А что бы ты, Гурий, сделал, если в городе на самом деле волнение — спросил Немезидин-Волжский Мохильковского, подошедшего к группе людей у кафе «Зефир».

— Не паника, а шевеление в умах и ногах.

— Если тревога в городе и народ шатается зря по улицам? Очень просто. Два человека, один там, — Мохильковский показал пальцем на противоположный угол и все внимательно посмотрели туда. — Михеева туда, а сам здесь. У каждого полицейская палка.

— Верно, Гурий! Пусть только попробует перейти улицу! Подойти и так, не обижая — человек существо деликатное!, сказать ему без всякой ненависти: «Ты куда, курва раздолбанная! Катись шариком откуда пришел, а то я сейчас окрещу тебя этим дрючком по кумполу!» И человек поймет, застыдится, как посмел подумать перейти улицу без твоего разрешения. И впредь будет знать, что без тебя никуда. Когда надо пойти куда, не забудет спросить твоего разрешения. Даже ночью, если загонит нужда, позвонит он тебе, можно ли броситься в отхожее место или терпеть до утра.

Когда не осталось никакого сомнения, что гастролеры захватят его газету, Стоянов забил тревогу и бросился в Русский Эмигрантский Комитет.

Председатель Комитета Мельцер выслушал его с таким сочувствием, что Стоянов сразу ободрился. Мельцер достал увесистую папку и открыл её перед Стояновым.

— Вот здесь кое-какой материал, знакомый и вам. Пачка анонимных писем, копии докладов, верней доносов, и лживых при том, японским и китайским властям — ведь эти господчики ломаются во все двери — которые мне удалось достать вопреки желанию этой теплой компании. Меня обвиняют во всех грехах: это не сделал, то сделал не так, что я не имею права представлять русскую колонию, это после стольких то лет моей работы! Противно говорить... Хотите помощи, защиты от этих господ? У меня, затравленного человека?

Стоянов повидал и архиепископа Амвросия и выслашал смиренно о страданиях Иова и вознаграждении за оные. Что он мог ждать за свои страдания? Изречено верно: «И сказал Господь сатане: вот он в руке твоей, только душу его сбереги». А если они отнимают душу его, любимое детище, его печатный орган!

Посочувствовал ему и Немезидин-Волжский и дал хороший совет: так как это, бесспорно, дело рук Мохильковского, то почему не обратиться к другому детективу английской полиции? «Человек порядочный, на страже законов. Панталонича не долюбливает, будет рад осадить того».

Иннокентий Благобразов выслушал Стоянова с тем обычным для него выражением внимания и участия, так располагавших к нему, но ответил, что ничего не знает об этом, а его правило ничего не делать, пока он сам не разберется во всем. «Если вопрос касается захвата газеты, то действие это самовольное, за которое можно наказать тех, кто позади этого». «Так можно не беспокоиться?», воскликнул оживший Стоянов. «Я бы не беспокоился. В правовом месте, каким является Шанхай, подобное действие совершенно не допустимо».

Пока Стоянов, обнадеженный словами Благобразова,

спешил к себе в редакцию, там происходил следующий разговор:

— Значит Петю секретаря на место редактора. Человек толковый.

— А разве не Вечкина? Как никак литератор,

— Вначале думали его, но в штабе отменили.

— Вот, что не доходит до сознания — заглавие! Какое там «Эхо»! Безыдейно.

— В штабе еще не решили. Заменят, конечно.

— С редактором порешили, старым и новым. А что делать с секретаршей?

— А мочалкой по одному месту!

— Зачем же, — встрепенулся Мехильковский. — Да-ма приятная во всех отношениях. Будет служить, как родным, поручите это мне.

Для общего успокоения председатель Эмигрантского Комитета созвал всеобщее собрание, на котором призвал эмигрантскую массу воздержаться от авантюристических шагов. Масса гудела, выражая ему поддержку; нашлись и местные Минины и Пожарские с пламенными речами, смысл которых, после отсеивания «так сказать», «знаете понимаете», «опять же», сводился к тому, что «все вместе, а если надо, то хоть на колючую проволоку!»

Воинственный дух ораторов не успокоил Мельцера; опытный в общественных делах, он знал цену подобным излияниям. Он повидал мэра Великого Шанхая, китайского города, где его заверили в поддержке и что Комитет будет существовать по-прежнему, как правомочная организация.

Побывал он и в японском генеральном консульстве, где ему заявили, что ничего не знают о русских делах, но через несколько дней выпустили заявление, что вопрос существование Комитета дело самих русских и что решение эмигрантских проблем должно идти от самой русской колонии. Затем шло обычное заверение япон-

ских властей, что они окажут всевозможную поддержку и помощь, где нужно. Конец же заявления был достаточно красноречив, чтобы оставить какое-то сомнение: «Существуют некоторые вопросы, которые надо разрешить и пока ещё неизвестно, когда будет достигнуто их решение».

Все это ещё больше встревожило Мельцера. «Когда же будет решено и кем?»

Первое собрание было созвано для ознакомления друг с другом, обсуждения перемен в жизни колонии и приведения её под стяг «нового порядка».

Почетный гость, капитан Такахаси, сидел в стороне с неизменной сигаретой в откинутой руке. За несколько дней до этого он ещё раз просмотрел доклад Иннокентия Благобразова вместе с его автором. Говорить ему на собрании не было необходимости, поскольку всё разыгрывалось по нотам.

Обсуждения начались с общего и замены обычных слов более значительными. Не выслуживание, а служение, не перемены, а реформы. Не должны ли мы, в сознании огромной ответственности перед родиной, провести необходимые реформы ради общественного блага?

Вопрос о реформах сводился к простому: «Довольно, пора, чего ещё ждать, порешить и всё. Чего же проще: убрать Эмигрантский Комитет и создать свой с установкой на «новый порядок». А убрать, потому, что недостаточно национально-мыслящий и ведет не туда, куда нужно. И, вообще, слабоват».

От общего перешли к частному: к председателю Эмигрантского Комитета. Среди заседателей произошло движение.

— Какой-то Мельцер, якобы из прибалтийцев. А может быть Мейер или Мейерович! Хорошо бы спросить самого председателя.

— Есть два рода Мейеров. Один с приставкой фон, а

то и с титулом барона. Это наш род, близко связанный и мыслящий одинакого, которого надо чтить и уважать. Другой же род...

— Как старый русский литератор, отмечу, что господин Мельцер, а может быть и Мейер, тип отживший. О таком не напишешь достойного труда и отечественная литература не включит его в галерею выдающихся героев. Наша эпоха требует людей передовых, лучших из лучших. — Он перевел дух и обвел глазами вокруг себя.

— Как долголетний член правления по охране отечественных памятников старины, мне чудно слышать — Оскар Эдуардович! Председатель Эмигрантского Комитета! Так потерять уважение собственного достоинства!

— Не могу не припомнить случая, — начал Косоротов, — как последний начальник гродековского городского училища, которое должно было бы стать прогимназией, в самый разгар Гражданской войны я обратился к нашим властям, чтобы выдали военную форму воспитанникам вверенного мне учреждения. И что же!? А ведь можно было спасти положение на фронте... Боюсь, что и нынешний председатель также бы ответил отказом и довел бы до провала. Зачем ж он тогда!

— У нас станичников многие недовольны. Ежели ты станичник, одно, а ежели не хочешь, то катись откуда пришел. А ведь говорил председателю Эмигрантского Комитета: запишитесь в станицу, не нарадуетесь! А что в ответ! Вроде того, что не по чину мне и положению отбивать яйца на казачьем седле.

— Каково мнение нашего секретаря о Мельцере?

Секретарь Петя дописал страницу протокола собрания, перевернул лист, обмакнул перо в чернильницу.

— За кувшинчик!

— Присоединяюсь ко мнению предыдущего оратора

Совещательная часть собрания закончилось. Там, где сидел Такахаси, остался синеватый дымок сигареты. В руках Пети секретаря появился лист, который он прочел

глуховатым баском, что новая эмигрантская организация во главе с атаманом Серобородько при составе правления — здесь следовал ряд имен — принимает на себя функции Русского Эмигрантского Комитета, который с этого момента перестает существовать.

Заявление обрадовало гастролеров, назначенных в правление, за исключением генерала Пестрякова, метившего в председатели. Особенно порадовало оно Рыбко-ко-нь, которого Иннокентий Благобразов, действуя по своим соображениям, включил, как непрямого члена правления.

Никто не задумался над тем, как вытеснить годами существующую организацию и почему это нужно! Но возможная реакция со стороны самой колонии заставила призадуматься. А что если на самом деле пойдут на колючую проволоку? Поднимутся вопли, дойдет до скло-ки, если не мятежа — и против кого!?

Незадолго до собрания Иннокентий Благобразов за-вел разговор с одним из гастролеров о таких вредных вещах, как воспаменение народных масс — разговор чисто академического характера в условиях русского Шанхая, как и применение террора ради порядка и об-щественного блага. Так было в Парижской коммуне, так было в Советском Союзе. Конечно, повторял Благобразов настойчиво, такая мера совершенно излишня здесь и всё же... «Что — всё же?» «А несколько ветхозаветных аг-нцев». «Для чего же они?» «А для жертвоприношения».

Когда на собрании заговорили о возможном отпоре со стороны русской колонии, этот недавний разговор был воспроизведен так, как будто он исходил не от Благо-бразова, а самого рассказчика.

— Для чего же нам нужны эти, так сказать, агнцы?

— А для остратки, надо так понимать! Одного закла-ли, не помогло, заклали другого, третьего.

— А есть такие агнцы?

— Найдутся, кому они нужны!

* * *

— Тебе звонили несколько раз. Наверно, женщина.

— Почему — наверно?

Варвара перебирала в шкафу оставшиеся после Ольги вещи, примеряя, что ей подойдет.

— Кто же другой будет так упорно звонить! Звонок, пока добежишь, смолкает. Через четверть часа опять. Ждешь ответа, одно теплое дыхание, и трубка, как любимая женщина, ложится на свое место. Скажи, отче праведный, кто может быть, как не женщина!

— Пусть будет женщина! Жаль, что у меня работа на вечер.

— Понимаю, не приставай к тебе с любовью!

— Э-э-э...

— Ну, замычал, старик! Занимайся своими литературными трудами, мешать не буду. Если звонок, дам тебе ответить. Потом ты мне всё выложишь, как на духу. Чует мое бабье сердце, что здесь что-то не совсем обычное.

После вечернего чая зазвонил телефон. Иннокентий взглянул на Варвару, выпятил челюсть, опустил голову.

— Отвечай, старик, не мямли.

Иннокентий вышел в коридор. Кто бы мог быть? Казимир Ляшкевич? После того звонка вряд ли ему нужно что-либо. Не будут звонить и «оттуда», это он дал понять хорошо. Коста? Да, вот кто!

— Константин Яковлевич? — тихо спросил он.

— И вовсе не тот. Одни? Я слышал, дверь закрылась. Говорит ваш благожелатель.

Сладковатый голос, мягкое произношение, украинское «г». «Ховорит и блахожелатель». Советский, насторожился Иннокентий.

— Кто говорит?

— Меня вы не знаете, но мы ещё встретимся. При более благоприятных условиях. Доверительно. Вероятно завтра, а то днем позже в английской газете, в отделе о прибытии пароходных пассажиров появится имячко. Из братьев славян. Журналист. В здешних местах свой. Не

пожалее, если приглядитесь. Копните годков с десяток назад, а то и хлуже. Пригодиться и вам и мне.

Иннокентий продолжал держать в руке телефон, ожидая, что вновь заговорит сладкий голос. «Копнуть глубже... Доверительно...» Ничего не сказано и всё же...

— Что-то новенькое?

— Ничего, какая-то чушь. Вероятно пьяный.

— Значит, не для тебя, а? Что же ты так долго мусолил телефонную трубку, отче Инноченце? Посмотри-ка мне в глаза, как смотрят доверчивые детки. Правда, и они подвирают.

— Право, Варенька, нечего сказать, даже если...

— ...хотел бы! Ты знаешь, старик, как я любопытна! Но и терпелива. Потом всё всплывет.

Иннокентий взялся за газету, просмотрел заголовки, перевернул страницу, отбросил в сторону... «Ваш блахожелатель... Не пожалее...»

— Сейчас ты улыбаешься. Я знаю, тебе звонила женщина и ты ещё переживаешь разговор с ней.

— Ты, Варенька, всегда права. Спрашивала, не нужна ли белокурая длинноногая секретарша. Готова начать работу хоть сейчас.

— Я покажу тебе секретаршу! Ты знаешь, где у меня сидишь. — Она крепко сжала свой жилистый кулачек.

«Советский, другого быть не может. Ваш блахожелатель». Почему звонил мне? И от кого? Казимира? Тогда две игры... И что значит: хорошо для вас и для меня?»

— Действительно, как кот у сливочного масла, так и сияет! С чего бы это, отче?

— Что ты, Варенька! Просто приятно быть дома...

— Легко на душе, безоблачно, а!?

«Что же, если спросить себя и ответить честно, сам этого хотел. Риск, но и замирающий дыхание полет! Человека, рожденного для этого, приручить к кроткой домашней жизни? Ребенку, подающему надежды стать концертным пианистом, искалечить пальцы?»

Варвара поглядывала на него, ожидая, что он скажет ей что-либо, зная, что этого не будет и она чувствовала раздражение. Иннокентий видел, что она присматривалась к нему, но не подавал виду; он подозревал, что она роется в его бумагах и нарочно оставлял кое-что, что не имело смысла, зато тщательно прятал другое. Она догадывалась, что он дурачит её, что у него есть где-то тайное место, до которого ей так хотелось бы добраться.

Последнее время он подолгу засиживался у себя, стучал на пишущей машинке, отделяваясь от её вопросов ответом: «служебные доклады». Она видела, что что-то новое нарастало в его жизни. Его сосредоточенность и невозмутимость бесили её; что бы она ни сказала ему, даже самое неприятное, не вызывало в нем ничего, кроме мягкого восклицания: «Что ты, Варенька!»

Она притворялась спящей, когда он поздно укладывался спать, ждала, пока он не засыпал, и тихо пробиралась в его комнату. Но то, что она видела на его столе, была папка с листами чистой бумаги. В ящиках стола, которые открывались, было все то, что она видела десятки раз. А где ключи от запертых ящиков? Она так тщательно ощупывала карманы его костюмов, не находя в них ничего, кроме ключа от входной двери.

При её возвращении он поднимал голову и сонным голосом, который казался притворным, спрашивал: «Это ты, Варенька?»

На второй или третий день после таинственного звонка в North China Daily News, в списке парохода «Марсель», компании Мессаджери Маритим, появилось имя Савчо Веселинова, корреспондента французского телеграфного агентства Гавас.

«Копните глубже». Что делал болгарский корреспондент в Китае в прошлом? Не в Кантоне ли, в группе Бородина-Грузенберга в неудачной попытке советизации Китая. Почему кому-то нужно, чтобы он взялся за того?

В группе Бородина подвизался Демче Демчев, также под видом корреспондента, в действительности, по поздним расследованиям, видный член коминтерна, один из немногих уцелевших от сталинской расправы за неудачу.

Размышляя о таинственном телефонном вызове и собранных сведениях о прибывшем корреспонденте, Иннокентий чувствовал, что кое-что становилось для него ясным. Цель вызова «благожелателя» — подсказ к действию, «выгодно вам и мне». Небольшой доклад капитану Такахаси для передачи в Кэмпетэй — ничто так не радует людей, одержимых шпиономанией, как напоминание об опасности, даже если её в сущности и нет. Вреда никакого, а выгода несомненна.

Но это ещё не всё, продолжал думать Иннокентий. Почему не связать заморского гостя с кем-либо из местных и разыграть небольшой спектакль?

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ АГНЦЫ

— Мы кажется знакомы, — сказал Иннокентий, подходя к Ипполиту.

— Боюсь, что не имею чести...

— До сих пор помню вашу декламацию. Как будто не выступаете больше, да? А жаль! Такое дарование!

— Пора бросить легкомысленную жизнь. В данное время на пороге бракосочетания.

— Ну, совсем хорошо! Дай Бог счастья и кучу денег!

— Первое есть, а насчет второго, — Ипполит залился счастливым смехом.

— Деньги — дело наживное. Но как же вы рискуете жениться?

— Честь порядочного человека и сознание гражданского долга.

— Я пожалуй смогу сделать кое-что насчет службы.

— Это было бы замечательно!

— Когда свадьба?

— Через две недели.

«Задержится ли Веселинов на это время?» — Что же, надо спешить, если так скоро свадьба!

Затем начался странный период, во время которого Благобразов посылал Ипполита по разным поручениям, от которых зависела его служба; то он должен был с белым конвертом в руках ждать кого-то на Сучоуском мосту, то стоять у входа в Хлопчатобумажную биржу на Авеню Эдуарда Седьмого и там встретить человека, который устроит ему службу.

Ипполит выполнял все поручения добросовестно, мучая себя мыслью, что из этого ничего не выходило по его вине. Иннокентий успокаивал его, объясняя, что де-

ловые люди иногда меняют свои планы, но это ничего не значит.

— Попробуем ещё раз. Авось теперь выйдет.

Иннокентий сказал ему, что он должен прийти в кабаре Амбассадор на Авеню Фош в назначенный день и час, занять столик у входа и ждать появление господина такой то внешности, и когда он появится, подойти к нему и спросит: «Мистер Грэйвс?»

— А дальше что?

— Только спросить его имя. Он будет знать, кто вы. Увидите, какой это обязательный господин, всё устроит для вас.

В назначенное время Ипполит пришел в Амбассадор. В стороне от эстрады вдоль стены сидели девушки в вечерних платьях; на эстраде тапер, сидя боком за пианино, наигрывая легкие мелодии. При появлении группы американских матросов среди девушек произошло движение. Появилось несколько японцев в штатском.

Для Ипполита, никогда не бывавшего в таком месте, это было занятнее, чем стоять на мосту. Ему нравились сидевшие у стены женщины, нравилась музыка, а от начавшихся танцев он пришел в восторг, забыв о том, ради чего он пришел.

Вошло ещё несколько моряков с иностранных кораблей. Затем показался господин в темном костюме и Ипполит сорвался с места. Светлые волосы и глаза? «Мистер Грэйвс?», но тот прошел мимо, не взглянув на него.

Прошло ещё полчаса. Сомнения стали охватывать Ипполита, дождется ли он этого господина? Вошло несколько человек сразу и Ипполит, протискиваясь через толпу, бросился к ним, не Мистер ли Грейвс один из них.

Ему стало не по себе и стыдно за приставание к людям. Если хотят помочь ему со службой, почему не послать с письмом кому нужно? Уйти или ещё подождать?

Несколько человек показалось у входа и Ипполит поднялся с места, но человек в смокинге преградил ему путь

и протолкнул к вешалке, разыскал его шляпу и вывел наружу. Свежая ночь охладила его после духоты и табачного дыма. Позади осталась толпа, среди которой может быть и Грэйвс, нарядные женщины, недопитое виски. «Так мне и надо».

Благообразов выслушал его молча, тая в себе смех; затем нахмурился и принял недовольный вид.

— Вот так люди портят себе в жизни! Не дождались, а ведь он был там! Такой случай упустить!

Ипполиту было стыдно за себя. Так заботятся о нем, а он такой идиот. Иннокентий о чем то глубоко думал.

— Кстати, я вспомнил об одном человеке. Иностранец журналист, говорит по-русски. Открывает контору; ему нужен человек сидеть в ней, сам часто носится по делам. Не знаю, подойдете ли! В Амбассадоре профукали. Служили бы уже... Стараетесь для других, а кроме неприятностей...

Теперь Ипполиту стало совсем не по себе. «Такой хороший человек, а что он сам делает, чтобы помочь ему!»

— Забудем, что прошло, прошло. Попробуем здесь. Я дам вам письмо для передачи ему. Но сделайте так, как я вам скажу. Вы явитесь в отель, где он остановился, и будете ждать его в фойе. Когда увидите полного господина, покажите ему письмо, он будет знать, в чем дело. Когда свадьба?

— В следующее воскресенье. Теперь уж окончательно. Сомневался, достоин ли невесты по своим качествам.

— Достойны вне всякого сомнения! Следующее воскресенье! Надо заготовить подарочек для новобрачных. Откройте его во время брачного пира. Будет такой?

— Матушка Капитолина Ефимовна сказала, что будет. Желательно, чтобы и вы посетили.

— Обязательно, сочту за честь. Так не забудьте открыть подарочек во время пира.

Идя в радостном настроении к матушке Ефимовне, Ипполит купил пачку сигарет, хотя никогда не курил, но в виду предстоящей свадьбы и службы он хотел казаться солидным.

Иконы в полстены, отблеск лампад на серебряных ризах, фотографии духовных особ по обе стороны цветной литографии Иоанна Кронштадского. Стол, покрытый кружевной скатертью, уставленный чашками, тарелками с печеньем, закусками. Матушка, маленькая, кругленькая, как сдобная булочка, розовые щечки, ручки, пахнувшие яичным мылом. Но самым дорогим для Ипполита была Клава, её внучатая племянница, в розовом атласном платье, с желтоватыми кудельками на низком лобике, с припухшими голубенькими глазками, с бирюзовым колечком на пухлом пальчике и черной бархоткой на базедовом горле.

После рюмки водки, поднесенной ему матушкой со словами «принимайте и угощайтесь», Ипполит пришел в блаженное состояние. Он вскакивал с места, чтобы передать Клаве сахар, печенье — и непривыкшая к такому вниманию невеста вспыхивала, сливаясь лицом с цветом платья. Ипполит вытащил пачку сигарет, постучал сигаретой о стол, как видел делали другие, неумело покрутил в пальцах, закурил и захлебнулся в кашле. Матушка взглянула на иконостас — не поморщились ли лики святых угодников?

— И не надо, Ипполит Ипполитович! Покойный отец Никодим сказывал, что табак есть зелье дьявола.

После чая играли в лото; в перерывах во время раздачи карт матушка рассказывала об отце Никодиме, о том, как должно быть умирительно для души усопшего глядеть на молодых и радоваться их счастью. Она рассказывала о научных трудах покойного, прерванных «преждевременной кончиной живота».

Перед уходом Ипполита матушка сняла со стены любимый образ отца Никодима и от его имени и имени ро-

дителей Ипполита и Клавы благославила на долгий и счастливый брак. Затем она показала устроенную для них комнату. Накануне она перестлала постель, покрыла её одеялом розового муслина, уложила горкой подушки, полюбовалась фотографией остроносого батюшки между двумя вазами с бумажными цветами и его брошюрой, озаглавленной «Что Есть Жизнь».

— Вот вам и брачный чертог! Сколько же годков прожили с отцом Никодимом душа в душу! В этой комнатке я и явлению Господне удостоилась, тут и последнюю малютку мертвенькой родила. Тут и сам отец Никодим представился... Вот вам и столик и качалочка посидеть. Вот и кровать. Любитесь и милуйтесь себе на здоровье и счастье на многие годы! И мне, старушке, умилительно, да и душеньке усопшего приятно полюбоваться. Куда же лучше!

Доклад был приготовлен. Славко Веселинов, корреспондент Гавас. Есть основание предполагать, что оперировал под именем Демче Демчев в попытке коминтерна советизировать Китай в начале двадцатых годов. Видный член коминтерна, Веселинов-Демчев также является офицером болгарского Генерального Штаба, близко связанный с советской военной разведкой. Есть основание полагать, что в данное время не в фаворе у советских властей. Есть основание также полагать, что прибытие Веселинова-Демчева... Тут Иннокентию пришлось призадуматься. Так ли это? Что дальше?... «В связи с установлением японо-советского пакта о ненападении допускается, что цель Веселинова-Демчева — военная разведка в трех направлениях: а, соблюдение Японией условий пакта; б, нарастание военной мощи Японии и в, направление японской экспансии: в южно-восточный бассейн Тихого Океана или на север, на советский Дальний Восток и Сибирь».

* * *

Ипполит просидел терпеливо в фойе отеля Ориенталь от двух до пяти вторник, среду и четверг, как ему было сказано. Ничего за это время не произошло. Вначале всё его интересовало: появлялись люди с чемоданами, разговаривали с отельным клерком, поднимались на шатком лифте вверх. Несколько раз он вскакивал, поднимал руку с белым конвертом, но никто не обращал на него внимания. Раза два он решался подойти и спросить, но там было несколько полных человек и он метался среди них, пока не подошел к нему отельный клерк и не спросил, кого он ищет.

Стройный, с миловидным лицом, бледным и торжественным, Ипполит обращал на себя внимание тех, кто остался в соборе поглазеть на свадьбу.

Припухали от слез глаза невесты и влажно розовели щеки. В подвенечном платье, наспех сшитом матушкой, она казалась выше и плотнее Ипполита.

После обвода вокруг аналая и поздравления новобрачных к ним из алтаря сошел архиепископ Амвросий; он привлек к себе молодую пару и легким движением руки опустил их на колени, благословив и перекрестив их головы. И тут случилось неожиданное: владыко прижал к себе Ипполита, его лицо к своей бороде, поцеловал его в голову — и обильные слезы брызнули из его глаз.

Вид плачущего архиепископа поразил всех и долгое время все оставались в смятении, не зная, чем объяснить его слезы.

Ещё перед свадьбой церковный староста передал Ипполиту запечатанное письмо, которое он поспешно сунул в карман. В самый разгар пира, во время которого захмелевшие гости кричали «горько», он вспомнил о конверте и пришел в ещё большее волнение: подарок от Благобразова, этого замечательного человека! Чувство благодарности к нему залило его горячей волной. Под пред-

логом подышать свежим воздухом он вышел в переднюю. Он вынул конверт, прочел свое имя, вскрыл бережно зубочисткой и прочел: «Приходите, как только получите письмо, в отель за ключами. Служба за вами». Внизу, дважды подчернуто: «Немедленно».

Ипполит заглянул в спальню матушки: будильник показывал около трех. Сказать Клавде? Но она не отпустит его. Какие ключи? Кто начинает службу в воскресенье? До Авеню Жоффри две-три минуты, оттуда на рикше до Нанкин Роад минут пять-семь. Там несколько минут поблагодарить и извиниться за спешку: «только что с брачного пира». И домой. Не больше получаса.

Захватив трость, он бегом направился к Авеню Жоффри. Приятное головокружение, ощущение безграничного счастья. Ровное покачивание на рессорах, ритмический бег человека-рысака.

— Никак сам Ипполит Ипполитович подкатывает, — воскликнул первый, выходя из автомобиля.

— А мы то ждали, — отозвался второй.

— Извините, мне некогда. Я должен видеть одного человека.

— А мы как раз от него. Просит приехать к нему.

— Но мне некогда. У меня торжество.

— Не за каждой машину пришлют. И вы, конечно, не откажите есаулу Скокленину.

— Садись, паря, что разговаривать.

— Сколько времени займет?

— Только доехать. Ждут же, для вас стараются!

Автомобиль выехал на Банд, пересек Сучоуский канал и по Норд Сечуан Роад доехал до Хонкью до здания с вывеской «Штаб Национального Объединения Нового Порядка».

— Выходи, паря, приехали. Вот сюда. Обожди здесь.

Большой стол, сбоку, у двери, маленький. Три стула. Окно, забитое на три-четверти картоном; за ним сплош-

ная стена соседнего дома. В комнате никого.

Прошло некоторое время. Ипполит то поигрывал тросточкой, то впадал в грусть, переносясь мыслями в уютную комнату матушки Капитолины Ефимовны и к Клаве.

Дверь открылась и в комнату вошел Иннокентий, не замечая бросившегося ему навстречу Ипполита. Поисках в ящиках стола, он так же стремительно вышел. Через открытую дверь Ипполит увидел спину согнувшегося над столом человека, который привез его сюда. Он бросился к двери, но тот, не оборачиваясь, сказал: «Обожди, паря».

Минуты шли медленно. Ипполит начал томиться; он тосковал по Клаве, негодуя на себя за то, что оставил её. Уйти, даже если...

Открылась дверь и вошел Иннокентий с пачкой бумаг подмышкой. Увидев Ипполита, он принял удивленный вид, заходя за стол, чтобы тот не сделал движения протянуть руку.

— Не ожидал увидеть вас здесь, прямо скажу. — Он покачал грустно головой. — Должен признаться, что у меня было совершенно другое впечатление о вас. Что же сделать, человеческая порода остается верной себе. Попробуем разобраться и выправить, что ещё можно. Имя, отчество, фамилия?

— Как? — Ипполит удивленно посмотрел на него.

— Я бы предостерег вас от задавания вопросов. Спрашивать буду я, а вы отвечайте. И так?

— Ипполит Ипполитович Михельсон.

— Действительно так?

— Моя, моего отца и деда и так вглубь времен.

— Повторяю: только ответы, никаких размазываний. Возраст?

— Тридцать два года.

«Столько, сколько было бы теперь Ольге», нахмурился Иннокентий.

— На какие средства вы живете?

— Да не на какие! Что удастся случайно...

— Вы всегда одеты франтом, белый жилет, в петлице ландыш, правда, тряпичный.

— По особому торжественному случаю. Как вы знаете, сегодня...

Иннокентий, казалось, не слышал. Он погрузился в чтение бумаг. Ипполит продолжал улыбаться светло.

— Состоите в браке?

— Как вы знаете...

— Отвечайте на вопросы только. Полное имя жены?

— Клавдия Михельсон. Отчества не знаю.

— Тоже Михельсон?

— Согласно церковного брака...

— Я спрашиваю девичью фамилию.

— Не имею чести знать.

— Ах, вот как! Петя, — позвал Иннокентий человека, сидевшего в другой комнате. — Будьте добры переселиться сюда. Начнем сначала. Имя, возраст имеются. Дальше. Видимых средств к существованию нет. Всегда хорошо одет. В последнее время его видели в различных частях города. Поджидали кого-то?

— Вполне возможно.

— Что было у вас в руках?

— Тросточка, — сконфуженно засмеялся Ипполит.

— Уклончивый ответ и попытка притвориться наивным. Петя!

— Понимаю.

— А не было ли у вас в руках вот этого? — Он вынул из ящика стола белый конверт и помахал им в воздухе.

— Может быть был, не упомяну.

— Иными словами, вы не отрицаете, что такой конверт был у вас в руках, когда вы стояли в определенных местах и ожидали кого-то.

— Мне было сказано, где стоять. «Сердится, что я не дождался», с сожалением подумал Ипполит.

Иннокентий продолжал просматривать бумаги. Скрипело перо секретаря Пети. Из другой комнаты доноси-

лись голоса и смех.

— Ожидали, что кто-то проходя, увидит вас и конверт в ваших руках, возьмет его, а вам передаст что-то другое?

— Этого я не могу сказать.

— Не можете? Вот видите! В некоторых случаях вы не ответственны за свои поступки, многое не помните, на некоторые вопросы отказываетесь отвечать. Что же нам с вами делать! Это всё ещё ничего. А есть кое-что похуже!

Иннокентий погрузился в чтение, то восклицая, то прищелкивая языком. Он откинул в сторону бумаги, словно ему было тяжело читать их. Его лицо приняло страдальческое выражение, он привстал, наклонился через стол, чтобы заглянуть в глаза Ипполита.

— Вы бракосочетались с девицей, фамилию которой вы не знаете и не потрудились узнать. В разгар брачного пира вы тайно покинули молодую жену для встречи с каким то подозрительным господином, с которым вы, по данным полиции, виделись до этого несколько раз.

Ипполит пытался возразить, чтобы рассказать, как это всё вышло, но Иннокентий встал, потянулся, подошел к окну.

— Не хочу и слышать! Покинуть молодую жену, х-м!

День подходил к концу. Вдали глухо прогремел трамвай. Издалека, со стороны порта доносились гудки пароходиков, перевозивших рабочих с другого берега реки. «Интересно, что Варвара готовит на обед? Обычные котлеты с макаронами? Или та же холодная ветчина из магазина?» Из дальней комнаты донесся взрыв смеха. Ипполит улыбнулся, но ему было не до смеха... «Бедная Клава зажалась... Действительно, как он мог... Слава Богу, кончается...» Допрос не беспокоил его. Он продолжал сидеть ровно, слегка откинувшись на спинку стула, опустив руки на колени, приятно улыбаясь и соглашаясь с тем, что говорил Иннокентий. Ему нравилось, что такой серьезный человек так интересуется им и только жалел, что он что-то сделал не так, как надо было.

— Вот здесь всё, — сказал секретарь Петя, подбирая бумаги и передавая их Иннокентию, который сложил их со своими и вышел из комнаты.

Ипполит поднялся и взял шляпу.

— Подожди, паря, — сказал Петя, собирая недописанные бумаги и направляясь к выходу.

Ипполит осторожно потрогал дверь: закрыта снаружи, подошел к окну, но всё, что он видел в быстро гаснувшем дне, был край темной крыши. Он сел, затомявшись, думая о Клаве, заставляя себя улыбаться, но улыбка его была грустная. Время шло медленно.

Дверь внезапно открылась и в комнату вошел Такахаши, держа в одной руке папку с бумагами, в другой сигарету. Он сел за стол, затаился, откинув далеко руку, чтобы стряхнуть пепел, быстро пробежал глазами по первой странице и только тогда взглянул на Ипполита.

— Иппорит Иппоритович Михерсон! Из прибартийцев ири привержских немцев?

— Не из тех и не из других. Сам по себе.

— Когда вы родились?

— Когда моей матушке стало невмоготу.

— Что за нерепость! Я спрашиваю день, месяц, год вашего появления на свет.

Сигарета задрожала в его пальцах, он гневно взглянул на учтиво улыбавшегося Ипполита. Молчание, пока Такахаши читал бумаги, время от времени отчеркивая ногтем мизинца некоторые места.

— Этто любопытно! В отере Ориентарь встреча с боргарским журнаристом. Что вы там дерари? Пришри за крючами?

Такахаши опять погрузился в чтение. Дойдя до последней страницы, он перелистнул несколько других, ища что-то.

— Тут, к сожарению, не дорожѣно об остарных ваших прикрючениях.

— Каких, например?

— В кабаре ири ручше сказать увесеритерном доме Амбассадор. Мои рюди видери вас там. Почему в докраде не дорожено?

— Не могу знать.

— Вы там кого-то рихорадочно искири. Встреча произошра?

— Произошла или нет, не могу сказать.

— Значит, вы утаири?

— Я ничего не утаивал.

— Но она произошра? Кого вы там искири?

Ипполит старался вспомнить имя, которое дал ему Благообразов. Имени он не вспомнил, но мысль об Иннокентии впервые удивила его. Он задумался, но как-то отвлеченно, словно ничто не касалось ни его самого, ни того положения, в котором он очутился таким странным образом. Он не мог понять, почему встречи с Иннокентием, желание того помочь ему со службой, заканчиваются странно, мучая себя мыслью, что это была его вина.

— Кого я там искал я не могу сказать.

— Иппорит Иппоритович суорычъ,—гневно вскрикнул Такахаси.

— О такого и слышу, — рассмеялся Ипполит.

— Не прекосровить — завопил Такахаси, ударяя по столу ладонью и багровея в лице. Из соседней комнаты в приоткрытую дверь выглянуло лицо Иннокентия,казавшееся радостно возбужденным. При виде его, Ипполит улыбнулся ещё мягче и подмигнул глазом — и дверь тихо закрылась.

— Нет борше смысра продоржать деро. Отосрать есауру Скокреневу дря дарнейшего средствия. — Такахаси порывисто вскочил и направился к двери, которая открылась перед ним.

— Нет ещё—заметил предостерегающе секретарь Петя, видя, что Ипполит собирался встать. — Посиди ещё.

Уходя в другую комнату, Петя оставил только маленькую лампочку на своем столе. Ипполит остался один.

Шорох в соседней комнате, приглушенные голоса и смех в дальней. Уйти бы незаметно, открыть эту дверь, другую — и там на улицу... Или подремать, положив голову на стол... Вспыхнул свет.

— Вот, паря, подпиши здесь.

— Что это?

— Разговор. Подписывай, пока жив, — осклабился секретарь Петя.

— Ну, если так, — засмеялся Ипполит. — И домой! Там заждались.

— Ещё в одно место, поговорить хотят. Ну.

Петя взял за локоть Ипполита, приподнял его со стула и протолкнул к двери.

— Подождите, — крикнул Ипполит, смеясь сконфуженно, — тросточку забыл.

— Теперь неважно, — донесся голос Пети из темного коридора.

— Где ты пропадаешь, старик? Где это видано, чтобы порядочные люди работали по воскресеньям, да еще так долго!

— Знаешь, Варенька...

— Знаю, что ты выглядишь счастливым, весь полон светлой радости, словно тебе подарили миллион или подсунули красивую женщину с христианским нравом!

— И то и другое, Варенька! Ты всё знаешь. Как хорошо пахнет из кухни!

— Пришел бы на два часа раньше, было бы и вкусно, а теперь всё пригорело. Всю неделю ходил, как в воду опущенный, не ел, не пил, к жене не хаживал! А сегодня так повеселел! Значит, что-то вышло, как ты хотел!

— Ты, знаешь, Варенька, я всегда ровен, всем доволен, счастлив.

Он прошел в свою комнату и тщательно проверил карманы пиджака: ему казалось, что конспект допроса он не уничтожил, а оставил у себя. «Нет, всё в порядке!» При-

крыв дверь, он вынул из кармана найденный на улице ключ, проверил, что он не подходит к запертому ящику его стола, и давясь от беззвучного смеха, запрятал его в незакрытом ящике. «Немножко радости и разочарования!»

— Иннокентий, Нюрка, обедать!

Иннокентий принял постное выражение лица и вышел в столовую.

— Ты почему, Нюрка, ничего не скажешь отцу?

Девочка посмотрела на неё, хотела что-то сказать, но начала мучительно заикаться.

— Ну, довольно, — оборвала Варвара, — мы поняли. Руки чистые? Садись за стол.

Вначале отсутствие Ипполита осталось незамеченным. Гости занимались собой и тем, что стояло на столе; матушка Ефимовна хлопотала по хозяйству и только одна Клава в нараставшей тревоге тосковала по нем.

Постепенно гости стали перешептываться, поглядывая на часы и поднимая глубокомысленно головы к потолку, сколько же времени прошло с тех пор, как Ипполит протискивался за их стульями. Один из прибывших позже заметил, что видел, как Ипполит бежал с тростью в руках к Авеню Жоффр. Кое-кто крикнул; затем заговорили, сперва вполголоса, затем со смехом, что по нынешним временам не так трудно уловить жениха, как удержать до брачного ложа.

Сперва Клава заставляла себя улыбаться, но ничего, кроме частых миганий ресниц, не получалось. Ее глаза наполнялись слезами, припухали влажные щеки, доходя вровень с зарозовевшим носиком. Она проводила рукой по горлу, по его неприятной опухоли, сдавленной тесным ожерельем.

Ей были противны разговоры захмелевших гостей, их шутки о ненадежных женихах. Наконец она не утерпела и бросилась из комнаты, комок мокрого платка у рта,

хлопнула за собой дверь в приготовленной матушкой спальне и застучала каблуками об пол. Она бы рвала, ломала всё в спальне, но там царил порядок и покой. Сбросив белые туфли с опухших ног, она повалилась на постель, заливая слезами кружевную наволочку. «За что, за что», стонала она. «И кто? Полечка, такой мягкий, деликатный на вид! За что такая судьба? Что я не красива, что у меня зоб, слезящиеся глаза, опухшие ноги? Но он говорил, что любит меня, хочет счастья со мной навсегда».

Она то успокаивалась, лежа ничком, шепча несвязные слова, то снова начинала плакать и биться головой о подушку.

Матушка Ефимовна приоткрывала дверь, поглядывала с жалостью на Клаву и на фотографию отца Никодима, как бы спрашивая, не лучше ли молодой и будет ли у неё счастье. Но отец Никодим смотрел строго вдаль, словно не видя, что происходило в этот грустно меркнувший день, словно все еще обдумывая свой новый научный труд, более значительный, чем первый, озаглавленный «Что Есть Нежизнь».

— Вместо того, чтобы подвести под высшую меру за то, что, как еврей, он сопротивляется твоему строю, не рвется всей душой маршировать с союзом людей «нового порядка», ты, Панталоныч, угощаешь его чайком. Пожалел его за слезящиеся глаза! А ты бы глубже заглянул в них, что там свое, потаенное, что вместо мысли о том, чтобы носить коричневую рубашку и пояс через плечо, как все хорошие люди, как ты, у него только одна опасная сионистская мысль, как бы заработать себе и детишкам на молочишко. А ты — чай с крендельками! Мягкий ты человек, Панталоныч, гуманный! А ведь пора бы прислушаться ко мнению людей знающих! Что они говорят? В иных случаях жизни лучше иметь твердый шанкер, чем мягкий характер.

Мохильковский таял в притворном смехе, поглядыв-

вая влажными глазами на Немезидина-Волжского, не зная, как понять его слова. Вечером он приготовил доклад, но не для английской полиции, а капитана Такахаси в штаб.

Исчезновение Ипполита вызвало много толков, создав тревогу. Заговорили о похищении. В городе похищали богатых людей ради выкупа, политических деятелей ради сведения счетов. Но Ипполит блаженный! Кому он нужен!?

Спрашивали Выдру, зная, что у него есть на всё нюх, но тот начинал то божиться, что ничего не знает, то говорить, с оглядкой, о каких-то ветхозаветных агнцах и что «это ещё не всё». От него отходили, зная его пристрастие к библейским текстам. Если агнцы, должно быть и заклание. Причем тут Ипполит!

На вопрос, знает ли он что-либо об Ипполите, Мохильковский начинал стыдливо хихикать, словно его спрашивали о женщине, побывавшей накануне в его руках. Затем он заговаривал о «новом порядке», и принимая начальственный вид, переходил к «вредным личностям».

Упоминание о «вредных личностях» встревожило: если Ипполит такой, то как же другие?

На вопрос о потерянном Иннокентий Благобразов ответил, что в больших городах таких случаев десятки каждый день и что надо заявить в соответствующий отдел полиции и дать полные сведения и его фотографию.

— А кого ищите?

— Ипполита Ипполитовича Михельсон. Знаете его?

— Михельсон? — Он задумался, словно перебирая в уме десятки Михельсонов, из которых один пропал без вести. — Не думаю, что-то не помню.

Память можно было освежить: не больше, чем два-три воскресенья назад их видели вместе вблизи собора мирно беседовавших о чем то приятном, так как оба улыбались.

Клавдия и матушка Ефимовна обратились в русские газеты. В одной им сказали, что заметка об исчезнувшем уже была в отделе хроники. В другой ответили, что поместят в виде объявления в рамке за такую то цену. И только в Эмигрантском Эхо встретили участливо и сам редактор составил прочувственную статью о потерянном, закончив ее обычными стояновскими мазками, что за сведения о нем будет выдана самая высокая награда — пожизненная благодарность молодой жены. Это было последнее, что Андрей Авдеевич написал для своей газеты, так как на следующий день там сидели другие люди.

Кинулись они в Эмигрантский Комитет, но О. Э. Мельцер, готовясь с тяжелым сердцем к публичному опросу о его принадлежности к масонству и участии в политических делах, направленных против «нового порядка» и «Великого Ниппон», мог только посочувствовать горю.

Обратились они и к архиепископу Амвросию. Он выслушал их участливо, дал по просфоре с напутствием, «Что претерпевший же до конца спасется» и что поэтому «Бодрствуйте, потому что не знаете, в какой час Господь к вам придет».

Никто из бедных женщин не спросил, почему горько плакал владыко, прижимая к себе голову Ипполита.

— Чуть не умерла бедная. Вот была бы беда для окружающих. — Поля Иноходцева взяла в руки чашку, поглядела на потолок, прежде чем отпить из нее.

— Кто чуть не умер, — спросил Иноходцев, присаживаясь к столу.

— А Марья Дмитриевна.

— Почему же беда для окружающих, если не умерла?

— Так она же умерла в прошлом году.

— Не умерла и в то же время умерла в прошлом году?

— Не дождалась, бедная, Светлого Воскресенья. Перед Страстной отдала душу.

— Объясни, Поля: чуть не умерла на днях и умерла в

прошлом году перед Страстной?

— Если лежишь под стеклом, все равно, что мертв.

— Совсем запутанно или я такой бестолковый!

— Хорошо, что признаешься, все же имеешь совесть.

— Объясни мне, Христа ради, как твоя Марья Дмитриевна умерла под прошлую Пасху, чуть не умерла в этом году да ещё попала под стекло. Теперь ясно: врачи выкопали покойную, оживили нашатырным спиртом и, чтобы ей не скучать, сунули под стекло.

— Да что ты пристал с Марьей Дмитриевной! Вовсе не она, а ребенок.

— Ещё лучше! От покойной Марьи Дмитриевны из загробного мира! Дьявольские козни!

— Не богохульствуй, Лавруша, Бог накажет! Марья Дмитриевна под семьдесят, а ребенку и восьми нет. Пухленькая такая, Любочкой звать.

— Так это Любочка под стеклом? Ты хочешь сказать, в кислородной палатке?

— Наконец то дорубил! Бестолковые вы мужчины, а воображаете как! — Поля налила еще чаю, отпила, поглядела на потолок задумчиво, — может совсем и не та, а которая в цирке. Канат ещё сорвался из под кумпола.

— От того и умерла под Страстную?

— Вот привязался со Страстной! В старое время в Великий пост цирки не работали. Коней нагуливали, цирковые номера готовили. Да и говели, не как теперь. А канат сорвался, потому что летал в тележке под башней.

— Кто летал? Дух Марьи Дмитриевны? Или сама?

— Господь с тобой! У Марьи Дмитриевны водянка.

— И тогда водянка? Ты же ведь о прошлом говоришь?

— О чем же я буду говорить? О том, что ты в Ревизионной комиссии запасной член? Не больно то видная шишка! Не похвастаешься!

— Что же поделаешь! Углубимся в прошлое, оно увлекательнее. Так кто же летал под куполом?

— Муж Марьи Дмитриевны. А поди и не муж, а ейный.

— С легким смехом. — Кавалер-грудомер. А летал в тележке. Под самой верхотурой. Аж дух захватывало глядеть. Два колеса впереди, одно сзади.

— Ты хочешь сказать в летательном аппарате Блерио или Фармана?

Поля задумалась, отпила из чашки, пожевала губами.

— Таких циркачей у них не было. Я их всех знала. Даже которые с гирями.

— Откуда ты знаешь? Сама работала в цирке?

— Каждый же вечер там. Из-за папы.

— Твой папа тоже циркач?

— Вот выдумал! Папа держал вешалку.

— Так что же случилось с тем, кто сорвался? Разбился на смерть? Каково же было видеть бедной Марьи Дмитриевне, да ещё с распухшими ногами!

— И вовсе не разбился! Ты всё любишь хоронить. Ещё голос открылся. Теперь регентом в соборе. Владыко Амвросий просто не нахвалится! Я вот всё думаю, та или не та. Марий Дмитриевен много. У нас в городе почти каждая акушорка так называлась. Чуть что — сейчас же Марью Дмитриевну!

— И что же?

— Ну — ребеночек, новорожденный.

— У Марьи Дмитриевны?

— Вот бетолковый! Марья Дмитриевна акушорка, поди незамужняя. Хотя сказано — акушорка не девица, прапорщик не офицер. Ты, ведь, дальше прапорщика не пошел?

— Не пошел.

— Вот видишь! А берешься рассуждать обо всём. Пошел бы дальше, дослужился бы до чинов и орденов. Весь мундир впереди и с боков в медалях и лентах. Поди бы и в училище для генералов назначили.

— В Академию Генерального Штаба? Хватила, мать!

— А что? Закончил бы, вышел генеральным генералом, а не как Афанасьев, простой генерал. А теперь си-

дишь в комиссии, да и сидишь ли, если только запасной! Почему я заговорила о ней, дай вспомнить! Звонил сегодня, тебя не было дома. Пока он говорил, я всё думала, как её звать, дамочка-мамочка при нем, то Марья Григорьевна, то Анна Дмитриевна, а то и Марья...

— О ком ты? Кто звонил?

— Да этот, долговязый. Панталонычем величают.

— Мохильковский? — Иноходцев встрепенулся, нахмурился. — Отчего ты мне сразу не сказала, а несла чушь?

— А кто меня перебивал все время? Я только хочу сказать, а ты о своем! Да что с тобой? Пей чай.

— Что он говорил?

— Ничего особенного. Спрашивал, скучаю ли за ним? Почему, говорит, Лаврентий Фролыч не заходит, дело для него есть. Пусть завтра непременно придет в штаб.

За месяц до этого, слушая разглагольствования Мохильковского о «новом порядке» и необходимости всех «национально-мыслящих и стойких борцов против коммунизма» идти в ногу с этим движением, Иноходцев призадумался. В стороне или вместе? Одни идут, другие топчутся на месте всю жизнь. Поля советует: дадут должность, оклад, чин — «лучше, чем ничего».

Заканалье. Двухэтажное здание. Штаб Национального Объединения Нового Порядка. Человек с каменным лицом, квадратной челюстью, сдвинутой вбок и низким лбом, прикрытым казачьей челкой.

— Есаул Скокленив, слышали поди. Заведующий штабом. О вступлении? Личный состав, соратник Белогуб.

Вертлявый человек, речь скороговоркой, залихватый смех после каждой фразы, переспрашивание самого себя.

— Нужны, ещё как. Да? Соратники. Новый порядок, новый строй. Да? — Пауза для смеха.

Как сказать: «Жена спрашивала, какой оклад положить?» Как спросить, на что можно рассчитывать?

— Рубашка коричневая, широкий пояс, ремень через

плечо. Да?

— Можно подумать, прежде чем вступить?

— Ну, если так, хотя у нас не полагается раздумывать, да? Не позже, чем завтра. — Счастливый смех через редкие зубы.

Позже, дома, за вечерним чаем.

— Ну, как, записался?

— Пошел познакомиться. С одной стороны как будто ничего, а с другой...

— Ты всегда такой, Лавруша! Жалко выплюнуть и тошно проглотить. Другой давно бы решился, положение бы имел, а ты...

— Не ворчи, Поля, завтра подаю заявление. Шей мне коричневую рубашку, без неё не примут.

— Тебе опять звонили, старик, и так же таинственно, как тот раз, когда это было, с месяц назад? Ты ещё сказал, что какой-то пьяный, а сам весь вечер ходил, как помешанный. Может быть и теперь тот же самый...

Около девяти зазвонил телефон. Иннокентий сорвался с места, забрал телефон и скрылся у себя.

— Ваш блахожелатель. Отпили чаек иди ещё пьете? Проводили друга? Какого? А этого южанина-корреспондента. Как же, отбыл позавчера в Иокохаму, супруга в Токио, что ему здесь делать. А там сами знаете, как всё кипит! Для интересующегося человека рук не достаточно охватить. Поинтересуйтесь, не пожалеете. А засим, с приветом и лучшими пожеланиями; мы вам, вы нам.

В Станичном Доме на Рут Валлон гремел пир по случаю назначения атамана Серобородько на пост председателя новой эмигрантской организации, на который собрались видные гости из Штаба Национального Объединения во главе с капитаном Садао Такахаси. Столы ломились под тяжестью заливных, закусок, поросят, пирогов, гусей; ласьковская водка лилась разлитым морем.

Пока шли застольные речи, поздравления, пока Настя, атаманова дочь, подносила чарочку, сперва почетному станичнику Садао Такахаси, затем расчувствовавшемуся родителю и другим гостям, Иннокентий Благобразов подъезжал на рикше к зданию штаба. Впущенный дежурным соратником, он прошел в канцелярию, достал бумагу, сел за стол. Что писать? Для этого ли он пришел сюда? Он прислушался: в приемной, где сидел дежурный, было тихо: тот читал или клевал носом.

Он взял перо, обмакнул в чернильницу и стал быстро писать одно и то же: «Мы вам, вы нам». Исписав весь лист, он опомнился. Прислушался к приемной и как можно тише стал рвать исписанную бумагу в мелкие клочки. Убедившись, что уборная была промывная, он спустил туда бумагу и тщательно проследил, чтобы ни один клочек не остался несмытым. По дороге в канцелярию он остановился у дежурного сказать тому, чтобы его не беспокоили, так как он будет работать у себя. «Дрыхнет каналья! Пусть, так лучше».

Посидев некоторое время, прислушиваясь к тишине, он перебрался в кабинет Такахаси, надел перчатки, закрыл плотно дверь, зажег свет и внимательно оглядел комнату, письменный стол, металлические шкафы вдоль стены. В одном из них стальной жезл был продет через ручки ящиков и вдвинут в петли внизу и наверху шкафа, где висел американский замок. Иннокентий пришел в волнение: «Вот бы мне дар взломщика! Здесь всё, что мне бы нужно!» Он перепробовал другие шкафы, стараясь не форсировать их открытие в надежде, что один из них не заперт. Он присел на корточки у письменного стола, проводя осторожно лезвием перочинного ножа вдоль верха выдвижных ящиков. В одном месте щель была шире. Он достал из кармана отвертку, обмотал конец её носовым платком, сунул в щель около замка, осторожно надавил — и с вздохом облегчения почувствовал, что ящик поддался. Но то, что было в нем, особенно не по-

радовало его: кипа брошюр на японском языке и записная книжка с адресами и календарем. На брошюрах были красные штампы Кэмпетэй; некоторые из них были испещрены на полях густыми пометками. Он выбрал одну из брошюр, открыл на месте, где было много помет, направил свет лампы, вынул из кармана плоскую камеру Минолта и стал щелкать. Что ещё снять? Он взял записную книжку, проверил число оставшихся в камере снимков: на всю не будет. Снять всё, на что хватит. Нет ли среди адресов его имени? Катушка подходила к концу. Он перелистнул несколько страниц. Его внимание привлекла запись на август: «Оставить для М.» Ниже, против 8-го августа, «на это утро». Он снял ещё несколько страниц, пока не закончилась катушка, положил брошюры и записную книжку в ящик, как они лежали и осторожно при помощи отвертки вдвинул его на место с чувством облегчения.

В канцелярии он взглянул на часы: сорок минут. Вывод — неважно, какой результат этих минут, важен ответ на «мы вам, вы нам».

При виде Иннокентия, дежурный встрепенулся. «Спал скотина», заметил он про себя, глядя на его сконфуженное лицо.

— Никаких происшествий? — спросил он насмешливо. — Как ваша фамилия?

— Соратник Иноходцев.

По дороге домой он остановил рикшу у Сучоуского моста и направился к гостинице Астор Хаус. В подъезде он остановился посмотреть через улицу на советское генеральное консульство; верхние этажи, где жили служащие, были освещены, да внизу, при входе, горел слабый свет. Он прошел в фойе, присел к столику, вынул лист почтовой бумаги и конверт. «Позвоните вечером. Хотелось бы поболтать. Ин.» Написав на конверте имя К. Маврос, он оставил его у клерка, где Коста получала почту.

Встреча состоялась на другой день после звонка Иннокентию, когда в условленный час Коста Мавро появился на дорожке Бридж Гарден в щеголеватом белом костюме с розовой гвоздикой в петлице, с галстуком бабочкой и канотье, небрежно посаженном на толстой греческой голове. Он шел, помахивая бамбуковой тростью и поигрывая маслиновыми глазами при встрече с женщинами.

— Сразу видно, человек на высоте жизни! Успех в делах, успех у женщин! А вид! Не Коста из Харбин-Пристань, а настоящий Морис Шевалье!

— Нравится, а? — Он достал черепаховый портсигар, постучал по нему агатовым камнем кольца на мизинце. — Что новенького?

— Это вас надо спросить, вы ведете такую кипучую жизнь!

— Намечается что-то?

— Нет, ничего. Просто хотелось поболтать.

— Похоже на вас, — засмеялся Коста. — Слушаю, что дальше.

— Известно вам это местечко? — Иннокентий кивнул головой на противоположный берег.

— Астор Хаус? Моя штаб-квартира. Ещё бы!

— Я не об этом. Другое здание, напротив. У начала моста. Не знаете?

— Никогда не видел. Что-то новое?

— Да. Торчит всего лет тридцать. Теперь советское генеральное консульство. Заглядываете туда по делам?

Коста нагнулся, чтобы завязать шнурок ботинка.

— Не люблю спрашивать такие интимные вопросы. Они и не нужны между порядочными людьми... Мне хотелось бы подарить коробку сигарет Кэпстан одному человечку, да не знаю, как это сделать, чтобы не обиделся. Просто заглянуть в приемную и оставить там.

— И всё? А что мне будет за это?

— Крепкое дружеское рукопожатие! Если мало, обещаю носить передачу в одиночную, когда попадете ту

да за авантюры.. Да, ещё одна вещь, не знаю, заметили вы за мной эту странность или нет... — Он вынул из кармана маленький пакетик шестимиллиметровой катушки с 32-мя снимками, упакованный в жестянку от сигарет, потряс её в воздух, не шумит ли. «Оставить для М.» И ниже: «На этот день». «Что это может быть намечено на август?», задумался он.

— Странности, вы говорите?

— Да, — очнулся Иннокентий, — не так странности, как чудачество: я, понятно, послежу, чтобы вы не заглянули в пакетик ради любопытства.

Иноходцев встревожился не на шутку, узнав от жены, что его вызвали в Штаб Национального Объединения. Первые мысли: «В стороне или вместе? Чем черт не шутит? Почему другие примыкают, а он нет?», сменились другими: «Нужно ли это мне? На кой лад я впутался!» Но уже было поздно идти на попятный. Он вступил, надо было служить. На первых порах он даже заставил себя увлечься, но это продолжалось короткое время. В один день, как бывает с нерешительными людьми, он вдруг почувствовал такой сильный протест против всего, против людей в штабе, своей службы в нем, самого себя, что, не дождавшись конца дня, он бросил все и ушел домой.

«Забудут», говорил он, успокаивая себя. «Кому такой нужен, как я!» Но там его не забыли и он даже оказался нужным для дела, начатого И. Благообразовым.

— Не могу простить себе, Такахаси-сан, — сказал озабоченно Иннокентий, входя в кабинет капитана. — Там обремизился!

Такахаси оторвался от чтения бумаг, откинулся на спинку кресла, нащупал, не глядя, пачку сигарет, закурил, посмотрел на за клубившийся под потолком дым, и только тогда взглянул на Иннокентия.

— Дорожите ещё лишний раз.

— В том то и несчастье, что доложить нечего, кроме того, что Веселинов отбыл на днях в Японию; у него жена в Токио. Конечно, не только из-за этого. Как изволили помнить, я докладывал вам по делу Михельсона...

— Отрично помню. Средоватерно, вы порагаете, что это не увесеритерная поездка?

— Сомнений быть не может! Единственно, что огорчает меня, что я не довел дела до конца. А ведь по долгу службы...

— Наши рюди в Токио порюбопытствуют в чем деро. Вы выпорнири всё доржное, дари торчок... Эт-то, — он потянул губами — не оставрю без ричного внимания.

— Благодарю вас. Разрешите откланяться, капитан Такахаси... Да, ещё одно обстоятельство, о котором я должен доложить: есть основание думать, что кто-то проник ночью в штаб.

— Да, — встрепенулся Такахаси. — И что?

— Кто-то рылся в моих бумагах. Может быть и в других.

— Когда это могло сручиться?

— Могу сказать. Я помню, когда оставил в столе. Замок был форсирован, словно отверткой...

— Знаете, кто был дежурным?

— Вот это не скажу точно! Кажется, соратник Иноходцев, но определенно не скажу. С другой стороны, что заставило его бросить службу? Похоже на дезертирство. Правда, он вернулся...

— Он здесь?

— Так точно. Ждет Мохильковского. Тот вызвал его.

— Есть докрад на него?

— Имеется у секретаря.

— Будьте рюбезны достать дря меня докрад. Я рично побортаю с ним.

— Пожаруйста, приграшаю присесть. — Такахаси открыл папку, перелистнул ногтем мизинца несколько страниц, улыбнулся, словно ему было приятно видеть встре-

воженного человека.

— Раврентий Фрорыч Иноходцев. Эт-то — верикорепно! Совсем, как у Антона Павловича Чехова в «Рошадной Фамирии». — Он закурил, откинулся удобно на кресло. — Вы осведомлены о причинах приглашения?

Не дожидаясь ответа, он снова взялся за папку с заметной неохотой, словно ему было неприятно касаться дела, по которому вызвали Иноходцева.

— На вас поступира жароба, — начал он мягко, как бы жалея, что такая неприятность могла случиться, — что вы не оправдари своего рично-гражданского дорга. Вы приняри обязатерство сружить брагородной цери, вы папрари доверие ваших начарников и теперь это деро дошро до меня. Быро установрено, что вы критиковари постановрениа штаба и таким образом внесри неудоворствие в эмигрантской торще.

— Никаких неудовольствий я не вносил. Может быть я говорил, что не по духу. А вступил...

Он остановился, видя, что капитан не слушал его, а, прикрыв рукой ухо, погрузился в чтение бумаг.

— Вы покинури самоворно сружебный пост, после чего вас видери у советского консурства. В докраде изрожено.

— Проходил мимо. Может останавливался на мосту закурить или шнурок на ботинке развязался. Идя в Заканалье иначе не пройдешь...

— Заканарье! — вскрикнул Такахаси, побагровев; его рука задрожала, ударив гневно по столу. — А это что? — Он провел ногтем по листу. — Во время его дежурства в штаб проникри зроумышренники...

Такахаси рассвирепел, его лицо налилось кровью. Он вскочил, примял недокуренную сигарету, схватил папку и быстрыми шагами направился к выходу.

— К есауру Ссакреневу дря средства, — бросил он.

— Понимаю.

Иноходцев оглянулся. Только сейчас он заметил, что

в комнате был другой человек, дописывавший страницу за маленьким столом. Он продолжал сидеть, поигрывая кепкой, не зная, что делать. Ему стало смертельно тоскливо; он слышал голоса из канцелярии, где бывал ещё так недавно. Почему он ничего не ответил капитану на какие-то обвинения, о которых он не имел никакого понятия?

Он сделал движение привстать, но человек, сидевший за столом, сделал движение рукой остаться на месте. Петя секретарь, подумал он почти с облегчением. Сидели рядом... Встать и уйти? Соседняя комната, приемная, коридор — и улица, шумная, живая, полная народа, рикш. На углу трамвай, почти до дому.. «Ну, как, объяснил всё?» «Объяснять даже нечего было». «Значит, все хорошо?» «Хорошо, Поля...»

— Ну, что же? — Попытка придать голосу бодрость. — Кажется поговорили, что ещё?

— Обожди, паря, ещё не всё.

Прошло полчаса. Петя дописал страницы, сложил их, пробил на них две дырки, вдел в папку. — Пошли, паря.

Он открыл дверь в другую комнату, заглянул, нет ли там кого, и пропустил вперед Иноходцева. — Пройди сюда. — Петя открыл другую дверь, подтолкнул в спину Иноходцева. Дверь заклопнулась. Два поворота ключа.

Так неожиданно, зловеще. Бить в дверь кулаками, отодрать фанеру окна, разбить стекло, выскочить с криком на улицу?.. О чем кричать? Что я хочу сидеть в другой комнате, где сидят все, разговаривают, смеются...

Потом всё притупилось. Казалось, что сидел здесь давно, что ничего другого не было. Ни комнаты, из которой доносились голоса, ни той, в которой сидела Поля за чаем с разговором, похожим на журчащий ручеек.

Шаги у двери. Поворот ключа.

— Поди засиделся, паря.

— А теперь что?

— Съездим в одно место. Но чтобы было тихо.

Они вышли в большую комнату. Секретарь Петя заглянул в канцелярию и кивнул головой. Оттуда вышел, весело смеясь, Белогуб. — Вот, кого я вижу, да?

— Взял бумаги?

— С собой.

— Потопали.

Они вышли на улицу, два человека по сторонам Иноходцева. При виде их шофер ожидавшего автомобиля завел мотор. Петя открыл заднюю дверь и подтолкнул Иноходцева, задержавшись поговорить с шофером. Белогуб сел на переднее сидение. Вот открыть дверь с другой стороны, выскочить и побежать, что есть дух, по улице с диким криком. Пусть сбивают с ног трамваи, давят автомобили, всё же будет шум, протест, кто-то вступится. На утро газеты завопят о новом похищении человека среди бела дня. Впрочем, день не так уж бел... Вот сейчас, рвануть дверь... Но руки оставались покойной горкой на коленях, даже голова не повернулась взглянуть через окно на улицу.

— Трогай, паря, — сказал Петя, усаживаясь рядом с Иноходцевым.

— Сколько же всего набралось агнцев?

— Пока трое.

— А разговору то было! Кого ещё?

— Этот, как его, Рысцов? Нет, Иноходцев.

— А его за что?

— За фамилию! Ходит иноходью, то нашим, то вашим. Петя сказывал вроде того, что чуть не выловили у советского консульство. Может врет, не знаю. Теперь то можно всё.. А вот того, что с тросточкой...

— Да, тоняга такой, слегка тронутый. Его то за что?

— Петя сказывал, что покрыв кого-то чуть не по матери.

— Что-то помню, скандал какой-то был у Немезидиных. Когда же это было? Года два тому назад!

— Кому надо, тот помнит! Подвели, что встречается с кем-то... Знаете, как это можно!

— Это верно! Если надо подвести, сделают так, что сам поверишь. Кого же ещё?

— А этого, что икру поставлял. То из «моря наслаждения Рывкина», то от себя, не знаю. Этого Панталоныч замел. На чай всё приглашал, расспрашивал, что как.

— Странно, почему он Мохильковский? Звучит как-то дико.

— Для мягкости. Настоящая то фамилия может быть Могильников или просто Могила. Для звука, вероятно в этом и причина. Надо спросить самого.

— А за что же он замел старика?

— Жида, говорит, боюсь в нем.

— Вот и остались без икры, если нет Исая Давыдовича! Кто будет разносить по лавкам!

— Найдутся другие.

— Найдутся, конечно, а вот помяните мое слово, повысят цену на икру.

— Это уж навверное! А хорошо под первую рюмку!

— Неплохо и под вторую.

— Ежели ещё малосольная...

— Так пока всего на всего трое!

— Наберется ещё! Только начало.

— Думаете?

— Не сомневаюсь! Панталоныч доставит, да и главный не потрафит

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

Японские власти, захватившие к началу сороковых годов почти всё побережье Китая, придали политический оттенок тяньцзинскому делу, и Ильи Благобразов, после полуторогодовалого заключения, был освобожден.

...То памятное утро у себя в конторе Ниельсена с Сыновьями, свежий, чисто выбритый, в отличном костюме, просматривая утреннюю почту и поигрывая то ножом слоновой кости, то золотыми запонками, купленными за счет компании, когда он считал себя на высоте, недоступной для многих! И отчаяние, когда под вечер он смотрел сомерзением на чашку риса с вонючими бобами в страшной камере китайской тюрьмы.

Когда на десятый день появилась Евгения Андреевна, его последняя любовница, она нашла Илью совершенно убитым. Но ее появление воскресило его рванувшейся надеждой, что она совершит чудо. Но что могла сделать маленькая, заплаканная женщина, кроме преданного посещения за все месяца его пребывания в тюрьме!

И вдруг неожиданное освобождение. Опять город, теперь казавшийся чужим. За что взяться, как наверстать потерянное время? Кто поможет? Писать Иннокентию? Он даже не ответит. Отец примет блудного сына, но что он будет делать в медвежьем углу? Остается только Евгения, осунувшаяся до скелетной худобы, с кривой улыбкой на заплаканном лице, жадно курившая сигарету за сигаретой, ждавшая от чужих больше, чем от покорного мужа, которого за доброту и терпение она звала «мулом» и которого бросила ради Ильи.

Так прошло три месяца. Нечесанный, в пиджаке, со шлепанцами на босых ногах, целыми днями Илья проси-

живал на диване, раскладывая в сотый раз пасьянс, ожидая вечернего часа и тяжелого сна.

«Так не может продолжаться долго», твердил он. «Что со мной будет ещё через несколько месяцев? Во что я превращусь, не говоря уж о Жене! Она изведет все сигареты Британско-Американской Табачной компании, не оставив ничего для вывоза... И всё же — неужели ничего не осталось, кроме тигрового логова? Какой ужас!»

Он думал об этом постоянно, выискивая положительные стороны и утешая себя тем, что это на время, оправиться, а там что-то подвернется. Он оживал, раскладывал карты, азартно приговаривая «выйдет, выйдет!»

Когда всё созрело в его голове, он вышел в город справиться о пароходных рейсах в Корею и стоимости билета. Оставался только вопрос о прощании и деньгах. Без первого можно обойтись, сентиментальность вредна в решающих случаях. Деньги? Это не препятствие!

О бриллиантах и золоте в доме не могло быть и речи, всё, что украшало худую шею и руки Жени, было из стекла и позолоченной проволоки, но где-то запрятанным оставался квартирный фонд, не считая мелочи на расходы, да отложенных денег на зимнее пальто.

В скромной квартирке не так уж нужно много времени, чтобы найти заветную шкатулку, чулок, две-три книги, среди нечитанных страниц которых доверчивые женщины прячут деньги. Для Ильи, с его охотничьим нюхом к ним, достаточно было четверти часа. Но он ничего не трогал: надо было ещё посчитать, проверить.

На другой день после её ухода на службу, тщательно одетый, с жениным чемоданом в руке и билетом второго класса, в том приятном настроении, которое у него всегда появлялось перед удачной сделкой, уже на пороге, он послал воздушный поцелуй фотографии счастливой пары из под венца, Жени и Мула; внезапно размягший, он нашел листик бумаги и торопливо написал: «Дорогая Женья! Я причинил тебе много беспокойства и забот.

Единственно, чем я могу отблагодарить тебя и возместить всё, что я должен, это опять встать на ноги, подняться во весь рост, и тогда, вернувшись к тебе, зажечь настоящей счастливой жизнью. Твой любящий Илья».

Это был первый случай в её жизни, когда, столкнувшись с новым положением, Женя не заплакала. Она перечла записку, особенно то место, где говорилось о необходимости «встать во весь рост», и сказала покойным голосом: «Подлец ты, подлец!» Заглянув в шкатулку и поискав закладки в книгах, она добавила: «Вором был, вором и остался!»

На другой день она позвонила в контору сказать, что из-за простуды не придет на работу. Собрала брезгливо пиджаму и шлепанцы Ильи, сунула их в помойное ведро, открыла настежь окна, выбросила все сигареты и пепельницы, вычистила старательно квартиру, сняла пыль с мебели и свадебного портрета, заглядевшись на себя и полные щеки доверчивого мула. Она тщательно отмыла лицо, долго сидела перед зеркалом, изучая то одно его выражение, то другое; выщипнула несколько упрямых волосков из подведенных бровей, попробовала прически, идущие ей то днем, то вечером, то со светлым, то с темным платьем. Затем приготовила себе хороший завтрак, налила полстакана виски, что никогда не делала, и после двух часов крепкого сна принялась за письмо.

«Дорогой Муленька! Я причинила тебе много беспокойства и забот. Единственно, чем я могу отблагодарить тебя и возместить всё, что должна, это опять встать на ноги, подняться во весь рост, и тогда, вернувшись к тебе, зажечь настоящей счастливой жизнью. Твоя любящая негодная Жenuленька.

PS. Отвечай немедленно, жду доброй весточки».

Катя долго вглядывалась в человека, медленно шагавшего от ворот к крыльцу, пока не узнала его и не бро-

силась ему навстречу.

— Ильюша, вы ли это, родной? — воскликнула она, не решаясь назвать его на ты после такой долгой разлуки.

Перед ней стоял не тот прежний легкомысленный юноша с малиновым румянцем на упитанных щеках и чуть наглыми глазами, а мятый, трепанный человек с отекившим лицом и пустым взглядом. Украдкой, как только можно, она оглядела его, пока он ставил чемодан на крыльцо и вытирал платком потное лицо.

— Вы что же пешком с вокзала? Почему не позвонили оттуда? Что же я держу вас у крыльца!

— Как отец?

— Слава Богу, все хорошо. Хозяйство Игнат Степанович такое развел, просто на удивление всем! Вот отдохнете, — Катя замялась, чтобы он не подумал «после тюрьмы» — с дороги... Заходите в дом, дорогой Ильюша! Дайте мне ваш чемодан. Вот уж радость Игнату Степановичу! Проходите сюда, Ильюша, здесь есть и помыться и всё, что нужно, а я пошлю корейченка за Игнатом Степановичем. Да и накрою закусить.

— Мне бы водки, — глухо сказал Илья, тревожно поглядывая на Катю, словно боясь, что просит чего-то невозможного.

— Само по себе, как же с устатку то! Вот обрадуется Игнат Степанович!

«Обрадуется», думал Илья, снимая пыльный пиджак и потную рубашку; он сел на кровать, опустив локти на колени и свесив голову. «Есть чему радоваться старику», злорадствовал он. В этот момент с шумом распахнулась дверь и быстрыми шагами вошел Игнат Степанович. Он обнял сына, крепко прижал к себе. У обоих что-то крякнуло в горле, оба всхлипнули. «Отец», воскликнул Илья. «Не надо, не надо», ответил отец, обводя мокрыми глазами стены комнаты.

— Ты вот что, сынок, — сказал отец, когда они успокоились оба, — передохни малость, а перед завтраком я

покажу тебе, что у меня здесь делается. Обойдем, увидишь, глаз у тебя зорче, укажешь, что не так. Для кого же я расканиваю, как ни для вас, сынков! Так я пойду, пока ты пригодишься... Ты прости старика, Илья, я так горю нетерпением показать тебе наше хозяйство.

Он ушел. Услышав легкие шаги в коридоре, Илья приоткрыл дверь.

— Катя, — позвал он чуть не с мольбой.

— Ах, да, сейчас пришло с мальчиком.

Когда принесли графинчик водки, свежей редиски и малосольных огурцов, Илья вскочил, лихорадочно потер ладонь о ладонь, выпил торопливо несколько рюмок, пожевал половиной хрустящего огурца, и когда вернулся отец показать ему Раздолье, он лежал навзничь, раскинув руки, с раскрытым ртом, успев сбросить ботинок только с одной ноги.

Отец постоял с полминуты, глядя на сына с приливом тяжелого чувства, вытеснившего первоначальную радость встречи, и на ципочках вышел из комнаты.

За столом Илья ел мало, косился на водку, но не решился просить больше после того, как отец, допив вторую рюмку, сказал: «Баста, ещё работа впереди на весь день». К нему вернулась прежняя брезгливость, он ковылялся вилкой в тарелке, пытливо разглядывал куски мяса и овощей, отшатываясь в испуге от пролетевшей мухи.

Над долиной, опоясанной гранитным кряжем мощных гор, царствовало бабье лето. Приятный зной разливал истому и казалось всё в Раздолье было разнежено им: обитатели усадьбы, дачники из Китая, домашний скот, собаки, птицы, жучки, мотыльки, астры и георгины, горевшие жарким огнем.

Вначале Илья загорелся энтузиазмом. Обойдя с отцом усадьбу, он поразился её размером, постройками, порядком; на всем чувствовалась добротная хозяйская рука. «Такой простор», восклицал он, «действительно Раздолье,

вот, где жить и работать!»

Позади дачных построек, вблизи леска, он отошел от отца, прикинул глазом пространство, всунул в землю палку, прошел размеренными шагами какое-то расстояние, воткнул там другую палку, сделал поворот под прямым углом, повторив все движения, пока не дошел к начальному месту. Вернувшись к отцу, заинтересованному его движениями, Илья хитро посмотрел на него. «Хорошо», думал отец, «затевай, что хочешь! Для вас же, сынков, стараюсь, мне, старику, пора на покой».

За обедом Илья горячо говорил о необходимости создания повсеместно таких образцовых хозяйств, как Раздолье, что значительно подняло бы экономику всего мира. Он разгорался всё больше, заглядывал пытливо в глаза немногих оставшихся дачников, часто мигал ресницами и, не стесняясь, тянулся к графину. Но материальная сторона ещё не всё, неся он дальше; заботясь о теле, не надо забывать и душу. И здесь... Он замолкал, торжественно оглядывая всех за столом, давая им понять, что у него что-то за пазухой, но об этом молчок! Отцу становилось неловко, да и дачникам надоедала болтовня Ильи. Катя, следившая за подачей блюд, бросала на Илью тревожные взгляды, и он, человек чувствительный и обидчивый, замечал это, замолкал и наливал себе ещё водки. Он заметно хмелел, темнел в лице, раздраженно ковырялся в тарелке и брезгливо рассматривал, что попадалось на вилку.

Вечера были прекрасны. В саду, после поливки, поднимался запах табака и гелиотропов, шелестели от легкого ветра золотистые листья берез и тополей. С отрогов доносились чистые голоса певцов о любви, счастье, надеждах — и дальние горы отзывались радостным эхом.

У себя в комнате Илья ложился на кровать с руками под головой и начинал думать о чем и сам не знал, по привычке, сохранившейся с тюремных дней гнать время.

На утро он опять загорался, критически осматривал

местность, ходил размеренными шагами, переставлял колышки, записывал что-то на бумаге. «Вот здесь самое подходящее место», говорил он, сядя на бугорок в тени от солнца; «лучше не найти!» Он ложился на спину и снова начинал грезить. А грезил он о постройке кафешантана на подобие того, как в Чите, в котором он кутил в расцвет военной карьеры. Но здесь он был бы председателем или почетным попечителем, каждый вечер в смокинге, в компании красивых женщин, крупных дельцов, заходил бы в клубную комнату, подсесть на часик к картам, а потом, в компании тех же красивых женщин, развернуть туго накрахмаленную салфетку и приняться за внимательное изучение меню...

Мысли об еде вернули его к действительности; до полдня ещё далеко, да и что подадут на завтрак? Опять тот же салат и окрошку? И квас? В раздражении он встал с места, сердито сбил ногой несколько колышков. Нужны ли этим людям здесь что-то утонченное, возвышенное? Им только дай коровники и больше капусты к засолу...

Прошло бабье лето, наступила золотая осень, чудеснейшая пора в Корее, лучше которой не найти во всем мире, когда всё утопает в легкой желтизне тополей, розовеет гранит горных кражей, теряясь очертаниями в сиреневой дали, наливаются кирпичным цветом персилены в легком кружеве голых ветвей и вся природа застывает в безмолвной зачарованности.

Дачники разъехались по домам и Раздолье притихло в привычной колее занятости. Видя, что Илья томился от безделья, отец подбивал его охотиться. Пролетали в небе косяки гусей и уток, поля были полны фазанов, куропаток, бекасов. В горах водились олени, козы. В густых лесах матерыс охотники выслеживали уссурийских тигров, двоюродных братьев бенгальским.

Илья попробовал ходить с отцом, но ему было тяжело карабкаться по горам и с полдороги он возвращался домой. Когда же приходил отец, приятно уставший, с

ягдташем, набитым дичью, Илья смотрел на него с завистью, жалея, что не пошел с ним дальше.

У Ильи не было ни дела, ни денег, к которым он так привык. Отец давал ему на расходы, но этого было мало. Он стал тянуть деньги у Кати, у которой было скоплено кое-что на черный день, и выбрал всё, что мог. На железнодорожной станции он завел себе женщину и бросил её, как только она забеременела, и отец молча покрыл всё деньгами.

К этому времени расхождение углубилось ещё больше, но ни отец, ни сын не хотели и не могли сгладить разлад. Илье некуда было деваться и он знал, что его отсюда никуда не погонят. У отца же было вросшее в душу чувство вины перед сыном, что-то он не доглядел, не пытался исправить слабость сына и теперь должен нести молча крест.

В конце ноября всю ночь большими хлопьями валил снег и на утро всё живое в Раздолье пришло в неописуемый восторг. С оглушительным лаем, как одержимые, носились по снегу собаки, зарываясь в сугробы, катаясь по пушистому покрову, носясь друг за другом, перехватывая на ходу вырвавшегося из конюшни ошалевшего корейского пони Красавчика. Черные галки прыгали по снегу в оглушительной болтовне. Каркали азартно вороны на занесенной снегом навозной куче. Кряжи гор слепили сверкающей белизной.

— Снегу то навалило. — крикнул Игнат Степанович Кате, стоявшей на заснеженной веряеде.

— Красота то какая, — отозвалась она, восхищенно глядя на заиндеветшие деревья, цепь побелевших гор.

В десятом часу утра, проснувшись с тяжелой головой, Илья подошел к окну, откинул портьеру и мутными глазами взглянул на занесенную снегом усадьбу и опять пошел спать.

Если появлялись редкие гости и оставались на обед,

Илья оживал, заводил за столом споры, горячился, много пил, становился неприятным. Если ему возражали, он махал нетерпеливо рукой: «что мне с вами, идиотами, говорить», мрачно умолкал и после обеда шел к себе. Он бросался на кровать, закидывал руки за голову, прислушиваясь к голосам внизу и жалея, что оставил живую компанию.

А внизу в большой комнате весело трещали в камине дрова; в углу, за обычным шитьем, сидела Катя, судачили гости; Алексей Гуськов, заведовавший лошадьми в усадьбе, пел глухим тенорком чувствительные романсы и брэнчал на гитаре; приходил с женой другой помощник Игната Степановича и Катя говорила ему: «А теперь и вы, Маркел Фомич, спойте вашу любимую», и плотный человек с приятным белым лицом, выставлял вперед ногу, засовывал за пояс большие пальцы рук, поглядывал на Гуськова, готов ли тот с аккомпаниментом, и сладким голосом запевал «Я здесь пою так тихо и смиренно»...

Илья прислушивался, мучаясь мыслью спуститься вниз или оставаться у себя, ожидая ночи. Это было то, что пугало его — бесконечно длинные зимние ночи! Если он не засыпал сразу тяжелым дурманом, он начинал теснить свою голову воспоминаниями, сперва приятными, гоня прочь всё другое, что тревожило бы его. «Такого соколика, да не допустит!», улыбался он самодовольно, вспоминая слова богомолки о нем и жене мукомола. А дом, в котором он жил главным директором компании по истреблению вредителей! Какие глупые немцы потерять такого золотого работника! А роскошная жизнь в других городах, а женщины! Как это всё было легко и доступно! А костюмы от дорогих портных, а тонкое белье... золотые вапонки... Это сразу пугало его, он закрывал в страхе глаза, отмахивался в темноте руками от чего-то грозного, что опять надвигалось на него; он спускался вниз по подушке, зарывался, как напуганный ребенок, в одеяло, прислушиваясь настороженно к громкому биению серд-

ца. Он дрожал, судорожно крестился, готов был дать любое обещание, чтобы какая-то неминуемая беда пощадила бы его на эту ночь.

Это его успокаивало; что завтра — дело другое. На эту ночь пронесло, но он знал, что до раннего утра сна не будет. Он заставлял себя встать и спуститься в кухню, где пробирался к буфету и в темноте нащупывал графин водки, наливал полстакана, выпивал, присаживался на табурет, глядя на заснеженную ночь и пугаясь её. Он наливал полный стакан и тихо крался с ним к себе.

Ночные похождения Ильи не оставались незамеченными. Игнат Степанович и Катя, спавшие в разных углах дома, вздыхали и думали одно и то же. Утром, как по сговору, они делали всё возможное, чтобы не промолвиться словом.

В одну из таких перепуганных ночей, после изрядного количества водки, Илье показалось, что у него перестало биться сердце. В страхе, в одном белье, он выбежал с криком в коридор и там упал. На шум из своей комнаты выбежала со свечей Катя. Увидев её в ночной рубашке, Илья оживился, обнял её, стараясь затащить в её комнату.

— Что вы, Ильяша, опомнитесь! Господь с вами! Идите к себе и ложитесь спать. И не пейте так много водки по ночам.

По дороге к себе Илье показалось, что в другом конце коридора в полуоткрытой двери стоял отец.

ОТКРЫТЫЙ ПУТЬ

Иннокентий знал безошибочным чутьем, которое появлялось у него перед большими переменами в жизни, что неопределенное время ожидания чего-то прошло и что он вышел на широкую дорогу.

У него было чему радоваться. Связь с Такахаси, силой позади знаменательного движения в сорокатысячной русской колонии Шанхая, была прочна. Самое важное в ней было то, что оставаясь позади, он мог придавать этому движению тот или иной ход.

Радовал его и успех правления нового эмигрантского комитета по проведению в жизнь мероприятий, намеченных им в докладе «Некоторые Мысли об Упорядочении Положения», как, например, возврат к старому иулианскому календарю и старому правописанию с буквой «ять», твердым знаком и прежними грамматическими правилами, обязательное великопостное говение и свидетельство о принятии таинств святого причастия от священнослужителей, освобождение общества, особенно юношества, от пагубного афро-американского влияния в форме непристойных танцев вроде фокстрота, шимми и т. п. и замена их прежней прелестью вальса, мазурки, польки-кокетки и казачка. Для внешкольного развития юношества вводились выпиливание лобзиком и выжигание по дереву в стиле Билибина, а для девушек — рукоделие, вышивание болгарским крестом по канве и т. п.

Всё шло, как по расписанию, иначе он не поместил бы имена Серобородько, Пестрякова, Гулейко, Косоротова и Вечкина в своем докладе, как людей, подававших большие надежды.

Радовал его и успех «операции ветхозаветных агнцев».

её ошеломляющее впечатление на эмигрантскую колонию, знавшую по опыту Харбина и Тяньцзина, что может сулить им будущее.

Радовал его и усиленный темп гонения на Мельцера; пущенные слухи, что большая часть колонии считала его несоответствующим своему назначению крепили и что он «вредная и опасная личность». Ещё недавние приверженцы Мельцера с интересом слушали, как на общем собрании колонии гастролеры из Заканалья травили его, обвиняя его во всех грехах, вплоть до принадлежности к одной из масонских лож, к которым принадлежали три четверти деловых и правительственных кругов Шанхая.

Иннокентия радовало, что затравленный Мельцер отбивался яростно от своих врагов. «Хуже было бы, если сдал бы свои позиции без боя и таким образом лишил бы удовольствия других!»

Английская полиция знала, что происходило в русской колонии; знала и о похождениях своих служащих — Мохильковского и более скрытных Благообразова. Последнего опрашивали особенно обстоятельно о трех известных случаях исчезновения людей в колонии. Что он знал об этом? Подавал рапорт. Вел следствие? Не было дано никаких указаний. Знал их лично? Возможно встречал в многотысячной колонии.

О связях его с японскими властями не решались спрашивать: в июне, в самый разгар деятельности Национального Штаба в русской колонии, пал Париж, а за две недели до этого капитулировала Бельгия, немецкие войска оккупировали Голландию, Данию и Норвегию — и Британия, вступившая в войну с Германией после нападения последней на Польшу, была изолирована. Незадолго до этого Япония заключила с Советским Союзом пакт о ненападении и, одушевленная военными успехами Германии, сама лихорадочно готовилась к дальнейшей военной экспансии. О чем можно было спрашивать?

— Что это за переполох в городе? Все говорят, волнуются, что-то предсказывают, одна я ничего не знаю, в чем дело. Расскажите мне, Василий Иванович, что происходит.

— О чем это вы, Варвара Ивановна?

— О том, о чем вы знаете, а набрали воды в рот. Кто позади всего этого?

Выдра вытаращил глаза, руки у груди в красноречивом движении «кто — я»?

— Довольно паясничать, по глазам рыскающим вижу, что знаете, пожалуй и руку приложили. Одного, говорят, взяли за теплые подмышки с брачного пира. Поди молодая до сих пор не может прийти в себя!

— Как бы опять не благословил на счастливый брак!

— О чем вы бормочете?

— Так, на свои мысли... О чем вы спрашиваете?

— Все о тех же пропавших людях. Сколько их уже?

— Не знаю ничего и знать не хочу, скажу, как на исповеди... С другой же стороны в большом городе всегда кто-то растворяется...

— Об этом растворении я и хочу знать. Кому оно нужно? Вашему другу-благодетелю?

— Моему другу и благодетелю? — Выдра передернулся и замахал от волнения руками.

— Который вас и из темницы избавил и к брачному чертогу привел — сами же рассказывали. А откуда это выражение «ветхозаветные агнцы»? Что-то похоже на вас.

— Господь с вами, Варвара Ивановна! Такой поклев на круглого сироту! Ни словом, ни духом...

— Не смешите меня, я уже смеялась сегодня достаточно. Вы так и не ответили мне, как глубоко в этом растворении ваш благодетель. Только не тряситесь и не бледнейте. Вы знаете, о ком я говорю. Можете быть со мной совершенно откровенным. Начнем с того, что вы не такой человек, чтобы сеять слухи... или такой?

— Поклеп, поклеп!

— Я и сама думаю, что не такой... Но вот, например, о списках...

— Ничего не слышал! Какие списки?

— А те, в которых упоминалось о том, что загребут и Люто-Кобылина.

— Совсем не так. Если что и упоминалось, то только то, чтобы он играл в театре для...

— Вот я и поймала вас! То вы не знаете, то знаете, да молчите... Значит о вашем благодетеле всё правда?

— Да для чего же вам это нужно знать, Варвара Ивановна, только себя растривать. Подумать только о ком вы говорите! У меня бы голос не поднялся! И для какой цели!?

— А вот для какой: если придется — мало ли почему? — стать сукой, то надо стать такой, что поразишь даже самую себя.

Репетиция на веранде Тихая Заводь. Продавленное кресло, перед ним, как тупой ученик, Лютин-Ковылин. Сиплый хрип старого актера ещё противнее от раздражения. Фраза из «Осенних Скрипок», которую первый любовник должен передать так, как читает Феодор Максимович. Он также знает, что в таком то месте он должен сделать «шелестящее придыхание» и качнуться корпусом с припаданием вперед. Но зачем, думает он, нужно это делать здесь, перед Немезидычем и мечущимся в клетке корнетом фон Выпивон? Другое дело сцена!

— И не пожимайте плечами, — сипит в раздражении старый актер. — Это жест лавочника, если покупатель заявляет, что его рыба смердит. И перестаньте смотреть на попугая, это вам не суфлер, с которого вы глаз не сводите на спектакле. Начнем сначала. Повторяйте за мной.

Но повторять не пришлось. На веранде показалось два человека.

— Вы, конечно, не откажете есаулу Скокленеву.

— В чем дело на этот раз, — просипел Немезидин.

— Вы — русские, мы — русские, да? — заговорил с игривым смешком другой. — Цель общественная, на благо всем, да? Теперь требуется бодрое, патриотическое, да? А скрипки! Кому нужны? — счастливо захихикал Белогуб. — Придется отменить.

— Как это? — поднялся во весь рост Немезидин.

— Вы же не откажете есаулу Скоклёневу! Вы, конечно, за новый порядок, так чего же говорить! Значит, все новое.

— Кто же вам в театре будет ставить «всё новое», — надменно прошипел ледяным тоном старый актер.

— А соратник Кобылкин, да? Так вы завтра в штаб, да? А мы потопали.

— Соратник Кобылкин? — Затяжной горький смех, осатанелое метание в клетке, надсаженный крик «отставить». — Ты слышишь, Аделаида?

— А почему и нет, — обиженно отозвалась Тоша Ковылина, сидевшая в комнате Аделаиды Викторовны. — Мой первый любовник и ставить будет и сам играть, да еще без всякой указки.

— Нет, подумать только! Отобрали у Стоянова его любимое детище, печатный орган, захватили несчастного Исай Давыдыча, какую неделю сидишь без икры! Теперь добрались до храма искусства, разваливают его по камням, снимают спектакли, ставят своих постановщиков, какого-то Кобылкина! Так и на афишах аршинными...

— Что ты волнуешься! Ну и пусть ставят другие, перестанут ругать тебя, будут лаять других, спать будешь лучше. А насчет икры — вспомни, кто говорил Панталончу, что, мол, у Исай Давыдовича в глазах сионская грусть...

— Так ведь это же...

— Сказано идиоту! А теперь плачешь без икры.

— Ты что-то, Варенька, кашляешь последнее время нехорошо. Куришь втихомолку, что ли?

— С чего ты взял, старик! Если бы и курила, никого не спрашивал бы.

Иннокентий впился взглядом в Варвару: мятое серое лицо, странный блеск в глазах, невызванный ничем громкий смех, прерываемый надсаженным кашлем.

— От жары?

— Что от жары?

— Такой усталый, я бы сказал — увядший вид.

— Потянуло на свеженькую, прямо скажи! Отчего же у меня усталый вид! У тебя — понятно, рыщешь в самую жару по городу, нахватал всяких дел, завел моду работать по ночам, а теперь еще и по воскресеньям! Нет того, чтобы взять меня и Нюрку и покатать в Вестсайд, места тебе знакомые, ты, кажется, свой человек в Заканалье!

Иннокентий нахмурился, выпятил челюсть, уперся в пол глазами. «Выдра скотина рассказывает... А что случилось с бумагами? У нее?»

— При таком затяжном кашле тебе надо лечиться, а то и в госпиталь лечь. Я это могу устроить.

— Можешь, а? — Варвара почувствовала в голосе Иннокентия что-то новое, похожее на угрозу. — Если у меня затяжной кашель, почему у тебя такое затяжное раздражение? Может быть тебе, старик, нужно в госпиталь? Что тебя грызет? У тебя такой озабоченный вид, словно ищешь что-то и не можешь найти.

— Ты, Варенька, как всегда, права. Не могу найти, но это ещё не всё...

— Что же — всё, отче Инноченце? Если пакетик маленький, ты его ещё так тщательно, с такою любовью упаковывал!, так когда же это было! Ты же сам отнес кому-то, пожалуй, ещё с наставлением не заглядывать в него, кому не положено...

— О чем ты говоришь? О каком пакетике? Откуда ты взяла это? А вот то, что у меня пропали бумаги и где? — дома! Что ты, Варенька, скажешь? А сказать ты должна, ты, ведь, знаешь всё.

— А я тебе скажу, — с громким смехом и кашлем ответила Варвара.

— Ты взяла? — раздраженно вскрикнул он.

— Вот уж накинулся, как коршун на цыпленка, — ты взяла? А ты видел? Застукал меня на месте? Или разгрызается твоя необузданная подозрительность?

...Худеющее лицо, свисающая кожа между плечами и локтями, руки, как плети, судорожно стягивающийся рот. Мало привлекательного. На сколько лет старше? Если на 17 лет старше Ольги, а он старше Ольги на пять, разница в двенадцать лет. Одна в мире, хищническая цепкость, жадность к жизни. Боязнь потери, самозащита...

— Хорошо, старик, — заговорила Варвара, напряженно смеясь и кашляя, остро напрягая зрачки лихорадочных глаз, — выложим карты на стол! Я нашла кое-какие бумаги, по которым можно судить, что ты не только...

— Где нашла?

— А у тебя в столе. Совершенно случайно. Сметала пыль, ну, и наткнулась...

— Что же ты знаешь, Варенька, — залепетал он, — у меня слов нет...

— И не надо, старик! Я найду их за тебя. А позже ты подтвердишь, права я или нет. Беспокоиться тебе нечего. Потом, если что не так, надумаешь что-либо и я узнаю, дело другое, тогда не взыщи... Тут как-то один крутился у советского консульства и докрутился. Заметили, а у него тоже бумаги, а то и катушка, бежал домой жечь, говорят, чуть дом не спалил, а все равно выловили.

— К чему это ты...

— А к тому, что зачем жечь, если всё в сохранности, тебе беспокоиться нечего.

— Где бумаги, — сдавленно спросил он, сдерживая нарастающий гнев.

— Чуть не сжег дом, так перепугался, бедняга...

— Где бумаги, — крикнул он, беря её крепко за руку.

Она старалась вырваться, но он не отпускал сжатых

пальцев вокруг её кисти.

Она пыталась засмеяться, но закашляла ещё надсаженнее.

— Больно, Иннокентий! Пусти, — простонала она жалобно, внезапно побледнев. Тонкая струя крови вырвалась из её рта на подбородок и потекла по горлу.

— Варенька, что это такое, — ошеломленно залепетал Иннокентий. — Что с тобой? Почему кровь?

— Ничего, Иннокентий, не беспокойся, это от волнения... Я на самом деле кажется больна... Но ты не прячешь меня в госпиталь, правда, нет?

Иннокентий не сводил глаз с её рта, подбородка, горла. Он всегда боялся крови, вид её приводил его в трепет. Другое дело, когда не видишь её...

— Госпиталь? Зачем, Варенька! Я возьму тебя к врачу. Я знаю, что он скажет: Египет с сухим воздухом, песками или киргизские степи с кумысом... Докторская выдумка, блажь. А сосны, горный воздух, здоровая пища — это в наших пределах! И ты поздоровеешь сразу же. Такое место у отца в Корее, целое имение...

— Так я одна там?

— Зачем же, Варенька! Тебе бояться нечего! Ты, Нюта, я, все вместе!

— Правда? Спасибо, Кеша. Спасибо, родной.

САКУРА В ЦВЕТУ

«Должно быть здесь у поворота к сухому руслу реки, к группе серых домов. Как можно забыть за два года!»

Роман спешил снова повидать Айко-сан, хотя мог бы сделать это много раньше по прибытию в Японию. Что кинуло его искать японскую девушку, которую он никак не рассчитывал увидеть опять, было дело Веселинова, его сослуживца, и он искал, не признаваясь в этом себе, отход от одиночества.

Две недели тому назад японские жандармы арестовали Веселинова утром перед уходом на службу в бюро агентства. На третий день после ареста представитель Министерства Иностранных Дел заявил на пресс-конференции, что Савчо Веселинов, корреспондент агентства Гавас, арестованный по обвинению в шпионаже, выбросился из окна третьего этажа токийской военной полиции и умер через полтора часа в госпитале. Дальше сообщалось, что при осмотре трупа была найдена записка, адресованная его жене. «Справься в бюро относительно ренты и страховки». Затем шла загадочная фраза: «Я знаю, что лучше. Ты всегда моя единственная любовь. Со мной обращались хорошо, но у меня нет сомнений, что будет дальше». После чтения представитель министерства добавил, что «ввиду вышесказанного, нельзя не признать, что по ходу расследования обвиняемый знал, что ему не избежать суда за его преступление...»

...В поисках выхода из одиночества... Что-то здесь изменилось, как будто новые дома, но то же русло, песок, глина... Должно быть здесь.

Утро свежего весеннего дня, легкие, как руно овец, белеют облака в сиреновом небе. Розовеют вишни в цвету по другую сторону русла. Он прошел дальше, пересек

пыльную улицу, свернул в темный переулок и вышел в поле, обсаженное вишнями, под осыпающиеся лепестки и сразу узнал место, откуда повернуть к знакомому дому.

...В последний раз видели Веселинова выходящим из дому в сопровождении двух жандармов с красными повязками на руках и пристегнутыми револьверами. Он казался бледным и озабоченным, но шел бодро, довязывая галстук на ходу. Затем его видели у входа в кирпичное здание, вблизи Армейского Дома, у берега канала Императорской площади, по другую сторону которого за каменной стеной поднимаются крыши дворца... В бюро обсуждали арест Веселинова, теряясь в догадках, в полголоса, боясь, что кто-то услышит и повторится та же история с новым действующим лицом. Вечером сказали его жене, что он чувствовал себя бодро, но ему ещё не позволено свидание с посетителями, даже с ней. Но она может принести ему смену белья, табак, фрукты... Когда после его смерти она пришла за его вещами, она нашла свою передачу нетронутой, как оставила ее в приемной у дежурного жандарма...

Шум детских голосов заставил его очнуться. За цветущими деревьями девочки играли в приготовление пищи, укладывая на черепки посуды листья и молодые побеги.

Очарованный этой древней, как земля, игрой, Роман сломал два прутика и направился к ним. При виде его дети испугались, готовые бежать. У дверей домов показались встревоженные женщины. Он подошел к разложенной циновке, присел на корточки, захватил палочками несколько листиков и почек, поднес ко рту, втягивая воздух и закатывая от блаженства глаза, сказав по-японски: «Хм-м! Как вкусно! Может быть чуть больше сои!»

Он поднялся под восхищенное щебетание детей и смея женщин — и тяжелое чувство гнета вновь охватило его.

Дойдя до конца тропинки, он остановился. Никого не было вблизи, но ему показалось, что когда он подсел к

девочкам, два человека следили за ним издалека. Утреннее солнце грело ласково, всё плыло безмятежной радостью в легком весеннем воздухе; всё казалось чистым и беспечным, как звонкий смех детей, счастливый лепет, восторженные возгласы.

...По словам жандармов Веселинов выбросился из окна во время допроса, никакого насилия над ним не было учинено. Следы же подкожных впрыскиваний на груди и ногах объяснялись попытками врачей спасти его. Неподписанное письмо, переданное жене Веселинова, вначале показалось ей написанное им, но позже она не была уверена в этом. Факт самоубийства, настаивали жандармы, был достаточным доказательством признания вины. Но могло быть и другое, о чем еще тише и сдержаннее говорили в бюро: Веселинова выбросили из окна после того, как дали ему впрыскивание для притупления воли и замучили до смерти во время допроса. Виновен, невиновен, не составляет разницы. Любого иностранца можно заподозрить в шпионаже: достаточно найти у него газеты с подчеркнутыми местами, как пароходные расписания, урожаи риса и т. п. Цветная брошюра о феодальных замках в его руках могла быть достаточной уликой. Вначале при допросах не торопились с применением пыток, выжидая признания виновности, но когда начинали допрашивать, допрашивали беспощадно, способами, доводящими до потери воли, ума, час за часом, днями и ночами...

Роман вернулся к пологому берегу пересохшей реки, где бродил час назад, припоминая дорогу к знакомому дому. На возвышении у дороги стояло три человека, из них один в длинном до пят пальто, с поднятыми вверх руками. Двое других — один в полицейской форме — снимали с крючков, пришитых к внутренним полам его пальто, различные вещи, как кимоно, пояса, шарфы, пока вор послушно поворачивался из стороны в сторону, чтобы им было удобно, смотря рассеянно вдаль, словно

его не обыскивали, а снимали с него мерку для костюма.

... Знакомые японские газетчики с откровенностью и знанием дела говорили, что вряд ли жандармы дошли до пыток, могущих закончиться смертью в три дня. На это понадобилось бы больше времени, чтобы замучить человека и затем симулировать самоубийство, выбросив его за окно...

Вот этот дом! Как мог он забыть дорогу! Он вошел в переднюю, снял ботинки. На его приветствие «Гомэн кудосай» никто не отозвался. Запах рыбы, жареной на бобовом масле, засоленной редьки-дайкон, отхожего места. Он поднялся по лестнице, тихо раздвинул оклеенную бумагой дверь в полутемную комнату.

— Айко-сан, — сказал он нежно, усаживаясь на циновку рядом с её тюфяком-футоном, заглядывая с острой грустью в её желтое исхудавшее лицо. — Я опять здесь, как обещал, теперь уж навсегда.

Она повернулась к нему лицом, всматриваясь в него, не удивляясь, что он рядом с ней, словно не было двух лет разлуки.

— Я скоро умру, папа-сан, — сказала она чуть слышно, протягивая ему тонкую руку.

Он смотрел на неё с жалостью и любовью, нежно держа её пальцы и глядя по руке.

— Смерти нет, Айко-сан, только долгое плавание, когда отдыхает тело и душа... Новые моря, острова, птицы, вечное солнце... Смерти нет...

— Я знаю, папа-сан... — Она прошептала ещё несколько слов, но он разобрал только одно — «сугуе»; вероятно она хотела сказать: «воображаю, как хорошо».

Она задремала, тяжело дыша. Он тихо поднялся и пошел к створчатым окнам, чтобы впустить свежесть весеннего утра. Потертые циновки, затхлость. Тяжелое, как тюфяк, одеяло. Восковое лицо на коричневой подушке. Голубая ваза с синими цаплями и засушенным цветком. В углу зеркало в красной раме, перед ним ба-

ночка помады, гребешок; в другом углу на лакированной распалке кимоно золотистого цвета с синими ирисами, в котором она ездила с ним в первый раз в Атами, где в отельной комнате над морским берегом она выпила виски, чтобы тяжело заснуть и не знать, что случится с ней. Он снял его с вешалки, подержал бережно в руке, словно в нем еще хранилось тепло молодой девушки.

Он хотел уйти, не разбудив её, и вернуться позже с цветущей вишней. Она тяжело дышала, придавленная толстым одеялом; он осторожно поправил одеяло, с глубочайшей жалостью и грустью глядя на её лицо, озарившееся на мгновение слабой улыбкой...

Громкие голоса внизу задержали его у дверей; он выглянул в приоткрытое окно и отшатнулся: внизу стояли жандармы с красными повязками на рукавах. Его сердце замерло. За ним? Спуститься вниз, чтобы они не пришли сюда и не напугали бы Айко? Он осторожно задвинул раму, заставляя себя дышать равномерно, и подошел к двери, чтобы при первых шагах по лестнице выйти им навстречу... Несколько коротких команд лающими головами... Женский крик и плач, полный горя и отчаяния... Клик взведенного курка... И тишина, показавшаяся бесконечной... Вновь голоса, но уже не внизу, а на улице...

Роман прошел к окну: на улице жандармы уводили молодого, казавшегося мальчиком, человека в полувоенной японской форме. Подождав, пока они скрылись за углом, Роман тихо, чтобы не будит Айко, спустился вниз. На его шаги вышла заплаканная женщина.

— Что случилось?

Она забилась в плаче, закрыв руками лицо.

— Он был всё, что осталось у меня, самым дорогим в жизни... Ах, если бы я могла рассказать всем! Но я скажу вам. Пусть вы, как иностранец, будете знать... В этой комнате... мне двенадцать лет... родители спали наверху, приполз брат и изнасиловал меня... каждую ночь в течение многих лет, пока он не женился... Почему я молчала

все это время? Боялась, как старшего брата? Жалела, как горбуна? Через несколько дней после женитьбы он снова пришел и началось то же самое... Обрадовалась, что он заболел туберкулезом, больше этого не будет! Ожила — тут я и встретила Теру, совсем еще мальчик, лет на шесть моложе меня... Отец японец, мать русская, тихий, ласковый... Так грустно, когда рассказывал о себе, отец не любил, в школе дразнили, мать жалела, но и всё... Я жила одна, родители умерли, брат не приходил, Теру со мной... Но Теру призвали в армию, должны были отправить в Китай... не жаловался, но я знала, как ему было тяжело, такой нежный, хрупкий... Что я могла ему сказать. Он сам понял это... полгода в маленькой комнате, прячась от всех... Когда человек счастлив, он не думает ни о чем... Шесть лучших месяцев моей жизни... И вдруг появился выздоровевший брат. Вышла ссора и на защиту меня показался Теру... Это было вчера вечером, а сегодня забрали Теру... Вечером опять придет брат. Что я буду делать!?

Бедная комната, истрепанные циновки, печать подавленности, покорности... Жандармы из высокого здания у канала Императорской площади, спрятывающим видом из окна третьего этажа, но не для того, чтобы выброситься из него...

На улице оживленно судачили женщины о поимке дезертира у соседки. Жалобно скулил привязанный к забору щенок.

— Я так люблю сакуру в цвету, — сказала Айко, повернув голову при появлении Романа с охапкой цветущей вишни. — Я так обожаю весну. Узна парк, много народу, нарядные кимоно... Я хочу быть там, сидеть под вишнями с папа-сан... Так легко кругом, розовые лепестки... нет боли. Я не хочу умирать, папа-сан.

В слабом движении её руки было сказано так много, что у Романа защемило в горле и он отвернулся, боясь, что покажутся слезы.

— Что случилось внизу? Шум. Мне казалось, что какое-то несчастье. Я только и думаю, что обязательно что то должно случиться...

— Ничего не случилось и не случится, Айко-сан. Ты скоро поправишься и мы опять поедem в Атами. Помнишь прибой моря, луна над апельсиновыми рощами, запах сосен. А следующей весной мы пойдem в Уэна парк, побродим у пруда, полюбуемся чашечками лотуса, отражением в воде твоего кимоно.

— Я видела дурной сон,—сказала она чуть внятно, закрывая глаза.

Роман передвинул вазу, чтобы она могла видеть вишню, не поворачивая головы; он сел, прислонившись к стене, задремав тревожно... Бледный Веселинов, завязывающий на ходу галстук... Окно с видом на крыши дворца, на отражение гранитной стены в зеленой воде канала...

Он встрепенулся, оглянул дико комнату, словно видя её впервые; тихо встал, всматриваясь с нежной печалью в лицо Айко, не зная, оставаться ли ещё или уйти и вернуться завтра.

Станция Готанда. Поезд в направление Уэна парк. Необычайный день неотвязчивых образов, неясной тревоги. Дети, играющие в приготовление пищи. Вор с краденными вещами. Мальчик дезертир. Отчаянный плач японки. Станция Канда, ещё две остановки до Уэна, сойти там и побродить под цветущими вишнями, не думая ни о чем. «*Scuoti quella fronda di ciliegio e m'inonda di fior*», поет Чо-чо-сан, Мадама Батерфляй в такой же тревожный весенний день. «Потряси над мной вишневою ветвью, пусть она засыпит меня лепестками. Я хочу остудить свой горячий лоб её благоухающим дождем»... Станция Уэно. Поезд пустует. Чарующий день, от которого делается легко душе и телу. Благоухание вишни, щебетание женских, детских, птичьих голосов. Сбросить пиджак, вытянуться на траве, усеянной лепестками, смотреть на синеву неба сквозь розово-палевый цвет вишень. Не думать о пла-

вании в голубом, бесконечном пространстве, а о любви, женщинах любимых, любящих, счастливых и несчастных, как Симка Кóшек в черном платье, трауре по своей любви. Не думать и о птицах, о серо-палевом голубке, жившем в мансарде под голубятней, с двумя осколками души, слившимися в одно недоуменным криком в кабаке зловонного переулка Траншей. «...nella stagion beata che il pettirosso rifà la nidiata», поет Чо-чо-сан... «Счастливейшее время года, когда малиновки опять выют гнезда...» Не думать, вдыхать запах лепестков, наслаждаться глубиной неба, сквозящей сквозь коричневые ветви, цвета кимоно сорокадетних женщин. Завтра или послезавтра ветер сдует лепестки и все станет будничным. Четыре праздничных дня: сакуры в цвету, розовой белизны, ощущения чистоты, радости, благожелательства друг к другу... И три последних дня жизни Веселинова. Тогда ещё не распустилась вишня и малиновки ещё не начали вить гнезда.

Не думать не о чем, не об окне с чарующим видом, не о Теру и японке, не о дурных снах Айко... Утонуть в бездонной голубизне неба.

В пятом часу дня он поднялся и пошел к станции. В поезде его вновь охватило беспокойство и навязчивые впечатления дня заколыхались перед ним. Он сорвался с места и бросился к выходу. Поезд подходил к станции. Он протиснулся к двери, выскочил на перрон и сбежал по лестнице на улицу. После парка здесь казалось всё серым и придавленным. Вдали громоздилась масса серого бетона. Он пошел по улице, не видя ничего перед собой, кроме давящей массы тяжелого здания. Вернувшись к станции, он прочел её название «Сугамо», вспомнив, что это место Сугамской тюрьмы.

Успеть ли на только что прибывший поезд? Спешить некуда, никто не ждет дома. Никто не высунет головы в щель раскрытой двери с вопросительным взглядом: «Ну, как, Рома, родненький, счастливы?»

На станции Синджуку он сошел с поезда. Зайти в ресторан или купить что-либо и приготовить самому? Через несколько кварталов он вышел на свою улицу. Проходя мимо полицейской будки, он поймал пристальный взгляд полисмена, видя, что тот что-то записал на листе бумаги. Группа детей играла с щенком. Роман остановился, присел на корточки, испугав вначале детей, взял щенка за кожу под горлом и спросил: «Анонэ, намае нандеска», «послушай, как тебя зовут? Джорджи-сан?», он незаметно покачал голову щенка из стороны в сторону и дети звонко засмеялись. «Джонни-сан?», и опять щенок покачал головой. «О, Мики-сан? Но?» И с радостью находки: «О, Гарри Купа?» — имя Гарри Купера, входившего в славу среди японских кинозрителей — и щенок утвердительно потряс головой под восторженный смех детей.

Он поднялся, радуясь смеху детей, их улыбкам, хорошему настроению, вернувшемуся к нему. Всё хорошо. Что плохое — пройдет, доброе останется. Малиновки совьют гнезда...

Роман подошел к дому, чувствуя усталость и голод. При его появлении два человека с красными повязками на рукавах мундиров чинно, по-японски, поклонились ему прямыми туловищами, с руками по швам, и один из них вынул из кармана бумагу, втянул с вежливым сюсюканьем воздух и прочел трудно-произносимое для него имя: «Брагобразофу-сан?»

ЛЕТО В РАЗДОЛЬЕ

То лето, в которое Иннокентий привез больную Варвару в Раздолье, было исключительно пригожим. В огороде буйно вился на шестах горох, на грядках сверкали аккуратные, словно выточенные на станке, муромские огурцы, добрела премированная капуста, тяжело свисали ещё зеленые помидоры в самую пору для засола; в малиннике, устроенном шалашем, теснилась ягода; крыжовник наливался ржавым цветом, выделяя острейя глобусные вертикали. В саду зрели яблоки, груши, сливы, персики. Всё перед домом и вокруг него утопало в цветах.

Утра начинались с обходом имения: всё ли в порядке. Навстречу Игнату Степановичу, пригибаясь к земле и извиваясь гибким станом, бросалась Леда, прижимаясь к нему, обсыпая его золотистыми искрами любящих глаз. В конюшне дружно ржали лошади, в курятнике клекотали куры, приветствуя хозяина; мычали на выгоне коровы. Всё жило в порядке, довольстве, согласии. Раздолье в полной мере было раздольем.

На лето в Раздолье съезжались из Маньчжурии и Китая дачники, внося оживление в обычно покойную занятую жизнь усадьбы. За дачными постройками укрепились названия, данные дачниками. Два больших дома с квартирами назывались Эпархиальное и Богоудобное. За ними шли отдельные домики: Курень атамана Загробного, Лагерь Юных Следопытов, в котором жили два шустрых старичка в теплых фуфайках; на одном из домиков с розовыми занавесями красовалась вывеска: «Мадам Рашель. Массаж и прочее». Два других назывались Большие и Малые Ямки; в березовой роще помещались Скит Душеспасителей и Мертвецкая.

Вначале эти названия смущали дачников; позже же привыкли к ним и спрашивали: «Это вы в Женах Непорочных? А мы в Отцах Пустынниках, ваши соседи. Павла Ивановича на этот раз поместили в Исправительном, у реки прохладнее».

Отец обрадовался приезду сына, заставив себя побороть неприязненное чувство к Варваре, оставшееся после его поездки в Шанхай. Увидев Нюту, он присел, радостно смеясь, обнял её за талию, нежно глядя по голове и с трудом удерживая слезы.

Вид Варвары поразил его: осунувшая, желтая, с робким испуганным взглядом; жалость охватила его: «свой же человек! Как бы то ни было, в семье, надо понимать».

Больную Варвару устроили в комнате на другой стороне дома, дальше от шума. Кровать её поставили так, что бы она могла, с головой высоко на подушках, любоваться деревьями, полукругом гор, меняющим свою окраску с каждым часом.

Иннокентий не отходил от Варвары, просиживая дни у изголовья, прислушиваясь, то к её голосу, то к стонам, то к жалобам. Она не хотела лежать лицом к окну и он передвинул её кровать; она не хотела, чтобы Катя носила ей еду, и он стал делать это сам. Он был рад сидеть в тихой комнате, вдали от всего, особенно от того, чем он занимался в Шанхае. Здесь можно было избежать встречи с отцом и возможности не совсем приятных разговоров, и что ещё хуже — встречи с Ильей. Он радовался перемене; она давала ему время подумать, оглядеть издали то, что произошло с ним и вокруг него за последние годы.

В Раздолье жизнь дачников шла своим чередом. По утрам пили молоко со свежим хлебом, купались в реке, загорали на солнце, дремали в шезлонгах и гамаках, судачили, играли в карты, блуждали по усадьбе, нагуливая

аппетит к полуденному завтраку. В жаркое время отсыпались часа два, шли опять купаться, играть в крокет, теннис, шли в корейскую деревушку, поднимались в горы.

Над рекой раздавалось шлепанье палок по белью по гладким камням и оживленный говор корейнок, занятых стиркой; старики корейцы в белых одеяниях и в черных лаковых шляпах, с длинными трубками в руках сидели у порогов фанз в созерцательной задумчивости. Выше на горах, как ласточкины гнезда, лепились к зазубренным скалам буддийские молельни. Открытые алтари монастырей с величественной фигурой Будды и младшими буддами по сторонам сверкали золотом лака в блеске свечей, в легком струении ладана; певучий голос монаха в оранжевом одеянии, читавшего сутры, легкий звон бронзовой рыбы под стропилами крыши.

Завороженные очарованием стояли дачники. Кто вспоминал детство, первые молитвы, повторяемые за матерью, кого уносило к воспоминанию о первой любви, её робости; о внезапном отрыве души от земного. Кто думал о надвигающейся старости, ожидая от неё покоя, умиротворяющего созерцания; кто думал о примиренном приближении смерти.

С гор спускались длинные тени. Медленно раскрывался багрово-малиновый веер заката, но небо ещё оставалось бледно-голубым. Шелестели сосны от внезапного ветерка, таял тихий звон бронзовой рыбы; в долине кружился дымок над соломенными крышами фанз. С подножья гор доносились задушевные голоса певцов, размноженные отдаленным эхом...

У себя в комнате, в медленно надвигавшихся сумерках июльского дня, Варвара Ивановна слышала голоса возвращавшихся с прогулки дачников, возню и крики на детской площадке, и её начинало тянуть вниз, к людям, к смеху, живой болтовне. Она беспокойно шевелилась, готовая спустить с кровати ноги, но Иннокентий поднялся озабоченно с кресла с вопросом: «Что, Варенька!

Плохо? Тебе что-нибудь нужно?» И она отворачивалась к стене, ей хотелось плакать, жаловаться на свою судьбу и она начинала тихо стонать.

Иннокентий сказал отцу в день приезда, что будет у него только две недели, что, оставив Варвару и Нюту в Раздолье, он вернется в Шанхай. Но прошел июль и он всё ещё откладывал свой отъезд. «8-го августа», вспоминал он дату, подчеркнутую дважды в записной книжке капитана Такахаси. «Переждать», говорил он себе, «переждать, остаться в стороне».

Как и с Ильей, Игнат Степанович горел желанием заинтересовать Иннокентия в своем хозяйстве. Он с жаром говорил о том, что нужно ещё сделать, о новых постройках, конюшнях, прикупить ещё земли по ту сторону реки, которую он арендовал у корейцев, увеличить племенной скот. «Для кого же строить!», восклицал он горячо, «как не для вас сынков! Придет время — какое же оно будет расчудесное! — когда съедутся все с семьями! Семья в сборе! Экое счастье!»

Иннокентий соглашался, что семья в сборе — дело хорошее и что надо радоваться этому. Отец загорался ещё больше, подвигался ближе, клал руку на его колено, заглядывал тепло в глаза.

— Так почему тебе, Кешз, не остаться здесь! Ты видишь, как хорошо здесь Варе, как быстро она поправится здесь после убийственного шанхайского климата! А как хорошо Нюте! Катается на пони, купается, загорела, просто не узнать! Даже почти перестала, — он хотел сказать «заикаться». — Да и тебе... Знаешь Иннокентий, ты прости старика за откровенность: не нравится мне, что ты служишь в полиции. Вспомни, что...

«Начинается», тоскливо подумал Иннокентий, «зря сошел вниз, лучше бы сидел там».

— А что делается в Шанхае! Страшно читать! Травят порядочных людей, зажимают несчастную колонию в кле-

щи. Что делается!

— Да, да, что делается! Так ты хочешь, чтобы я остался помогать тебе по хозяйству! Отчего и нет! Но у тебя уже есть хороший помощник Илья. Или не пришелся к дому?

— Почему же не пришелся к дому? Кажется, у родного отца!

— Отдыхает, нагуливает тела? Передышка до нового дельца?

Игнат Степанович отвернулся в сторону, забарабанил пальцами по столу.

— Не то, не то, Кеша! Не так о брате... Ты, вот, лучше скажи мне, что у вас там делается! Повторяю, читать жутко! Людей похищают среди бела дня! А сегодня пришли газеты, так еще страшнее: описание, как китайские рыбаки выловили в устье Вангпу три трупы со связанными за спинами руками, с разможенными от выстрелов в затылок черепами... Один молодой, белокурый, на вид юноша, другой по-старше, а третий старик еврейского типа.

— И имена сказаны, — спросил Иннокентий дрогнувшим голосом.

— Страшно сказать — до чего дойти! Вон там газеты, противно братья за них. Кто-то позади этого. Кому-то это нужно.

Несмотря на то, что братья тяготились от мысли о встрече, она не могла не произойти. Однажды поздно вечером пробираясь на кухню, Илья в коридоре наткнулся на Иннокентия. При свете коридорной лампы последний разглядел оплывшее лицо брата, беспокойные глаза, неровную походку. Оба улыбнулись, один виновато, другой покровительственно.

— Ну, как, брат?

— Ничего. А ты?

— Тоже ничего.

— Оба ничего. Минус на минус дает плюс. Значит, всё хорошо. Надолго?

— Привез жену на поправку. Самому нужно возвращаться на службу. А ты надолго?

— Присужден пожизненно. Обстоятельства сложились так, что всё против меня. Когда так случается, живешь как по волчьему билету. Что мне здесь делать? Гонять с Алексеем лошадей на корде? Следить, как корейцы режут капусту? Щелкать в перегонку с отцом на счётах, подсчитывая барыши?

— Кроме капусты делать нечего?

— В этом дохлом месте? Или ты имеешь в виду город? Жалкие лавченки, заведения, которые японские колонизаторы заводят раньше школ и больниц... Мне нужен простор для кипучей деятельности, нужны живые люди, общество, красивые женщины...

— Чем тебе не нравится наше шанхайское общество? Это тебе не бомонд из Харбин-товарная...

— А ну их в болото! Такое бабье, курам на смех!

— Хорошо, согласен, ну их в болото! А если ты занялся бы чем-либо?

— Чем? Я ж тебе сказывал, что здесь... Может быть у тебя есть что-то? Выкладывай, Кешка!

— Ничего нет. Откуда! Может быть что-то намечается неясно, но ещё пока...

19 августа, Преображение Господне и день рождения Игната Степановича. За обедом был пирог, но главное празднество было намечено на вечер. На него сошла из своей комнаты Варвара, а позже и Иннокентий. Появление Игната Степанович было встречено аплодисментами и подношением застольной чарочки. Сильно охмелевший Илья махнул речь. Он только что вышел из Куреня Атамана Загробного, где проиграл жильцу его, капитану Дальнего Плавания Бодряго в девятку те малые деньги, что он выбрал утром из хозяйственного ящика отца, и

был в том раздраженно-угрюмом настроении, когда хочется выпить, а нечего. В своей речи он заговорил о счастливых отцах и несчастных детях, и говорил бы ещё, если бы из кухни не принесли сосиски и пиво и все не бросились бы к столам.

Илья ещё раз принялся за речь, но подошли толпой другие дачники и раздались крики: «Хором, хором! А, ну, Амурская, заводи коронную! Давай, Муська!» «После, у костра», закричали другие, «сперва сольные номера».

— Господа, тише, начинается музыкальная программа. Алешка, начинай!

Гуськов, маленький, сбитый, с кривыми ногами и кривым носом, поглядывая тревожно на небо, запел сипловатым тенорком

Ой, чтой-то за шум в непогодицу,
То комарик грызет протопопицу,
Протопопова жена — жёнка лютая...

— Долой, — раздались голоса, — не по случаю!

— Спой, Алешка, что-нибудь нежное!

— «Мадам, из вас падают листья...»

— Сволочь, — пнула его ногой Амурская, и Гуськов закатился смехом. — Осматривает ещё подозрительно землю. Вот гад! Не слушай его, Варвара!

— «Не казнь страшна, страшна твоя невинность...»

— Пошел вон! Ещё что вздумал!

— Убрать со сцены!

— Страдательную, — требовали другие.

— Страдательную, — закричали в толпе. — Дорогу певцу скорби и печали! Требуем Маркела Фомича! Пожалуйте в середину круга. Алексей, давай аккомпанимент.

После скучных дней в кровати Варвара нашла себя в своей компании пересмешников и зубоскалов. Она забыла о томном виде и тихих столах. Она смеялась, плескала руками, откидывалась корпусом назад, припадала головой к плечу Амурской. В стороне сидел Иннокентий, стараясь не казаться хмурым и недовольным. Ему не нра-

вилась толпа дачников, он находил её разношерстной, шумной и не в меру навеселе. Он смотрел на отца, который смеялся, хлопал в ладоши и казался довольный всем, и говорил себе: «Что же, отец ничего не видел в жизни, понятно!»

— Занавес поднят, — крикнула Амурская, — по требованию уважаемой публики...

Маркел вышел в круг, держа большие пальцы рук за пояс, осмотрел внимательно толпу, попробовал голос, пока Гуськов подстраивал гитару.

— Дай аккорд. Когда я рукой винтом, бери тремоло. Когда вниз, нажимай на баски.

Он передвинулся с места, и глядя на Варвару выкаченными глазами, запел сладким тенором:

«Я здесь поЮ», потыкав пальцем в землю, «так тихо и смиренно, лишь для тохо», закругленный жест, «чтоб услыхала ты», потыкав пальцем на Варвару, «и песнь мОя», рука винтом вверх, с большим чувством и придыханием, «есть хвимиам священный», со слезами в голосе, «пред Олтарем БОхины красоты».

Пока плыл над поляной и рекой сладкий припев «страдательной», а за ним, уже у костра, поднимались нестройные голоса хорового пения захмелевших дачников, крики и визг детей у гигантских шагов, восторженный лай собак; пока нарастал шум и гам разошедшегося веселия, с вокзала Вонсана, прибыв туда на вечернем поезде, не в меру озабоченный человек спешил в Раздолье.

Он прыгнул из извозничьей пролетки у ворот усадьбы и быстро, семена мелко ногами, словно катясь, направился на гул голосов и зарево костра.

— Веселитесь, романсы распеваете, а ничего другого не знаете и знать не хотите, — заговорил он быстро, плача и смеясь.

— Это Пашенко, крикнули в толпе. — Сейчас что-то преподнесет!

— Танцуете, на лужайке детский крик, и нет никакого дела до других. А его нет, угробили...

Его глаза блестели от слез и лицо сводилось в морщины улыбки и нельзя было сказать, смешно ему или грустно. Он переходил от одного к другому, заглядывал в глаза и повторял одно и то же: «Не понимают! Им не до этого! Как и раньше, когда я говорил!»

— Не успел, поди, прочесть передовую, всегда читал по утрам у себя в автомобиле... А тут сбоку через окно из маузера...

— Да о чем вы говорите? Какой маузер?

— Не слушайте его! Программа продолжается! Муська, давай коронную! Хористы, по местам!

При появлении Пащенко и его первых словах Иннокентий вздрогнул. Он давно хотел пойти к себе, но увести Варвару не представлялось никакой возможности. Он сидел в стороне, стараясь не слышать шума и пьяных голосов. Он приподнялся, разглядывая людей у костра и мечущуюся фигуру только что прибывшего человека.

— Из маузера, — смеялся тот плачущими глазами. — И кого!?

— О ком это вы? Скажите толком!

— Не понимают! Да Мельцера, председателя...

— Какого Мельцера?

— Это что — нашего? Что же с ним случилось?

— Убили, мамочка, террористы из гастролеров, сами или наемники. Если не верите, вот газеты, последние номера. Кому?

— Потом, потом, завтра, на свежую голову — раздался голоса. — Программа продолжается!

Иннокентий взял из рук Пащенко связку газет и бросился в дом. В конторке отца он зажег свет, подобрал разрозненные номера русских и английских газет и жадно набросился на них. Найдя то, что он искал, он начал читать медленно, перечитывая некоторые места по нескольку раз, как утром 11-го августа О. Э. Мельцер, пред-

седатель действительного Эмигрантского Комитета, вышел из своей квартиры и сел в автомобиль, чтобы отправиться на службу. Пока он просматривал газету, из проехавшего мимо автомобиля выскочил террорист с огнестрельным оружием в руке. Открыв дверь автомобиля, он выстрелил несколько раз в Мельцера, спешно захлопнул дверь и выстрелил ещё раз через окно. Тяжело раненый Мельцер, не приходя в сознание, умер в госпитале. За два-три дня до убийства соседи видели, как к дому Мельцера подъехал автомобиль, управляемый белым человеком, в котором сидело три пассажира азиатского вида.

«Вот почему разница в датах, 8-ое и 11-ое. Заметили, пришлось отложить». Описание похорон его интересовало мало и он принялся за чтение реакции эмигрантской и иностранной прессы. В газете Штаба, бывшем Эмигрантском Эхо, говорилось, что «темные элементы Коминтерна, встревоженные объединением эмигрантов, провели убийство О. Э. Мельцера... русского патриота и прекрасного человека. Но мы твердо верим, что злостные враги русского народа, вырвав г. Мельцера из наших рядов, не могут смутить нашего духа...» «Ну, ну, расписался Вечкин-Течкин!» «...Вчерашнее убийство была попытка расстроить неблагоприятную для Коминтерна деятельность и трудно сказать, прекратят ли свою работу подлые убийцы после первого акта провокации...»

Глаза два в конторку заглядывал Игнат Степанович, но погруженный в чтение Иннокентий не видел ничего и отец не хотел тревожить его. Постепенно замирали голоса у костра; несколько тяжело охмелевших человек, не зная, пойти ли спать или раздобыть ещё водки или пива туго слушали Пащенко, не понимая, то ли он плакал по ком-то, то радовался чему-то. Наконец, стихло и это, и усталая прислуга, убрав столы и пустые бутылки ушла на покой; и только в Курене атамана Загробного гудел голос капитана Бодряго: «Представь себе, бал в Мор-

ском собрании. Морской министр, товарищ министра, адмиралы, послы, дамы в роскошнейших туалетах. И ты, блестящий офицер с флагманского корабля, танцующий с адмиральской дочерью вальс с фигурами, и выписывая на восхищение всех наисложнейшее па, вроде вензеля на австровенгерской короне, неожиданно даешь два оглушительных залпа из кормового орудия...» И восторженный голос Ильи: «Ах, ты, черт!»

Иннокентий всё сидел над разложенными газетами, то читая, то задумываясь и тогда видя перед собой в живом изображении Мельцера, каким он видел его последний раз усталым, согбенным, но всё ещё яростно отбивавшимся от нападков Пестрякова, Косоротова, Вечкина и других из нового комитета; то видел его испуг, когда китаец или кореец террорист рванул автомобильную дверь.

Он снова начинал читать о трех трупах в устье Вангпу, задерживаясь на подробностях о связанных за спиной руках, зияющих ранах на затылках — и видел раннее утро у взморье, японский катер, трех связанных человек, несколько японцев, есаула Скокленева и деловитого Петю Кувшинчик... Ещё звучал в его ушах мягкий голос, застенчивый, как у девушки, смех Ипполита во время допроса о вымышленном Грэйвс и высосанном из пальца Веселинове... Сконфуженное лицо Иноходцева, дремавшего во время дежурства в штабе... «Самое время с камерой в поисках живого материала...» Он вернулся снова к материалу о Мельцере. Читать больше уже не нужно было, всё предстояло перед его глазами: одиннадцатый час утра, капитан Такахаси, выслушивавший доклад есаула Скокленева о том, что случилось два с лишним часа до этого с спокойным видом, словно это произошло где-то за тридевять земель, а не в его шанхайской вотчине... А двенадцатью часами позже, в кабаре Амбассадор, за отдельным столиком, в стороне от группы японцев, чинов иностранного отдела Кемпэтэй («наши рюди»), строгий, замкнутый, по своему торжественный; на столе пач-

ка душистых сигарет, белый томик стихотворений Блока, у стола в серебряном жбане подмороженная бутылка шампанского... Предлог для празднования? Никакого! Легкий отдых после трудового дня... Шампанское, стихи, декламация под головокружащий рокот саксофона и скрипку, играющую под сурдинку: «Я посрар тебе черную розу в бокаре зоротого, как небо, Аи». И неторопливое ожидание, когда Инга, красивая эстонская девушка, освободившись от своих гостей, присядет к его столу и он, допив шампанское, увезет её к себе.

На дворе посветлело и первые звуки нового дня нарушили тишину: звонкое кукуреканье петухов, мычанье коров, короткий лай с лязганьем зубов не совсем проснувшейся собаки.

Иннокентий всё еще сидел, навалившись на стол над газетами, думая о своем участии в этих событиях; о докладе, озаглавленном и написанном нарочито суконным языком, под стать его духу и цели — создание нового комитета и состав его правление; подсказ Косоротову о «ветхозаветных агнцах»; необходимость повторения террористических актов, приведенная почти слово в слово Вечкиным в слезоточивой статье об убийстве Мельцера.

У Иннокентия не было ни жалости, ни сострадания. Его жгучий интерес сосредотачивался на одном: так ли всё разыгрывалось, как он хотел и намечал. И ещё одно; не задумываясь о том, ради чего он это сделал, он хотел проверить с наибольшей уверенностью, что всё было сделано осторожно, оставляя его самого совершенно в стороне.

— Где ты пропадал всю ночь, старик? Я тебя искала по всем домам Раздолья. Бегал с Ильей в город к девочкам? Смотри, уже светло. Иди, ложись спать.

— Я, Варенька, должен вернуться на службу.

— Когда? На этой неделе?

- Боюсь, что раньше.
- Через несколько дней?
- Через несколько часов. Утренним поездом. Ты, Варенька, оставайся здесь, пока не поправишься совсем.

Вернувшись на службу, Иннокентий нашел кое-какие перемены, которые подсказали, что не всё так, как он полагал. Его вызвали для расспроса относительно дел в русской колонии. В числе опрашивавших был и Мак Клоски, переведенный из участка на Гордон Род на должность инспектора при главной станции.

Что он знал о травле О. Э. Мельцера некоторыми лицами, кто был позади них? Знал ли его лично? Бывал ли в Штабе Национального Объединения и принимал ли участие в его работе? Знал ли трех человек, исчезнувших месяца два тому назад, чьи тела были недавно подобраны в реке?

Несмотря на внешнее спокойствие, ему было не по себе; он чувствовал, что его ответы не удовлетворяли спрашивавших. Ему предложили составить полный отчет по всем вопросам и заявили, что до представления и решения по нему он временно отстраняется от службы.

Перед уходом инспектор Мак Клоски остановил его сказать, что он хотел быть его крестным отцом, но фразы не договорил и махнул рукой.

— Вы быри борьны?

— Никак нет, я докладывал вам, что взял отпуск отвезти больную жену к отцу на поправку. Её болезнь задержала меня.

Такахаси казалось не слышал его; он перелистывал ногтем мизинца доклад Иннокентия, озаглавленный «О Целесообразности Устройства на Севере Кореи Радиоприемного и передаточного Пункта на Русском Языке для Сбора и Передачи Информации с и на Территорию Дальнего Востока Советской России».

— Что вы ещё можете дорожить?

Иннокентий внутренне встрепнулся. Что значит — «ещё» и подчеркнутый тон, каким это было сказано?

— Когда вы видери Ряшкевича в последний раз?

— Казимира Ляшкевича? — Иннокентий опешил. Тот же значительный тон. Когда? Разве они не были у него вместе? А с тех пор...

— С ним сручирись несовсем радно. Поер рангустов в отере Катэй и отдар Богу душу. — Такахаси откинулся на спинку кресла, залившись злорадным смехом. — Выяснирись, что наш друг уврекарся предосудитерной деатерностью, иными сровами, на советском жаровании. Рангусты дря некоторых несовсем порезное брюдо.

«Отравили», пронеслось в голове Иннокенти:й, «двойная работа или только японская подозрительность?»

— Эт-то деро другое. — Такахаси собрал листы доклада, сунул в ящик стола, заперев его на ключ. — Я отошрю его в Токио дря резорюции. Так у вас борьше нечего дорожить?

Такахаси выправил манжеты из под рукавов пиджака, щелкнул крышкой серебряного портсигара с золотой хризантемой, постучал о неё сигаретой, закурил, откинувшись на спинку кресла и как бы мимоходом спросил.

— А что сручилось с Романом Брагобразовым?

— Не могу знать, Такахаси-сан. Как уехал отсюда, я ничего не слышал о нем. Был какой-то слух, что или в Америке...

— А не в Токио?

— Не могу знать. Ничего не слышал.

— Роман Брагобразов — суорочь!

«Сам сволочь!» взорвалось с неожиданной яростью в голове Иннокентия.

— Роман Брагобразов под средствием, деро борьшое и посредствия могут оказатрся дря него сугубо прачевными.

* * *

«Неужели оборвалось и тут», тревожил себя Иннокентий. «Чем можно поправить? Так всё шло хорошо — и вдруг и здесь и там...»

Когда он принес на службу рапорт, потребованный после его расспроса, он пережил ещё одну неприятность: ему сказали, что известят позже, пока же он был должен сдать казенный револьвер и бляху.

В Штабе Национального Объединения, куда он зашел справиться о судьбе своего доклада, он даже не мог попасть в кабинет Такахаси и только слышал, как капитан сказал Скоклёневу: «Нарожена резорюция откронить».

«Конец», говорил он, возвращаясь домой, «бесславный и постыдный!»

Дома накапливались письма и телеграммы: Варвара была тревогу, но после первых двух-трех он перестал вскрывать их. Он смотрел на телефон с надеждой, что он оживет и раздастся сладкий, вкрадчивый голос: «Ваш блахожелатель. Отпили чайку?» Но молчал и он.

Два месяца почти безвыходно Иннокентий провел дома. Октябрь, ноябрь — лучшая пора года в Шанхае. Рано по утрам кавалькады наездников и наездниц проходили чинной рысью по тенистым дорожкам французского города. К полдню нарастал шум и гул переполненных улиц и набережной Банда. Скользили по реке с веселыми гудками катера, лавировавшие между японскими военными кораблями и крейсером Августа, флагманским кораблем Дальневосточного флота Соединенных Штатов.

Почти каждый вечер после службы Юзуру Ямагучи, представитель шанхайского отделения американской компании General Motors, в действительности полковник японской разведывательной службы, проводил в кабаре Амбассадор. После двух-трех часов, танцуя с девушками и выпивая виски, Ямагучи возвращался домой на Скотт Авеню в Хонкью, расположение японских частей,

где рядом с его квартирой находилось помещение для радио аппаратов, перехватывавших донесения американского посла Грю из Токио в Государственный Департамент в Вашингтон, которые направлялись сперва на крейсер Августа и оттуда передавались дальше.

Пока танцевал и пил беспечный город, у Ямагучи шла напряженная работа, в которой участвовали радио-операторы, шифровщики, знатоки английского языка, составители рапортов, военные летчики, доставлявшие материал в Токио, в Главную Квартиру Армии Миякезаки, Министерство Иностранных Дел Касумигасеки, и другие учреждения.

В день, когда его вызвали в Штаб, Иннокентий заметил большое оживление в Хонкью. На углах стояли танки, военные автомобили и грузовики. Два японских самолета кружились над городом.

Такахаси стоял у стола с телефонной трубкой у уха; торжественный и величавый, он показал Иннокентию рукой на стул. Прикрыв трубку рукой, он сказал: — Город объявляется на осадном порожении. Начаро брестящих военных операций. Ваш доклад пересмотрен и одобрен.

На следующее утро North China Daily News в последнем выпуске своего многолетнего издания известило о мощном налете японской авиации на Жемчужную Гавань в Гаваях, Филиппинские острова и на британские владения в Гонконге и Малайи.

8-го декабря город был напряженно-тих. У зданий почты, телеграфа, банков, правительственных учреждений появились японские патрули. На Банде стояли танки.

По городу шли массовые аресты граждан Америки и Англии, объявивших войну Японии. Бридж Хаус, бывшая гостиница, ставшая управлением Кемпэтэй, стала также лагерем для интернированных иностранцев, приобретя с первых дней зловещую репутацию застеночного места.

* * *

Когда Иннокентий пришел в Кемпэтэй для получения бумаг для поездки в Корею, он встретил группу арестованных иностранцев, среди которых оказался инспектор Мак Клоски. Услышав беглый разговор Иннокентия по-японски с дежурным жандармом, и поймав его взгляд, он улыбнулся ему. Улыбнулся и Иннокентий, но тотчас же согнал улыбку с лица и отвернулся в сторону.

Что-то странное показалось ему во взгляде и улыбке Мак Клоски: то ли удивление и сочувствие, что и он среди интернированных, то ли сознание, что это не так, что тот, которому он хотел стать «крестным отцом», оказался на стороне его вероломных врагов, отсюда насмешка и презрение; то ли ожидание заступничества, что-то вроде робкой мольбы.

Когда уводили их, Иннокентий взглянул на них и увидел взгляд Мак Клоски и вместе с ним взмах руки, совсем такой, как в полицейском управлении при их последней встрече.

Полагая, что никогда не вернется в Шанхай и зная, что у него нет ни времени, ни возможности увезти с собой всё, он решил упаковать самое необходимое. Осмотрев тщательно ящики своего стола, он сжег в кухне всё то малое, что он нашел в них.

Странная улыбка Мак Клоски продолжала преследовать его. Что было позади неё, какие чувства? Так ясно перед глазами тот день, когда Мак Клоски вызвал его к себе на станцию на Гордон Род! Это было совершенно не его дело, даже если он и подозревал кое-что относительно операции с кокаином... Но то нравоучение как со школьником! А взмах руки! До сих пор прилив крови к лицу...

Пишущая машинка была уже упакована, но он достал её и написал доклад о Мак Клоски для передачи Така-хаси перед отъездом в Корею.

СЕМЬЯ В СБОРЕ

— Не помню, отец, спрашивал ли я тебя летом о сдаче мне одного из твоих домов? Вот этого, что за опушкой, дачники ещё называют Отцы Пустынники.

— Для чего он тебе?

— Хочу переселиться туда.

— В такой холод? Он же не отапливается, летняя постройка. Тебе что же в доме у меня не нравится?

— Лучшего места не найти! Но это не то. Хочу заняться одной работой на общее благо. Может быть втяну в неё и Илью, что же ему пухнуть от водки и безделья.

— Чем же ты собираешься заняться?

— Ты знаешь, отец, разыгралась война, неизвестно, что она принесет, но некоторым путем можно направить такое огромное дело по определенному, более выгодному руслу.

— Для кого же это более выгодно?

— Видишь ли, отец, не всем понятно, что нужно и что, следовательно, выгодно для большинства, их благополучия и счастья. Объяснять это дальше, значит вдаваться в такие подробности, в которых без особой подготовки потеряешься без следа. Так, значит, отец, дом за мной! Но это ещё не всё: надо приготовить его к зимним условиям, расширить, поставить печи, двойные окна. Ничего не поделаешь, папаша, придется раскошелиться. Боюсь, что и с дачниками придется на время расстаться. Люди жертвуют жизнью, пожертвуем кое-чем и мы. Не так ли батя?

Так мягко, ласково, заглядывая в глаза, совсем, как в детстве, крутясь на одной ноге у его письменного стола.

— Одно условие: распоряжаться всем буду я. На мне одном вся ответственность! Я и Илью приспособлю...

— Ах, если бы и Роман был здесь! Вся семья бы в сборе! Ведь этакое счастье! Где он, мой голубчик! Что ты, Кеша, слышал о нем?

«Роман Брагообразов — суорыч!» Сказать отцу? Рас тревожить его? Мало ему горя с Ильей!

— Ничего не слышал, отец, с тех пор, как уехал из Шанхая. Был слух, что перебрался в Америку.

— Не верю. Чует отцовское сердце, что не так. Душа болит по нём...

«Отцы Пустынники» были отремонтированы, снабжены печами, конторской мебелью. Из Вонсана прибыли ящики с радио аппаратами, японские техники. Всё это интриговало Игната Степановича, но помня наказ Иннокентия, что «он сам», что означало не совать носа, он держался в стороне, делая вид, что его ничего не интересовало.

Илья зажегся энтузиазмом, когда Иннокентий посвятил его в свои планы. «Вести живую настоящую борьбу — долг каждого порядочного человека», повторял он, мигая часто глазами, заглядывая снизу в лицо Иннокентия. «Я так благодарен тебе, что ты даешь мне эту возможность. В борьбе мое возрождение!»

Он ходил по комнатам «Отцов Пустынников», передвигал вещи, пригонял вертящийся стул по своему росту, вмешивался в работу японских техников. Он сидел у микрофона, поигрывал глазами и бровями, словно его видели, любясь им, люди советских окраин; его голос принимал ту гибкость и убедительность, которые создавали ему первоначальный успех в делах.

Зима в Раздолье. Тихие дни и ночи. Снег в долине и на горах; обвисает темная зелень сосен под снежной белизной. По утрам розовый свет на инее хрустящих от мороза ветвях. Сверкает до ослепления снег на горах, лилово-синий в ущельях. Над золотом соломенных крыш фанз

вьется утренний дымок.

День начинался обходом Игната Степановича в сопровождении Леды своего хозяйства. Из открытых конюшен и коровников валит пар. Фыркают лошади, выведенные на коновязь, покрикивает на них с нарочитой грубостью Гуськов, готовясь к утренней чистке.

В Отцах Пустынниках сидит Иннокентий с наушниками и карандашем в руке, слушая советские радио-передачи. С тихим повизгиванием крутится лента на другом аппарате, её намагниченная поверхность записывает шифрованные донесения с хабаровского радио в Москву.

Илья ещё не показывается. Энтузиазм первых дней успел выпариться и теперь каждый день он приходит с опозданием. Не всегда и голос его звучит, как следует, и Иннокентий подумает о том, что если будет так дальше, ему придется известить об этом Вонсан.

Над этим маленьким миром, обрамленном заснеженными горами, царствует божественная тишина. Казалось, ничто не могло нарушить его покоя и мирного труда.

Но в воздухе царило максимальное напряжение от радио волн, захлебывавшихся от ликования по поводу массового истребления человечества, сметенных бомбами городов, затопленных кораблях... Молниеносные победы в юго-восточных водах Тихого Океана, у подступов к Австралии, в Северном море, у Мурманска, в недрах России, у Кавказа, под Ленинградом и Москвой.

Об этом было слышно только в Отцах Пустынниках для передачи на русском языке радио-слушателям советского Дальнего Востока. И когда болтливый Илья рассказывал, что он где-то слышал о молниеносных победах Великого Ниппона и Тысячелетнего Райха Германии, Игнат Степанович смотрел недоуменно, качал головой и при первой возможности уходил к себе углубиться в каталог семян и справочник по разведению скота. Тем временем...

Тем временем...

Услыхав обращенное к нему «Брагообразову-сан», Роман не удивился. Казалось, он ждал этого, но не в ту минуту у своего дома, а позже и при других, менее прозаических обстоятельствах. И все же растерянность и неожиданный испуг.

«Давно ли в Токио?» «Три-четыре месяца». «Где до этого?» «В Кобе». «До этого?» «В Шанхае». «Знал ли Веселинова и как давно?» «Встретился с ним в Токио в телеграфном агентстве Гавас». «Как часто встречался с ним в Шанхае?» «Никогда не встречал его раньше». «Знали, что он был там?» «Нет, не знал». «Почему хромает?» «Ранение во время Гражданской войны в России». «На чьей стороне?» «На белой». «Почему в Гавас? По рекомендации Веселинова?» «Нет. Работал для Гавас раньше в Сайгоне». «Был ли там тогда Веселинов?» «Если был, откуда я мог знать? (Только не терять терпение!)»

Ночь на исходе. Несколько раз сменялись жандармы, но вопросы оставались те же самые. Потерянный счет дням. Неделя, десять дней? Императорская площадь, зеленая вода во рву, отделяющим гранитную стену дворца.

И — Сугамо. Ещё подъезжая в тюремной карете, Роман узнал место, около которого бродил после дня под цветущими вишнями в Уэно парк. Это также не оказалось неожиданностью, словно он ждал, что рано или поздно массивные ворота лягнут за ним.

Кто мог знать, что с ним случилось? Видели японские соседи, но в стране, одержимой шпиономанией, арестованный иностранец означает, что одним шпионом меньше. Узнали в бюро Гавас и забеспокоились о своей судьбе. Что ещё могли бы они сделать? Тщетное ожидание Айко, быстрее приближавшее смерть к серому дому у пересохшего русла реки... Тоскливое скуление у двери его комнаты Купико, подобранного им уличного пса...

Тюремный режим. Вместо прогулки неподвижное сидение на корточках с установленной медитацией о своем

преступлении и чистосердечном раскаянии. Не двигать-ся, несмотря на затекшие ноги, не мурлыкать, не клевать носом. Не расточительно ли отдать все время мыслям об искуплении вины и раскаянии в своих грехах?.. Память — пугливая птица. Приманить её осторожно, никаких резких движений... Ничего сострадательного... Гнать со двора жалость. «Папаша, дайте что-нибудь веселенькое...» Цирк. Антракт. Пустая арена. По опилкам шагает отец с блюдечком в руках. Он только что из буфета после двух рюмок водки несет им по мясному пирожку. Маленький Кешка прыскает со смеху. Илья надувает щеки: «по одному или по два?» Ему неловко. Кажется, что весь цирк следит за отцом и что вот сейчас выйдет клоун в рыжем парике и начнется самое смешное...

Надо сидеть, не двигаясь, в непривычной позе и в угоду тюремному начальству страдать не от затекших ног, а от угрызения совести... Кафешантан на юге России. Ночеркаска? Месторасположение эстрады важнее. На ней куплетисты, поют по очереди, живой мотивчик пляшет в голове

Любила я Колю,
Ласкалась с ним вволю,
Теперь пришел за ним Андрей,
Он мне милей, милей, ей, ей.

Любил я раньше Клару.
Теперь люблю Тамару.
Люблю её за роскошь форм.
За чудную походочку...

Память — капризная жилица души, неутомимо навязчивая, то робкая, как трепетная лань!.. Только не отпугивать её, тогда ничего не останется, даже если на ощупь она шероховата и неприятна, как кожа змеи... Зима. Волга. Крутой обрыв. Снежный каскад позади. Крутое скачивание в ликующем азарте охотника по крупному зверю-человеку. Волнующий запах крови... Ещё Волга. Серое мартовское утро. Перебитая шрапнелью нога. Сани-

тарный поезд, подобранная книга Робинзона Крузо... почти, как на необитаемом острове... Не отпугивать память, даже если она жестка на ощупь... лучше о другом... «Маленькие женщины с детскими глазами, через жизнь прошли вы нитью ярко-пестрой, в сердце вы оставили...» Париж. Последняя ночь перед расставанием с Францией и возвращением на родину ещё к одной войне... Рю Мольер. Пять этажей по винтообразной лестнице. Тяжелое дыхание. Частые остановки. «Передохнуть минуту, я буду в порядке». Темно, как в склепе... Узкая кровать, как убежище для зверька, ищущего инстинктом уединенного места. Покорный ответ на стаскивание обуви, растегивание пояса юбки, вытягивание одеяла из под тела, казавшимся невесомым... Колченогий стул, ноги на подоконнике... Зеленый, отдающий мертвечиной, рассвет, как вор лезет в окно... Детская фигура на кровати, поджатые ноги, у рта комок платка. Почти не слышно дыхания... Гнать жалость, как голодного щенка! Не приручать пугливую птицу к бетонным стенам и лязгу решетчатых засовов. Сохранить лишь имя — Рашель. Ветхозаветная Рахиль, что значит овца... Симка Кóшек с кротким овечьим лицом. Полужалость, полураскаянье? Крохотная эстрада с трехпалым тапером, саксофон, плачущий человеческим голосом под горький крик Сузанны... «Папа-сан, я не хочу умирать». «Смерти нет, Айко-сан. Есть только бесконечное плавание...» Ни жалости, ни раскаяния, если они не соответствуют тюремным требованиям чистосердечного признания своей виновности.

Тысяча и сто дней и ночей в тайных свиданиях с памятью.

В середине июня в Токио заканчивается «нюбай», период мелкого холодного дождя, когда в домах всё сыреет и покрывается плесенью. На следующий день начинается знойное лето.

В день летнего перелома Романа вызвали в тюремную

контору и заявили, что несмотря на тяжкое преступление против страны, но учитывая его несомненное раскаяние, он будет освобожден. Затем последовало пространное наставление исправиться совершенно и служить верой и правдой милосердным властям.

В тот же день, 16-го июня 1944-го года, впервые над городом завопили истерически сирены и глухие взрывы воздушных бомб американских самолетов потрясли землю. Едкий дым пожарищ застлал небо.

Властям было не до Романа. Из далеких пределов юго-восточного бассейна Тихого Океана война угрожающе нависла над самой страной.

Дни гаданий — наигорьшее испытание: когда, почему? Напомнить о себе или оставаться по-прежнему забытым? Какой может быть ответ: тюремному начальству ничего неизвестно.

Наконец настал день, когда его вызвали вновь, выдали его вещи и сказали, что выселяют за пределы страны.

Помощник начальника тюрьмы раскланялся церемонно с ним, Роман, согласно этикету, извинился за причиненное беспокойство, поблагодарил за гостеприимство и в сопровождении пожилого жандарма вышел за ворота Сугамской тюрьмы.

Центральный вокзал лежал огромной кучей кирпичей. Правительственные и конторские здания стояли в целости, сбереженные для будущего пользования победителями, всё же остальное представляло удручающую картину массового разрушения и пожара. Обгорелые дома, черная зола, едкая гарь, растерянные люди.

Сопровождавший его жандарм чувствовал перед ним неловкость за сожженный воздушными налетами Токио. Он старался не видеть ничего, приковав свой взгляд к полу вагона, часто вздыхал и бормотал про себя.

Только в пути по живописной части острова Хонсю, мимо зеленых гор, рисовых полей и чайных плантаций, мирных городков и деревушек, буддийских храмов они

оба отошли от гнетущего чувства.

На следующий день они прибыли в Цуруга, где жандарм сдал Романа капитану парохода, отплывавшему в Корею. Перед отходом жандарм церемонно раскланялся с Романом, прижав руки ко швам брюк, наклонив вперед корпус, и так стоял, пока пароход не отошел от пристани.

Увидев с палубы парохода отца, стоявшего на пристани Вонсана, Роман удивился: каким образом? В женщине, стоявшей рядом с отцом, он узнал Катю. Два жандарма стояли поодаль.

При виде сутулого человека, медленно ковылявшего по трапу, Игнат Степанович заплакал. «Ну, ну», подтолкнула его локтем Катя, с трудом удерживая слезы, «радоваться надо».

— Вот чудак, батя, — воскликнул не своим голосом Роман. — Каким образом такая встреча!

Как мог сказать ему Игнат Степанович, что его оповестила об этом жандармерия Вонсана и что он должен жить здесь под её надзором?

— Ну, батя, не ожидал, на самом деле твой? — восхищенно воскликнул Роман, когда Игнат Степанович привел его к старому форду. — А как сверкает!

— Со вчерашнего вечера полировали, — всхлипнула Катя.

— Подожди, Роман, — смущенно сказал Игнат Степанович, — надо еще оформить... Знаешь, эти порядки...

Капитан парохода передал жандармам бумаги, полученные им в Цуруга от жандарма, сопровождавшего Романа. Те дали знак Роману следовать за ними.

— Формальности, — сказал отец, успокаивая больше себя. Он снова заплакал, когда через четверть часа Роман вышел из жандармерии, и заспешил увезти сына в Раздолье, словно там, за березовой рощей и рябинами, он сбережет его от всякого зла.

После завтрака Роман обошел с отцом всю усадьбу, заглянул во все углы, потрепал лошадей, поиграл с собаками, похлопал отца по спине в знак наибольшей похвалы. На другой день он сходил в корейскую деревню и принес пару поросят, устроил им закуток, достал керосиновую банку и стал варить им месиво — совсем, как в последнее лето в Харбине, словно с тех пор не было ни выстрела из нагана, ни зимы в тайге, ни скитаний, ни тяжелой любви, ни грустных несчастных женщин, ни грустных встреч с ними в размягшей памяти, ни тишины Су-гамо, ни долгих двадцати лет.

Отец не расспрашивал Романа и тот ничего не рассказывал о себе. Молчал и Илья, опасаясь что и тот может заинтересоваться его тяньцзинским опытом. Иннокентий не спрашивал, так как прежде всего должен был бы спросить о Веселинове, другом сотруднике Гавас, что ставило его в некоторую связь с арестом Романа.

Отец радовался: наконец семья в сборе. «Надо жить семьей, все в ней и она всё. Кто не без слабости! А в семье поддержат, ободрят, приласкают. А если и казнить кого, то только его самого: не досмотрел, не поддержал крепкой отцовской рукой вовремя, не вникся в то, чем живет неразумное дитё, к чему стремится. Если к хорошему, то возрадуйся, укрепи его надеждой, оцени его стремление. А если к плохому — а что может быть плохого у дитя невинного! — разберись, если надо, накажи справедливо, не ожесточаясь, а с чуткостью и любовью».

Встреча Романа с Нютой была ему особенно приятна. Из угловатого ребенка, каким он помнил её, она вытянулась в миловидную стройную девушку, с приятным загорелым лицом. От того трагического дня у неё ещё осталась чуть нервная задержка в словах, прерывистое повторение некоторых букв. Много детского ещё сохранилось, и это восхищало Романа. Она по-прежнему подно-

сила руку ко рту, делала круглыми глаза и только тогда смеялась своим прежним смехом, когда он смешил её. «Милая девушка», повторял с радостным чувством Роман, любуясь ею.

В доме как-то само по себе образовалось три группы отмежеванные невидимым и всё же ощутимым разделом. Игнат Степанович, Роман, Катя и Нюта составляли одну группу, в которой каждый чувствовал хорошо друг с другом. Илья оживал при виде Варвары, радуясь, что она ещё слушала его истории о прежней жизни, её блеске, успехах в делах и у женщин; он заливался счастливым смехом и Варвара вторила ему, словно и она сама жила той хвастливой, надуманной жизнью, которую от скуки создавал себе Илья. Она так же томилась от скуки и безделья, от сознания, что ей ничего не осталось больше, как доживать в медвежьем углу.

В стороне оставался Иннокентий, у которого создавался собственный мир, но никто не знал и не догадывался, кем он населял его.

Некоторое время он не решался заговорить с Романом относительно работы, но однажды пригласил его посмотреть, чем он занимается вместе с Ильей.

Роман осмотрел без всякого интереса комнаты Отцов Пустынников, прислушался к повизгиванию ленточных кружков на магнитофонах. Он не слушал Иннокентия, шёпотом объяснявшего действия различных аппаратов, а следил, как в другой комнате за стеклянной перегородкой Илья читал в микрофон радио передачу. Заметя, что на него смотрели, Илья принял совсем важный вид; он то поднимал брови, то опускал их, простирая вперед палец, словно указывая кому-то на что-то важное в воздушных волнах; он поигрывал глазами, поглаживал себя по горлу, чтобы придать ещё большую выразительность своему голосу.

Роман не мог удержаться от смеха, но Иннокентий сделал предостерегающее движение пальца у рта и ука-

зал на плакат на двери: «Соблюдать тишину», и тихо закрыл дверь.

— Значит, работаем вместе, Роман!

— Работаем, х-м! Где?

— Здесь, с Ильей и со мной. Ты понимаешь сам, какая это важная работа, тебе говорить нечего. У нас провал в самом главном — некому писать! А у тебя опыт и перо бойкое! До сих пор помню твою статейку, читал ещё в Шанхае...

— Даже помнишь! А я, признаться, забыл. О чем она?

— Рука у тебя крепкая, стиль живой, беглый, не как у меня, отдает канцелярщиной... А тема? Тему всегда можно подогнать, если нужно. Ты, ведь, сам писал об этом..

— О чем ты так пламенно или неуверенно говоришь?

— О том, о чем ты ратовал — об общей пользе!

Роман свистнул. — Это то, что ты с Ильешкой делаешь. — ты делаешь для общей пользы?

— Кто как её понимает... Но дело не в этом. М-м...

— В чем же? Договаривай! Знаю по опыту: как начнешь мычать, значит, у тебя есть что-то за пазухой.

— Ты приехал сюда, следовательно ты должен... Чем ты будешь здесь заниматься?

— А, это лучше! Прежде всего, я ставлю на ноги поросят. Хочу дать им хорошее воспитание. Затем поступлю к батю в батраки. Найдется что-нибудь! Мне много не надо.

— Значит, ты не хочешь работать со мной?

— Здесь? Нет.

— Но позволь, — всполошился Иннокентий, выпирая челюсть и глядя исподлобья на Романа, — как же это! А последствия? Тебя же выпустили, чтобы ты работал здесь... Если бы не это, сидел бы ещё.

— Я не просил их, если выпустили, дело их! Незачем было и сажать! За потерянную войну и профуканное Белое Движение?.. О последствиях мы лучше помолчим. Мне плевать на всё.

Роман ушел, оставив Иннокентия в глубокой задумчивости. Недавно он сообщил жандармскому правлению в Вонсане, что Илья запускает работу. Илью вызвали туда, продержали весь день, припугнув, что отправят его в Тяньцзин досидеть срок заключения. Илья вернулся припуганным; он знал, что позади этого стоял Иннокентий, и, все равно, заискивал перед ним ещё больше. «Не сделать ли то же самое с Романом и проучить его» думал Иннокентий, накаляясь враждой к брату и чувствуя, что что-то сдерживает его.

Шли ровные дни благодатной корейской осени. Всколыхнула весть, что Алексей Гуськов потерял голову из-за Нюты; он робко просил Игната Степановича о заручке, прежде чем решиться говорить с Иннокентием и Варварой. Катя была в приподнятом настроении: «Подумать, приехала ребенком, а уже невеста!»

Подошла зима, тихая, снежная, с длинными вечерами; трещали дрова в камине гостиной, Алексей брэнчал на гитаре, не сводя влюбленных глаз с молоденькой жены. Восхищенно смотрела на неё и Катя, радуясь чужому счастью, такому, которого у неё не было самой. В дверях своей конторы появлялся Игнат Степанович, оглядывая поверх очков всех, улыбался и в раздумии шел к себе.

На Рождество понаехали гости из окрестных мест; шумели, танцевали, гадали на святках, катались на катке. Встретили весело 1945-й год, не зная, что он им принесет.

Гости разъехались и ровные дни потекли опять в Раздолье. По вечерам по-прежнему Катя сидела за шитьем, но теперь она готовила детские вещи. Игнат Степанович радовался: если не свои люди по плоти и крови, а всё же крепко врасли в семью!

Незаметно прошли зима и весна; на лето прибыло несколько дачников, но Иннокентий сделал так, что они не задержались надолго. В середине июля у Нюты родился мальчик. Крестили его в той же сеульской церкви, в ко-

торой венчались молодые, первого августа, в день Св. мученика Андрея Стратилата.

Через неделю мощные советские войска вторглись в Маньчжурию, событие не отмеченное никем в Раздолье, кроме Иннокентия. Большие перемены произошли в нем за последнее время. Он совсем не выходил из Отцов Пустынников, слушая с волнением новости, веря и не веря им, боясь думать, что его ставка бита. Вторжение советских войск напугало его неожиданностью и только после долгого раздумия он не только успокоился, но и пришел в то бодрое повышенное состояние, которое появлялось у него перед большими переменами.

О ходе войны советских войск против некогда мощной Квантунгской армии можно было судить по стремительному трехстороннему движению внутрь Маньчжурии, и всё же никто не решился бы предсказать, что она закончится в шесть дней.

Последняя новость, которую слышал Иннокентий в передаче хабаровского радио, была о готовившемся вылете советских офицеров в Северную Корею для приема капитулированных японских войск. В тот же день Иннокентий, с неловкой помощью суетливого Ильи, стащил радио-приемники и микрофоны в глубокий овраг и засыпал большим слоем земли. Работал он спокойно, быстро, деловито. Покончив с радио-аппаратами, он вывалил бумаги, радио-записи на пол, придвинул к ним мебель, облил газOLIном и поджег.

Когда на пожар бросился Игнат Степанович спасать дом, Иннокентий крикнул ему не подходить близко, что он знает, что делает. Старый Благообразов смотрел на зарево и плакал. С грохотом обвалилась крыша. Вихрь пронесся по тополям, обугливая легкое золото их листьев...

Под вечер Иннокентий выехал поездом в Пхеньян, будущую советскую ставку, чтобы на военном аэродроме одним из первых встретить советских генералов.

ГВОЗДИ НА ОТЦА

В один из сентябрьских дней около 11-ти часов утра в Раздольное въехало несколько военных автомобилей с советскими офицерами из Пхеньяна. Из первого автомобиля сошел тучный офицер с накинутой на плечи генеральской шинелью, в синих брюках с красными лампасами.

— Наслышались, наслышались о вашей деревеньке, — заговорил он простонародной скороговоркой. — Кто видал, просто не нахвалятся! Чехо, ховорять, только нет! Вот и приехали лично удостовериться, так или не так! Кажись, что, именно так, а не иначе! Хенерал Мясистый, рад познакомиться. А вот полковник Шевкун, прошу как ховорится, жаловать. А вот майор хвардии Кучеренко и майор Подбережный. А вот хражданские товарищи Жуков и Дронов.

— Очень рад, — ответил Игнат Степанович, — как раз вовремя, скоро и завтракать.

— Мы только взглянуть и сейчас же обратно. Познакомиться только, свои же, земляки. Родина то одна!

Расправляя толстые ноги, медвежатистая, толстошеея, с крупными носами и губами, сверкая золотыми погонами и тесня квадратным покроем плеч и брюк штатских костюмов, родина вышла на лужайку перед домом и загорила на «хэ», начиная всё словом «вот».

— Вот. Привет с родины. Она, как ховорится, та и не та, да и та, ведь сколько ходов прошло, время свое берет. Вот военные ходы закончились, теперь за хражданское благоустройство возьмутся. У нас власть то как! — заботится о хражданах и храждаяках. Власть захотовляет, кому что нужно.

Перед завтраком гости пожелали осмотреть усадьбу. Игнат Степанович хотел проводить их, но что-то остановило его; да и гости не хотели этого. В воздухе ещё пахло гарью от недавнего пожара, куда они и направились. Они постояли там, поковыряли палками в золе, оживленно разговаривая.

За завтраком советские гости много ели, много пили, крутили головами от восторга, хвалили хозяина, громко говорили о родине.

— У нас на родине пьют не так вот рюмками. У нас пьют на храмы, вот так, — раздвигая в кулаке мизинец и большой палец, — вот так, порция на сто храмов. На храмы. Одинаково на военке и на хражданке. Вот и полковник Шевкун подтвердит.

— Отчего у вас хорелым пахнет, — отозвался Шевкун, — никак одна из построечек погорела? Отчего это могло бы быть?

— От всяких причин. От неосторожного обращения с огнем, это каждый подтвердит.

Хозяин молчал. Он следил, чтобы гости хорошо ели и пили, но у него не было обычного чувства довольного хозяина, когда он сидел со своими друзьями. Зато много говорил подвыпивший Илья, который подыгрывался под советских гостей, тоже перешел на «хэ» и обращался к Мясистому, называя его то «ваше превосходительство», то «товарищ». Его несколько не смутило замечание одного из советских, что «обращение «товарищ» может идти только от равного».

После завтрака советские гости заявили хозяину, что им так понравилось у него, что они приедут ещё — и с того воскресенья их наезды стали обычным явлением.

Наезды советских гостей не нарушали заведенного хода в Раздолье; по-прежнему шли заботы о хозяйстве, о подготовке к зиме, о планах на будущий год. Но что-то случилось — что именно, Игнат Степанович не знал, но

он чувствовал, что появилась трещина, заделать которую он не мог.

Зимние вечера, когда не было советских офицеров, иногда гостивших по несколько дней, проходили в ровном семейном быту. Игнат Степанович и Роман играли в шашки, подолгу задумывались, как бы загнать друг друга в угол. Время от времени старший Благобразов морщил лоб, почесывал затылок и говорил: «Имейте в предмете», и Роман, пользуясь тем, что отец задумывался, отбивал у него пешку, приговаривая: «Вот тебе, батя, и предмейте в имете!» Отец отходил и улыбался, но ему было не до улыбки. Трещина углублялась: что-то не так! Не так! Чужие люди, как у себя дома. Свои, как чужие. Что делает Иннокентий в Пхеньяне? Служит переводчиком, экспертом по японо-корейским делам? Осведомителем? Куда гнет Илья, заискивающий перед незванными пришельцами, надеясь на что-то? Ах, сынки, сынки!

Он отрывался от игры, растерянный, смущенный, чувствуя с досадой наплыв ненужных слез. «Все хорошо», говорил он себе. «Мало у кого может быть лучше».

Белоголовый Андрюшка с удивленно голубыми нютиными глазами быстро ползал по полу, рвал за уши покорно принимавшую всё Леду, взвизвался в воздух с восторженным визгом в руках Романа. «Все же семья», повторял он, любуясь счастливой Нютой. «И все же трещина где-то», возвращался он к своим мыслям.

Ранний апрель. Весна в полном разгаре. Веет теплом из открытых дверей конюшен и коровников. Дымятся паром выгребленные из них кучи навоза.

Маленький, сбитый, в жокейском картузе и сапогах, в бриджах, обшитых по сидению замшей, Гуськов гонял на корде жеребчика. Он пощелкивал в воздухе бичом, приговаривая грубоватым голосом: «Ах, ты, монстра заморская», когда жеребчик лязгал зубами и лягал ногами. Но несмотря на окрик Гуськова и гневный взгляд жереб-

Чика, не было сомнения в том, что яркий весенний день с крепким, опьяняющим запахом был по сердцу обоим и что они были довольны друг другом. Гуськов остановил жеребчика, подобрал клоч сена и, уклоняясь от его головы и шершавых губ, старавшихся прихватить рукав, стал вытирать его взмыленную шею.

— Хороший конек!

Гуськов обернулся. Облокотясь о жердяную изгородь, стоял небольшого роста человек с узкой длинной челюстью, уширенным кверху черепом, вьющимися волосами и бакенбардами. «Пушкин!» поразился Гуськов.

— Славный, говорю, конек!

— Да, ничего. Баловный только, — сурово протянул Гуськов. — Вот я тебя сейчас окрещу — кусаться!

— Хорошо у вас здесь! Действительно, Раздолье! Что же, прожили здесь все годы войны?

— Нет, дольше. Попал сюда как только хозяин начал строить.

— А до этого?

— Сперва в Маньчжурии, затем на Шаньдунском полуострове.

— А там что?

— Воевал в русском отряде при китайских войсках.

— Против кого же?

— Против китайцев. В Китае это обычно, один генерал воюет против другого.

— Что же это — наемные войска?

— Если наем означает оплату, я бы не назвал их так.

— А чем занимались в Маньчжурии?

— Перебивался, чем мог. Работал в типографии, в гараже. Брался за всё. Как все.

— Трудно было?

— Не жаловались.

— Знаете автомобильное дело, технику вообще?

— Навык есть, разбираюсь. Здесь чиню всё, что надо, держу в порядке. Хозяин не жалуется.

«Пушкин» задумался. Со стороны веранды раздались громкие голоса: советские гости после очередного сытного завтрака прощались с хозяином.

— Кажется наши собираются отбыть. Моя фамилия Жуков. Рад познакомиться и побеседовать с вами. Надеюсь, увидимся ещё!

Во время советских наездов Роман оставался в стороне, не выходил к завтраку, отсиживаясь в одном из дачных домов в летнее время или у себя в комнате в отцовском доме. Вначале он как-то заговорил с одним из солдат, привозивших на автомобилях советских офицеров, расспрашивая его о доме, семье, но подошел другой солдат и хмуро заметил: «Это что же расспросы?» Ещё как-то раз генерал Мясистый, повстречав его случайно, спросил, указав на его ногу, «не боевое ли ранение?» «Да», ответил Роман, «под Уфой, в боях против Красной армии». «Давно забыто, родина понимает», ответил тот.

Роман видел, как за последнее время после каждого советского посещения, солдат, с которым он как-то хотел заговорить, увозил в Пхеньян толстые пакеты. Роман не знал, что было в этих пакетах; он не знал, почему советские офицеры, как Шевкун, Кучеренко и другие жили неделями в его отцовском доме, выходя из своих комнат только во время еды и всегда оставляя в них одного или двух солдат. Если бы на их кителях под рядами орденских ленточек висели бы собачьи головы, он догадался бы, что это была советская опричнина, работники отрядов СМЕРШ.

Прошло с год со дня первого приезда советских гостей в Раздолье. Такой же ласковый сентябрьский день. Начинают золотиться тополя, в тихом воздухе реет белая паутина, богородицына пряжа.

Жерёбая Проказница тянулась мокрой губой к руке Игната Степановича, слизывая шершавым языком крош-

ки сахара. Её шелковистая рыжая шерсть отливалась золотом, она пряла ушами, кося золотисто-карий глаз на хозяина.

— Что же скоро теперь!

— Со дня на день.

— Дай Бог, чтобы такой же, как Зорька или Щелкунчик! Вы, уж, Алеша, не сводите глаз!

— Будьте покойны, Игнат Степанович! Ведь лошадь то какая! И насчет жеребенка не беспокойтесь! При таком отце, как Сулейман...

— Опять, — тоскливо воскликнул Игнат Степанович, слыша шум автомобилей у ворот.

— А мы к вам, как прежде! Просто не проедешь мимо. Вот еще одного гостя привезли, познакомьтесь, хенерал Павлушкин. Как в прошлый раз обещали, что привезем. Да и хенерал интересуется. Вот.

— Очень рад — сказал Игнат Степанович. — Как раз вовремя. Скоро завтракать.

«Сколько раз за этот год повторял он эту фразу! Так много забот и работ. Надо сказать Алексею, что как только Проказница... правда он знает... охромел Кардинал, а ветеринара нет до сих пор...»

Перед завтраком советские гости обошли усадьбу, постояли у расчищенного теперь места, где сгорели Отцы Пустынники, прошли к оврагу, куда год назад Иннокентий выволок радио-аппараты, завалив их землей.

— Помните, мы как то встречались!

Гуськов обернулся: у изгороди стоял Жуков-«Пушкин».

— Как же, помню. Как поживаете?

— Ну, как! Служба, то да сё. Вот только и удовольствия, что побываешь в таком теплом месте, как ваше. Для меня, городского жителя, в такой усадьбе пожить было бы прелестнейшим новшеством! Конечно, до поры до времени, потом потянуло бы на что новое. К чему я говорю это, вы здесь уже давно, поди уже приелось?

— Не скажу. Мне нравится здесь, хорошие люди, лучше не найти. Здесь я женился, здесь и сынишка родился. По правде сказать, меня никуда не тянет отсюда.

— Да это верно, такая благодать, — Жуков обвел вокруг рукой и посмотрел на веранду, собираются ли там на завтрак. — Но не всё вечно в жизни. Как говорят умные люди, постоянны только перемены. Мало ли что может случиться, живем в такое время.

К чему он ведет разговор, думал Гуськов. Что-то неспроста. Все может случиться. А дальше что? А вот что! Перейдя сразу к делу, Жуков заговорил о том, что у них много дела, а людей нет, работы найдется на каждого, кто хочет потрудиться ради общего блага. Для родины же. А как для неё не потрудиться!

— А если точнее?

— Вы знаете, после японского засилия в Корее осталось большое имущество, надо его сохранить. Частные дома реквизированы и отданы местному населению. Но дело не в этом. Есть небольшие заводики, необходимые для экономики страны. У нас на учете спичечная фабрика в Вонсане. Работает не так, как нужно. Ищем человека присмотреть за ней. Особых знаний не требуется, конечно, смысленность, навык к машинам, руководство, контроль...

— Почему вы думаете, что я смогу взяться за такое дело?

— Человек вы, я вижу, смысленный, хозяйственный, технику дела одолеете быстро. Квартира, свет, отопление плюс жалование. Что же ещё!

— Почему вы думаете, что я возьмусь? Я служу, хозяин как будто доволен, не гонит. Куда же мне ещё бросаться? Знаете, от добра добра не ищут.

— Куда? Подождите! — Жуков повернул голову в сторону веранды. — Куда и почему, а? Зовут на завтрак. У нас генерал из центра, запаздывать неловко.

* * *

Как обычно, советские гости за завтраком много ели, много пили, много говорили, тыкали для убедительности вилками в воздух, складывали рыбы кости на скатерть рядом с тарелками, возносили до небес родину — «ту, да не ту» — и тут же «крыли её матом» за то, что не было послано им летнего обмундирования и им пришлось всё знойное лето преть в суконном.

Родина говорила об отечественной войне, причем разбитной майор Кучеренко, рисуясь и поигрывая глазами, воплотил советских офицеров — себя в первую очередь — в героев романа «Война и мир». С этого перешли на золотые погоны, «что в старое время это была ерунда, а теперь это заслужено, что подтвердит и хенерал Павлушкин». С серьезных тем перешли на легкие, чему способствовало обилие водки, и взялись за Кучеренко, что он «погорел на докторше, а если надо погореть на такой женщине, как докторша, то надо быть или чохнутым или пьяным в дугу».

Игнат Степанович думал о своем. Ему было жаль потерянного времени и он не решался сказать своим гостям, что у него много работы по хозяйству. Зато наслаждался Илья. Он громко смеялся, с восторгом поглядывая на соседей, суетился и всё пытался порассказать о себе, но его никто не слушал.

Наконец около четырех часов дня генерал Павлушкин, обменявшись несколькими словами с генералом Мясистым, сказал:

— Что-ж, закругляться конечным делом!

— Вот какое дело есть, — обратился Мясистый к Игнату Степановичу, когда все встали из-за стола, — надо съездить нам в Пхеньян.

— Нам? — удивился Игнат Степанович.

— Точно. Хенерал Павлушкин просит осуществить.

— Для чего же?

— Познакомиться ещё ближе. А то мы всё у вас, а вы у нас ещё ни разу.

— Точно.

— Да у меня работ непочатый край. Премированная кобыла жеребится, да столько дел ещё!

— Да только доехать познакомиться и сейчас же вертаемся обратно, — сказал Мясистый, выходя из-за куста сирени, застегивая одной рукой пуговицы брюк, другой махая в воздухе. — Вот и хенерал Павлушкин подтвердит. Сейчас же вертаем.

Группа советских офицеров, окружив кольцом Игната Степановича, направилась к автомобилям. При виде хозяина Леда, извиваясь туловищем и сверкая золотом глаз, бросилась к нему. «Пошла прочь, стерва», прикрикнул Мясистый, отпихивая ее ногой. Солдат открыл дверцу автомобиля, кто-то подтолкнул Игната Степановича. «Катя!» крикнул он сдавленным голосом. Солдат попробовал, закрыта ли дверь. Загудел мотор. «Джип» с Мясистым на переднем сиденье рванул с места. Автомобили, попятившись назад, заскрежетали колесами по гравию. Раздолье осталось позади.

В четыре часа утра в усадьбу прибежал Иннокентий. Весть об аресте отца ошеломила его и всю дорогу, торопя время и версты на товарном поезде, он лихорадочно ломал себе голову, что делать.

На собачий лай из дому вышла не спавшая всю ночь Катя. Увидев Иннокентия, она бросилась к нему.

— Где Игнат Степанович? И почему вы здесь, Кеша?

— Подожди, Катя, потом, мне надо Романа и Илью. Где они?

Иннокентий кинулся в дачный дом, где жил Роман.

— Что случилось, — спросил он, увидя Иннокентия.

— Отца захватили.

— Кто, куда?

— В Пхеньян. Что они здесь долго шарили? Копались в овраге? Опрашивали кого-либо?

— Что с отцом, ты так и не сказал!

— Отца увезли. Арестовали. Ты знаешь, что это означает...

— Катя сказала, что ты здесь, Кешка, — воскликнул Илья, вбегая в комнату. — Что случилось?

— Отца забрали.

— За что?

— Ты знаешь, за что! Они видели остатки пожара?

— Смотрели, ковырялись палками в золе...

— И в овраге?

— Я не видел сам, но ходили кругом.

— А тебя не спрашивали?

— О чем? Наоборот, говорили, что теперь родина понимает всё и сочувствует. Такой симпатичный народ!

— А ты знаешь, что будет?

— С нами? — С лица Ильи сошла краска, его голос задрожал. — Что же может случиться?

— Забрали отца, заберут и других.

— Так бежать, пока не поздно!

— Куда побежишь! Тебя выловят на первой станции. А ты, Роман, бежал бы?

— Я не знаю, что может угрожать отцу! Все равно, чтобы то ни было, я с отцом!

— А ты, Иннокентий?

— Взяли отца. На этом не успокоятся. Возьмут и других. А если так, я сказал бы — гвозди на отца...

... Отец на корточках у шкафа, роется в нем. Воскресенье, старый дом в Харбине. «Вот так фунт!» повернувшись к пятилетнему мальчугану и потрепав его по щеке, ласково: «Приготовил что-то для тебя, Кешка, а ты уж сам успел добраться!» Отец теплый, ласковый, в кожаных туфлях, диагональных брюках, выгнутых на коленях, немножко заношенный, чудаковатый... Гвозди на отца, у него всё равно всё позади... Острый запах опилок, незабываемый до сих пор... Через арену цирка идет отец с тарелкой в руке с мясными пирожками для Кешки, Ильи и него... Казалось, что весь цирк следил за ним,

когда он пробирался по рядам до того, где они сидели. Отец улыбался, но не так как дома, а церемонно, протягивая тарелку с пирожками. От него чуть пахло водкой, он был тепло настроен, не замечая их смущения... Гвозди на отца, теперь ему все равно, дадут десять или пятнадцать, а у тебя и у меня...

— Может быть все же бежать, а! Только бы успеть...

— Куда ты побежишь, Илья! Поймают сразу. Говорю, не выдавай никого, а если и делал что, то по указанию... А как ты, Роман?

— Я тебе уже сказал. А вот как ты, это интереснее.

Иннокентий перевел тяжело шею, заговорив неразборчиво, что служит и поэтому...

— Понимаю, как залепетал, значит есть, что сказать. Иными словами, служишь примерно новым хозяевам, как служил прежним. За год с ними выслужился, вошел в доверие. А если и прибежал сюда, то не из-за отца — я не говорю об Илье и себе — а ради самостраховки.

— Что из того, что я служу! Это само по себе, никакого отношения не имеет. Ты не понимаешь и не допускаешь, что с человеком могут произойти перемены!

Иннокентий ещё раз перевел шею и заговорил о переменах, новом духе советской армии, её офицерах, носящих с честью форму старой российской армии, о родине, призывающей своих сынов...

— Залепетал опять! Что ты знаешь о родине. о старом времени, нигде, кроме Харбина и Пограничной, не бывавший, нигде, кроме полиций не служивший, но всегда чужим хозяевам и теперь цепляешься за нового! Носят с честью форму! Хм! Целый год жрали, как свиньи, пили, жили по месяцам, целый год!, пока строчили, за что бы взять отца! Я знаю, что когда ты начал это дело, ты сказал отцу, что оно твое, что ты один ответствен за него. А теперь — гвозди на отца! Подлец ты, Иннокентий! Не знаю, были ли со времен Иуды такие предатели, как ты! И пошёл вон отсюда! Тебе здесь не место!

У ворот Раздоля Илья нагнал Иннокентия.

— Ты не слушай Романа, забудь, что он тебе сказал. Мы все взволнованы, теряем голову! Знаешь, что, Кеша, а что, если я с тобой махну в Пхеньян! Знаешь, послужить добровольно, ты знаешь, как я могу работать, с жаром, с пылом, не щадя ни сил, ни себя. Я думаю, они это чувствовали. Вообще ко мне они хорошо относились. Я о себе много не говорил, держал себя с достоинством, это много значит. К чему я веду, Кеша, чтобы ты мне оказал заручку у них на первое время. Знаешь, закрепить себя на первое время, а затем... затем...

— А затем? — пролепетал Иннокентий.

— Смотраться в Южную Корею к американцам.

— И мне? — ужаснулся Иннокентий.

— Вместе, вместе. Ты и я. Вместе. — Голос Ильи заискивающий, взгляд умоляющий, рука на плече брата.

— Что ты говоришь, страшно слушать! Я же ведь служу, а это, как под присягой. Что бы я сделал что-либо подобное — бежать к америкашкам! Да никогда! Повторяю, если тебе придется жарко, вали на отца!

ЦАРСТВЕННЫЙ СЕУЛ

Для Иннокентия настали тревожные дни. На следующий день после захвата отца, из оврага были вырыты радио-аппараты, закопанные год назад. В тот же день увезли в Пхеньян Романа. Илью схватили на следующий день в доме женщины, которую он соблазнил и бросил в первый год жизни в Раздолье. Иннокентий ждал со дня на день, что захватят и его. Он гнал от себя мысли о советском вероломстве, как и мысли о своем главном участии в радио передачах. Если взяли отца, то вероятно было за что, не его дело судить. Что же касается его радио работы, так это детская забава! Так и понимают здесь, иначе его не держали бы на службе. «И все что-то не так», тревожил он себя. «Не то, не то. Отца мариновали целый год. Неужели и с ним поступят так же?»

Он служил в штабе, как переводчик. Тут же сидел Ким, тот Ким, которого он чуть не повесил в детской игре в шпионы и провокаторы. Никаких перемен к нему со стороны начальства он не видел. Никто не говорил с ним об отце и братьях, словно ничего не случилось.

Накануне дня, когда на военном самолете увезли отца и братьев в Хабаровск в Дальневосточный штаб для показательного суда, Иннокентий устроил себе командировку в Паньмыньчжон, пограничный пост на 38-ой параллели, разделяющей северную советскую зону от южной американской. Предлогом для командировки была необходимость проверить группу беженцев, пытавшихся перейти в американскую зону, и какое-то щемящее чувство, которого он боялся, при виде самолета, поднявшегося с аэродрома для полета на север.

* * *

— Пока ты, старик, ездил на границу к американцам..
— Куда? К американцам? О чем ты говоришь!
— Ладно, ладно, успокойся, не так подъехала! Пока тебя не было, говорю, к тебе прибегал этот, как его..
— Кто? — Иннокентий нахмурился.
— Певец скорби и печали. Из Раздолья.
— Маркел? Что ему нужно?
— Не знаю, старик. Может быть хочет предупредить тебя, что и тебе... Да ты не бойся, отче, над тобой не каплет, это я так с бабьей дури брякнула.

Иннокентий почти ничего не говорил Варваре об отце и братьях, кроме того, что их увезли в Хабаровск. Почему и как, она не спрашивала и он был рад. Единственно, что она сказала, что ей было жаль Илью.

На следующий день к большому неудовольствию Иннокентия пришел Маркел. Хозяин сидел нахмуренный, с опущенной головой, поглядывая вопросительно на Варвару, не оставит ли она их вдвоем и боясь, что Маркел заговорит о Раздолье

— Душно как-то здесь! Пойдем наружу.

Он провел Маркела во двор и там через калитку они вышли в сад за домом.

— Я не хотел вас расспрашивать дома о Раздолье Варвара Ивановна так переживает, я просто боюсь за неё Ну, что, как там?

— Ну, что! Раззорили! Нет нашего Раздолья, Иннокентий Игнатович! Хозяина забрали, а ведь какой сердечный человек! А хозяин! Ведь что создал своими руками! Плакать мало... Лошадей угнали во Владивосток, скот разобрали корейцы, в дом напустили... Противно говорить.

— Кто же остался в Раздолье?

— Никто. Гуськов с семьей в Вонсане что-то делает на каком-то заводе.

— А Катя?

— Екатерина Васильевна тоже в Вонсане. Как устрои-

лась, не знаю.

— Что же вы собираетесь делать?

— Вот об этом самом я и хотел поговорить с вами доверительно.

Иннокентий насторожился.

— Делать здесь мне нечего. Возвращаться домой после стольких лет? Мы надумали с женой и дочуркой перебраться куда-нибудь, например в Сеул. Я и хочу спросить вас, как бы получить пропуск, чтобы значит по хорошему, а не зайцами.

— Вы думаете, я могу достать то, чего вообще нет?

— Имел надежду полагать. Как свой человек, значит, заручка... А бегут пачками, и наши, и корейцы, которые не сочувствуют...

— Так вы тоже собираетесь?

— Насчет пропуска я то так спросил, конечно, имею рассуждение...

«Подбивает или только нащупывает», думал Иннокентий — Как же вы собираетесь это сделать? Интересно послушать.

— Вот именно, — обрадовался Маркел. — Ведь ради Игната Степановича и братцев! Вот если бы тогда они решили... А теперь, пока не поздно... Чего же ждать!

Маркел рассказал, что он сговорился с корейцами, переводившими беженцев по глухим местам через пограничную зону на юг, о месте сбора и времени отбытия.

Иннокентий молчал, опустив голову. Молчал и Маркел в некотором сомнении, нужно ли было ему приезжать два раза в Пхеньян, страдая за судьбу Благобразовых?

— Я знаю, что вы хотите сказать. Ещё раз, как?

Маркел повторил, всё, что сказал до этого, но от прежнего чувства у него ничего не осталось.

— Сделаем так, — сказал наконец Иннокентий, — я ценю ваше участие и, как это выразиться... Но самое главное вот что: вы меня не видели и ничего мне не говорили.

* * *

— Где ты так долго пропадал и что ему нужно?
— Просит, чтобы я устроил его на службу здесь.
— А ты что?
— Ну, понятно, обещал. Как не помочь своему — жене, дочь.

— Хм-м, — протянула Варвара разочарованно. — А я думала другое.

— Что же ты, Варенька, думала? А ты знаешь о чем я думаю? Ты знаешь, как теперь нужны люди? Международное положение так складывается, что...

— Знаю, как залепетал и заскорбел о чем-то, значит, есть что-то сказать. Высказывай, отче, не наводи тень на плетень!

— Тебе, Варенька, надо начать служить.

— Вот новости ещё, с чего это ты взял! Где?

— В штабе у нас машинисткой. Ты знаешь это дело, а там тебя очень хотят. Начинай, хоть завтра!

— Так ты уже успел договориться, продать любимую женщину на корню!

Доклад его о поездке в Паньмыньчжан был составлен в общих чертах и не удовлетворял его самого, пока он не включил в него все, что сказал ему Маркел. Через неделю в штабе стало известно, что советская пограничная стража захватила группу эмигрантов с корейцами проводниками при попытке перебраться в американскую зону.

Октябрь, золотая пора Кореи. Покой в селениях, в долинах, в горах. Теплые ещё дни. Длинные сумерки.

— Хочешь прогуляться, друг Варенька?

В его голосе было что-то, что насторожило её. Что на этот раз?

— Для твоего артрита хорошо, да и моцион тебе нужен, целыми днями гнешь спину над пишущей машинкой. Не знал, что у тебя такая служебная прыть!

Они вышли на улицу, свернули в сторону открытого поля и корейских фанз, крытых желтой соломой. Пахло дымом и жареной рыбой. Во двориках фанз корейки готовили рис к вечерней еде. Полуголые дети играли в пыли. Старики корейцы в белых одеяниях и черных шляпах сидели на корточках с длинными трубками в зубах.

Они вышли к городской стене, поднялись на неё и сели на гранитный край под сосновые ветви. Внизу под ранним вечерним небом тихо текла река Таедон.

— Ты бы, Варенька дружок, взяла и навестила бы наших, Нюту, Алексея, Андрейчика! А то нехорошо, больше года уже как не виделись.

— Родственные чувства заговорили или что-то другое?

— Всё вместе, Варенька.

— Начинает гореть под тобой, старик? Чуешь запах дыма?

— В штабе? Что ты, Варенька! Так служить, как мы...

— Знаю, что не зря устроил меня, а то не лезла бы вон из кожи. Когда же?

— Когда же что, Варенька?

— Брось играть в прятки! Для чего ты вывел меня из дому под густые ветви? Боишься, что там подслушают! Начнем сначала. Для чего мне ехать к Нюрке? Проверить, не ждет ли она от нечего делать ещё одного питомца? Конечно, нет!

— Нет, — согласился охотно Иннокентий. — Не их, а Катю. Всё будет уже готово. Вот и всё.

— Какое ясное изложение: вот и всё! А что всё?

— Так ведь ты сама только об этом и думаешь! Ты поедешь на поезде до Вонсана, но сойдешь раньше. На службе отпросишься съездить повидать дочь — подробностей не надо, дочь или не дочь — и внука. Выедешь в пятницу с трех-часовым поездом.

— Послезавтра? А ты?

— Дело другое. Меня посылают в командировку с полковником Шевкуном.

— Когда и надолго ли?

— В понедельник. А как долго и куда неизвестно.

Варвара задумалась, испытующе поглядывая на него.

— Что-то не так, старик! Значит, не вместе, а?

— Так складывается, — вздохнул он. — Не забудь заявить завтра на службе, что у дочери что-то случилось, то ли сын заболел, то ли муж запил мертвую. Не поверят этому, Алексей на хорошем счету. Насчет вещей не беспокойся, возьмишь одну котомочку, я помогу тебе уложиться. Придется идти пешком.

— Куда идти?

Иннокентий привстал, оглянулся вокруг, на горы, за которыми нарастал оранжевый закат, на реку, залитую желтым светом; он опять сел, свесив ноги с края стены, и заговорил вполголоса: — назовем это «код паломничества». Не до Вонсана же, конечно. Ты сойдешь с поезда за две станции до города, название я тебе напишу, полустанок у деревушки. Сойдешь вниз по улице, иди тихо, часто останавливаясь, пока к тебе не подойдет кореец и спросит, что ты ищешь, или ты не увидишь её.

— Увижу кого?

— Катю. Из Раздолья.

— А ты всё время говорил о Нюрке!

— Да ведь не с ней же ты идешь! Ты ещё спроси, куда! В американскую зону. Такая смышленная, а тут как...

— Ты мне совсем задурил голову! Почему я одна? А ты что как? Я одна не хочу. Бог тебя знает, что у тебя на уме!

— Другого случая может и не быть! Если не хочешь, останемся. Знай одно, если со мной что-то случится, как с... — его голос дрогнул — я ничего не скажу, никакого упрека. Ни слова.

В пятницу Иннокентий проводил Варвару до станции, посадил в поезд, стараясь развеселить её, чтобы никто не видел, в каком нервном возбуждении она была.

Под вечер Варвара сошла с поезда на маленькой станции, походила по перрону, пока выгружали из багажного вагона мешки. Когда поезд ушел, она прошла к селению, заглядывая во дворики фанз, пока не вышел кореец и не поманил её внутрь.

Ей показалось, что сидевшая в углу фанзы Катя встретила её неприветливо и даже враждебно. Зная Катю и её сдержанный характер и будучи сама встревожена предстоящим переходом, она старалась не думать ни о чем, кроме того, что судьба невольно сближает их.

В тот же вечер на тряском грузовичке они отправились на юг, на два ночных перегона, отсиживаясь и отсыпаясь в глухих деревушках, пока не прибыли к месту, откуда начинался горный переход.

Варвара стонала; ей казалось, что все её кости были переломаны, болела голова; она жалела, что послушалась Иннокентия и обрекла себя на такую муку. Она мучила себя мыслью, что Иннокентий задумал всё это, чтобы отделаться от нее. Ей хотелось жаловаться, плакать на чьем-либо плече. Но в фанзе никого не было, кроме Кати, умытой, причесанной, сидевшей в углу с книгой в руке.

Позже ближе к полуночи показалась луна, осветив трех-четвертной поверхностью кривую улицу, белые стены фанз, долину с дорогой, обсаженной тополями, сжатые рисовые поля, массив горного кряжа.

После полуночи они вышли на дорогу, кореец проводник, две женщины и несколько корейцев с рогульками за плечами для ноши. С тополевой дороги они свернули на тропинку и пошли по узкой насыпи между рисовыми полями, пока не вышли к горной реке, перешли её по плоским камням и остановились передохнуть у молельни с Буддой, высеченном из гранита. Носильщики сняли с плеч рогульки, достали из-за поясов трубки, высекли огонь и закурили.

— Ночь то какая, словно под Страстную, — сказала

тихо Катя, — благодать то, если бы только...

Она замолкла и Варваре показалось, что Кате стало неловко за эту фразу, сказанную при ней. Она задумалась. «Если бы только» вряд ли относилось к безопасности перехода, а к чему-то более значительному — и она снова вернулась к тяжелым мыслям об Иннокентии.

Кореец проводник выколотил трубку, поковырял в ней ногтем мизинца и, показав на темный хребет горы, сказал: — Хана, тури, сой, дой, — и, отогнув четыре пальца, добавил: — верста.

Они стали медленно подниматься в гору. Корейцы носильщики шли, согнувшись под тяжестью ноши, касаясь руками земли. Обе женщины шли друг за другом на некотором расстоянии. После слов Кати о Страстной ночи и благодати, они обе молчали. Варвара чувствовала, что что бы она ни сказала, она нарушила бы таинственную значительность ночи. Она смутно чувствовала, что что-то её — хотя бы по связи с Иннокентием и всем тем, что стояло за ним и его миром — кощунственно нарушало то, что Катя называла благодатью.

Катя думала о своем. Какая темная сила смела всё то, что было настоящим, праведным, истинным, единственно верным выражением жизни, её созидательных сил, что расцвело таким пышным цветом под руками Игната Степановича! Многое она не понимала, не могла объяснить себе, так как в её простом мышлении отсутствовали понятия о вероломстве, предательстве, низости и подлости человеческой, — все же навязчиво вставал перед нею образ Иннокентия, как она помнила его по истории с пропавшими часами и слепым гармонистом Кузей, темными слухами о выдаче каких-то партизан, с последним разговором с Маркелом, поведавшим ей о встрече с Иннокентием в Пхеньяне и последовавшем захвате у самой границы его и его семьи. Она старалась отогнать от себя этот навязчивый образ и начинала думать о том, что же в действительности произошло за этот год с лишним.

Она видела длинный стол, в летнее время на веранде, в зимнее — в столовой, за которым сидели советские гости каждую неделю, часть приезжавших из ставки в Пхьен-ян, часть самовольно вселившихся в дом, генералы, полковники, майоры, украшенные боевыми наградами, получить которые они могли только за такие действия, как против Игната Степановича. В её ушах всё ещё звучал сдавленный крик «Катя», глаза ещё видели, как сытые советские гости, только что встав из-за обильного стола, заталкивали в автомобиль растерянного хозяина...

Варвара чувствовала, что происходило с Катей. Она чувствовала, что необычайная ночь, яркая звезда, всплывшая сбоку луны, ночное безмолвие, ощущение органической чистоты ставили её на один уровень с Катей, но что она была недостойна этого. Она не хотела признаться в этом и вместе с тем ей было приятно ощущать себя робкой, смиренной, словно в этом была подготовка к исповеди, к неиспытанному очищению.

Луна скрылась за горным хребтом и на её месте ярче запылала в посеревшем небе Венера, звезда утренняя. В стороне глухо залаяла собака; вспыхнул слабый огонек и на него пошел проводник. Четыре версты, о которых он упоминал, давно растянулись в восемь.

Забрезжил предрассветный час. Полнеба побледнело, выделяя впереди гранитную стену и крышу буддийской кумирни.

— Его корейска бога. Ваша садиса отдыхай.

В рассеянном свете вырисовалась перед вызолоченным алтарем фигура улыбающегося Будды. Вдоль гранитного парапета сидели монахи в белых одеяниях с обнаженными левыми плечами, в утреннем созерцании. Призрачный туман клубился над долиной глубоко внизу, застывшая в золотистых листьях тополей. За монастырем веяло запахом сырого дыма.

— Другой сторона, — сказал проводник. Он повернулся к северу, прощаясь за них с тем, что они оставили по-

сле полуночи. — Наша подожди, — добавил он, поясняя рукой, что они будут готовить рис. — Ваша сыпи маленько, отдыхай.

«Да, да, заснуть немного», отозвались мыслями женщины, подая головами на колени.

С тех пор, как Гуськов перебрался с семьей в Вонсан, его начал посещать Жуков с отменной регулярностью. Приезжал он каждую неделю за час до конца служебного дня, зная, что его оставят на обед. Эти посещения не имели ничего общего с управлением и другими делами спичечного заводика, который бойко шел под хозяйственными руками Гуськова, но преследовали другую цель.

Жуков до странности походил на молодого Пушкина, как он изображен на портрете Кипренского. Зная это, он делал всё, включая прическу, бакенбарды, манерность, чтобы довести это сходство до совершенства. Дальше этого он не шел, но будучи по своему одаренным человеком, он направил свой талант на подготовку агентов для советского шпионажа.

Натаскивания происходили в конторе управляющего, откуда Гуськов отсылал служащих на завод для проверки инвентаря. Двери закрывались плотно и Жуков начинал свою работу.

Началась она пространной экспедицией в историческо-политические недра советского строя, защищать который от внешних и внутренних врагов является наисвященной обязанностью каждого порядочного человека.

Одним из таких порядочных людей по мнению Жукова и должен оказаться Алексей Гуськов.

Затем появился чемоданчик на подобие акушерского, из которого Жуков, как фокусник, извлекал вещи, одна интереснее другой. Делал это он последовательно, и если ученик не овладевал сразу техникой обращения с жуковскими игрушками, он терпеливо повторял урок и только после утвердительного ответа, что тот «дорубил», пере-

ходил к следующему.

Он показывал, как избежать слежку или заметить её, поясняя, что если дойдет до этого, то полезность агента прекратится сразу. Главное, поучал он, «зарыться и войти в сущность», т. е. жить среди людей, которые представляют интерес для советского отечества.

Кроме «входа в сущность» оставалась ещё необходимость работы, иначе зачем же любезное отечество будет тратить время на пустое дело! А она сводилась к простым вещам: время от времени, но точно в указанные сроки, черкнуть весточку кому надо. Делается это просто: чистый лист почтовой бумаги, самопишущее или обычное перо, пузырек с чернилами. Но так ещё при царе Горохе. Достаточно одной советской самопишущей ручки в добавление к несоветской. Пишется несоветской ручкой: «Здравствуйте, я ваша тётя! Прослышала о вас, что вы живете» и так далее. Другой, советской ручкой пишете между строк всё, что нужно, даёте просохнуть, проверяете на свет, не осталось ли следа, и отправляете по условному адресу, который надо держать только в памяти, не указывая своего.

Другой род — «письма на деревню дедушке» пишутся по буквенному или цифровому коду. Записка маленькая, сложенная в восемь раз, запятанная в пузырёк от лекарства, такой всегда найдется дома. «Дедушка» может находиться всюду: старое кладбище, памятник, проход под каменным сводом, старинные ворота, храм.

Жуков следил, как его ученик принимал учёбу и спрашивал: «дорубили?»

Затем пошла более сложная техника «в освоении аппаратуры». Жуков вытащил из своего саквояжика черный пакетик размером с портсигар. «Знаете, что это такое?» «Не имею понятия». «А вот мы сейчас это продемонстрируем».

Жуков размотал проволоку, подкинул любовно на руке пакетик и сказал: — Это штучка для магнитозаписи, а

провода — антенна. Происходит важный разговор. Все-го не запомнишь, и записать на месте нельзя, а эта штука слушает себе и записывает. Батарея на восемь часов, наслушаешься вдоволь. Но как держать эту штучку при себе, чтобы другие не знали? Обычно в кармане пиджака у груди, но люди знающие для проверки легко в разговоре, как бы случайно, касаются вас груди, там ли слуховой аппарат. С вами мы сделаем так: засуньте этот пакетик за пояс брюк и пропустите под рубашкой до шем эти два провода, это ваша антенна. Вот так. Ну-ка, повернитесь! В эту сторону! Х-м, — покрутил он головой, критически оглядывая жокейскую фигуру Гуськова. — Заметно. Пока отложим это в сторону. Играете на каком-либо музыкальном инструменте?

— Бренчу на гитаре, — ухмыльнулся Гуськов.

— Знакомы с радио? Но здесь другое. Видите: небольшой аппарат для радиопередачи на ультра-коротких волнах в 3,500 и 8,000 мегоциклов. Но на нем надо попрактиковаться. Сейчас апрель, мы собираемся закинуть вас в июне. Время ещё есть. Кого вы знаете в Корее и, возможно, в Японии?

— Затрудняюсь сказать. В Сеуле ещё знаю кое-кого. Знал то многих. Почти все перебывали в Раздолье. А вот в Японии, х-м!, не представляю. Наверное есть, кого знаю.

— Хорошо, это всё поможет. Конечно, среди русачей много кобылки, с которой нечего возиться и не в ней наш интерес. По приезде на место прежде всего ищите работу у американских властей. По-английски болтаете немного? Ну, совсем хорошо. Встречайтесь как можно больше с америкашками. Знаете, где церковь в Сеуле? Ходите туда чаще под благословение, так сказать, святого мужа, человек сочувствующий, но ему ни гугу. И вообще, ни жене, ни родному отцу-матери ни слова.

После уроков Гуськов приглашал его к себе, где Нюта возилась с неизменным «беф строганов». Жуков становился добрягой, смешил хозяйку, бодал растопырен-

ными пальцами икавшего от удовольствия полуторогодовалого Андрейчика.

Что думал сам Алексей Гуськов? После полной жизни в Раздолье, дни в Вонсане при заводе текли однообразно и единственно радостным пятном были Нюта и Андрейчик. Визиты Жукова давали надежду на возможную перемену. Посвящение в тайны секретной работы увлекало его, как увлекали в детстве игры в казаки-разбойники. Он чувствовал себя выше ростом, разыгрывая в воображении отважную роль секретного агента, таинственную жизнь, о которой будет знать только его могила, одинокие ночи, тусклый свет фонаря, пальто с поднятым воротником, в глубоком кармане рука, сжимающая рукоятку .45 револьвера с звукоглушителем... Если выбрали его, значит знали за что.

Затем наступали трезвые минуты и, прежде всего вопрос: для чего всё это? Ради убеждений? Политических? Он на другом берегу, по крайней мере он так считал. Из-за влечения к авантюрной жизни? Шаньдунь, наемные войска? Но тогда у него не было ни Нюты, ни Андрейчика, таких дорогих, любимых существ? Для чего же ему бросаться в какие-то авантюры? Отказаться от всех затей. Интересно и весьма заманчиво, но знаете, дорогой Александр Сергеевич, жена, дети... Но тут же он вспоминал Игната Степановича, Романа и Илью, увоз их в Хабаровск, суровое присуждение ко многим годам принудительных работ — и ему становилось не по себе. Такая же судьба могла постичь и его. За что увезли неповинного ни в чём Игната Степановича, да ещё так подло!

Он слышал голос Нюты, пленивший его с первой встречи; он видел её сияющие глаза — они сияли у неё всегда, даже когда она плакала, больше от радости и удивления — и он заполнялся таким счастьем, которого никогда не знал раньше.

Он качал на ноге заливавшегося смехом Андрейчика, смеялся сам, радуясь, что ничего не может случиться с

ним, так как вся его жизнь и счастье стоят за него.

Его беспечность и легковесный характер находили ответ в простом отводе решения с сегодня на завтра. Что волновать себя тем, что разрешится само по себе завтра. Он снова принимался за раскачивание Андрейчика, ожидая, когда раздастся звонкий голос Нюты: — Ну, довольны вам играть, марш к столу!

Яичница из яичного порошка, молоко, порошок, разбавленный кипятком, ветчина, особенно pancakes, американские блины, показались такими вкусными двум беженкам, словно они никогда ничего не ели. Ранний час, пограничный пост американской зоны, молодые солдаты, безусый лейтенант. Варвара с ограниченным запасом английских слов, молчаливая Катя с ласковой признавательной улыбкой. Телефонный вызов на главный пост под Паньмыньчжон. Поездка туда на полсовом автомобиле «джип».

Удивлению Варвары не было границ, когда у здания поста она увидела Иннокентия, разговаривавшего с американским офицером, словно он был здесь всё время с начала основания пограничной зоны.

Она бросилась к нему, но он остановил её движением руки: — Сперва надо оправить формальности, ведь ты же из вражеского стана.

Его слова несколько озадачили её: когда же он успел выполнить свои? Или ему не нужно? Но ей было не до этого: скорее бы разделаться со всем, попасть в чистую комнату, умыться, переодеться и лечь спать. Нет, сперва взяться за Иннокентия.

Она не помнила, как по прибытию в Сеул она рассталась с Катей. У неё не осталось ничего от того чувства смирения, которое охватило её прошлой ночью. Она была рада, что на вопрос Иннокентия где и как она будет жить и нужна ли ей его помощь, Катя сдержанно поблагодарила его и сказала, что у неё всё есть и ей ничего

другого не нужно.

— Когда Варвара оглядела опрятную комнату бывшего японского отеля в Сеуле, раздвинула бумажные рамы окна и увидела гору, заросшую соснами, а сбоку массив Южных Ворот, она пришла в восторг.

— Мне не верится, что я вижу это наяву. Мне кажется, что вот проснусь в халупе в той серой дыре! Но ты скажи мне, старик, как ты всё это сварганил? Прежде всего, что ты здесь собираешься делать?

— Служить, дружок Варенька.

— Где?

— Видишь, Варенька, крыша? Самое высокое здание здесь. Отель Банто.

— Что же в нем?

— Главная квартира XXIV-го Корпуса, Генерал Ходж, командующий генерал.

— Х-м! Сказано то как! Что же ты собираешься делать у этого генерала?

— Ну, не у него самого. Что-нибудь найдется. Многого мне не нужно!

— Понимаю! Дай ка мне взглянуть на тебя пристальнее! Понимаю. Уже сговорился! Значит ты теперь, отче Иннокенте, полный кавалер пяти орденов!

— Как это, друг Варенька?

— Китайского, английского, японского, советского и теперь американского. За подобное рвение ещё наградят махровой лентой через плечо, а чин действительно тайного советника пожалован тебе уже давно.

— Ты, Варенька, скажешь такое, что если кто услышит на самом деле поверит...

— Ах, так этому верить не следует! А я то, глупая моя голова, слышала что-то на базаре и сама стала носить!

— Шутница ты, Варенька, другой такой не найдешь, сколько не ищи! Дай ка мне на минуточку твою котомочку. Ах вот она — главного то я и не приметил!

Иннокентий взял саквояж Варвары, раскрыл его и вы-

валил содержимое его на кровать. Засунув руку внутрь, он вырвал со дна его подкладку. — Вот они, — сказал он с облегчением.

— Что это такое? Что ты сделал с саквояжем?

— Он тебе больше не нужен. А вот эти бумаги...

— Что это за бумаги?

— Так ведь ты же, Варенька, служила при советском штабе! Вот и привезла кое-что на память.

— Подожди, Иннокентий, у меня даже дух захватило — я привезла? Теперь понимаю, почему ты взялся уложить мои вещи! И ты подсунул их, чтобы я пронесла, а сам перешел с пустыми руками, если не считать поддельного пропуска...

— Как же прийти в новое место, не принеся ничего?

— С пустыми руками и невинными глазами в то время, когда я несла их! А что было бы, если меня поймали бы с ними?

— Так ведь тебя же не поймали, Варенька, — сказал он с подкупающей убедительностью.

Варвара дико посмотрела на него. — Страшный ты человек, Иннокентий, чудовищный! — Она дернула головой словно от неожиданного удара, неистово вскрикнула и захлебнулась в судорожных рыданиях.

Новое место, новые требования и условия, необходимость приспособиться, показать себя с хорошей стороны. В самом процессе пристраивания ничего не было нового для Иннокентия, но то, что это было не раз и было у хозяев, различных по духу, политической окраске и прочим особенностям, представляло известные трудности. Возникали невольно вопросы о таких условностях, как надежность, преданность, верность и тому подобное. Можно и даже должно служить одновременно и Богу и кесарю, но «кавалеру пяти орденов» как-то надо доказать, за какие доблести они украшают его грудь. Отыгаться на молодости и неопытности, на душу-сокрушающие поиски

чего-то настоящего, за что можно отдать ту же душу, как, например, скромное местечко при американской контр-разведке, не представляет большой убедительности для скептического умозаключения. Требуется кое-что иное.

Основной капитал: побег из Пхеньяна, сопряженный с огромным риском накануне его ареста и высылки в Советский Союз разделить трагическую судьбу его отца и братьев. В течение года с лишним принудительная служба при советском штабе в Пхеньяне в качестве переводчика под неусыпным надзором чинов СМЕРШ. И все же время не утрачено зря, если учесть тот огромный осведомительный материал, накопившийся в памяти, как, например, состав, численность, дислокация советских войск в Северной Корее и пограничной полосе у Новокиевского, Барабаша и Владивостока; советские планы по отчуждению Северной Кореи, подчинению её полному советскому влиянию, задания советским чинам Американско-Советской Комиссии по Объединению Кореи для советизации её южной части; характеристика генерала Штыкова, главы советской делегации Комиссии и тому подобное с приложением секретных документов, вывезенных из советского штаба в Пхеньян.

Это — внутренняя сторона: задний фон,двигающиеся на нем силы, основание причин и мотивов. Внешние — сдержанность, молчаливо-безропотное переживание перенесенных страданий, принятый на себя подвиг монашеского служения при контр-разведке. Отсюда — усидчивость на работе, примерное старание, опущенная голова в переполненном лифте, прижатие к стене коридора при встрече с другими.

Допуская, что осведомительный материал был уж не так обширен, а переброшенные в женином саквояжике документы не первой свежести, Иннокентий, как человек рачительный, считал нужным расширить свое хозяйство и таким образом укрепить свою полезность. Обширным полем для этого продолжала оставаться эмигрантская

масса, придавленная, обездоленная условиями жизни в Азии в до- и послевоенные годы. Внеслужебный обзор русских колоний Сеула и Пусана не дал Иннокентию ничего положительного: горсть бывших людей, мелкие лавочники, богоделы. Среди таких крамолы не найдешь.

Небольшой зал при церкви, несколько рядов стульев, за ними длинный стол со всем тем, что устроительницы смогли собрать для чая. Молодой священник в вычищенной чаем рясе со свертком доклада в запотевших руках. Хлопотунья матушка то у входа, то у чайного стола. Несколько гостей в ожидании, когда можно закусить.

После краткой молитвы отец настоятель откашлянул в кулак, ожидая, когда в задних рядах смолкнут возгласы: «Держись, начинается!» «Проверяй часы!»

— Заглавие доклада, — начал он, нажимая на букву «о», — о Женщине и её роли в человечестве. Женщина — это мать человечества. Не будь её, не было бы и оно. Она и рожает и вскармливает, поддерживает и, когда Господь Бог призывает к себе, закрывает очи усопшего.

Поглядывая на зарумянившуюся матушку, он заговорил дальше о «предмете, достойном всеобщего преклонения».

Иннокентий подсчитал: кроме участников программы и внуков местного купца всего тридцать человек — это против того, что сорокатысячная колония Шанхая была почти в его руках.

Иннокентий посетил и местного фабриканта косметики. Его помощник, одноногий инвалид Акимыч, варил в котле баранье сало с мелом, оттирая время от времени свои руки с красными пятнами экземы о заношенное полотенце.

Фабрикант не долюблял визитеров, особенно тех, кто отнимают время расспросами о других. Кроме того, он готовил в освободившемся котле пшеничную кашу на ужин. Сколько раз его спрашивали при японцах и до них, а теперь ещё вот эти, Бог их знает, кто они! Он де-

лал вид, что не слышал, отвечал невнятно, уходил в другую комнату, чтобы освободиться от Иннокентия.

— Ушел? Ну, слава Богу! Передохни малость, Акимыч, вот закуси, чем Бог послал. Кушай себе на здоровье, набирайся сил!

У себя в комнате он осторожно открыл крышку сундука, прислушиваясь, знает ли Акимыч, что он достает и ожидая, что тот простонет за стеной: «вот маслица бы!»

Поев, фабрикант крестился истово, убирал посуду, запирал сундук на замок, и в рабочей комнате, пристукивая слегка двумя пальцами по груди помощника, приговаривал: — Никогда, ни при каких обстоятельствах, Акимыч, не упоминай мне о маслице. Если когда я и вкушаю малость, то лишь потому, что врачи наказали мне принимать от сухости моего недуга. А ты за своё. Вникни!

Случайная встреча на Найдаймун, главной улице, ведущей к Капитолии, правительственному центру Сеула.

— Кешка!

— Женька-Ирбо!

— Ты такой же насмешник, как и прежде! — Пренебрежительная кличка корейцев задела высокого господина в строгом черном костюме с туго набитым портфелем в руке. Но прозвища, данные в детстве в школах, зачастую сохраняются на всю жизнь. Иннокентий не знал, как иначе обратиться к своему однокашнику, с которым сидел чуть ли не на одной парте в харбинском Коммерческом училище.

— Какими судьбами?

— Нет, скажи, как ты?

— Знаешь, Иннокентий, у меня конференция и я спешу. А ты приходи ко мне в кабинет, я при Министерстве Иностранных Дел в Капитолии. Приходи туда поговорим. Ведь столько лет! А ты всё такой же, как раньше. Ты здесь что, случайно, проездом?

— Я здесь служу. Видишь, Банто Отель?

— Что же там делаешь?

— Ну, знаешь, я недавно перебежал с севера...

— Понимаю. Мне интересно послушать. Жаль, нет времени, у меня сейчас важное совещание. Вот моя карточка, старая, правда, так занят, нет минуты заказать новые.

Они расстались. Иннокентий взглянул на карточку: по французски было напечатано: Юджин дё Пак, дипломатический корпус.

Тяжелое квадратное здание казенной японской архитектуры. Второй этаж. Иностранный Отдел, Торговая Секция. Внутри огромной комнаты за большим письменным столом на фоне двухсаженных малиновых гардин, восседал в высоком кресле-полутроне директор секции Женька-Ирбо, кореец с офранцузенной фамилией, сын разбогатевшего на всяких делах подрядчика из Харбин-Пристань. У его стола почтительно толпились корейские дельцы, ходатайствовавшие о получении лицензий на товарные сделки. У каждого в руках были туго набитые портфели — предмет, без которого в Корее не выйдет на улицу брадобрей; все они были одеты в костюмы японского покроя, не отличавшихся — как и казенная архитектура — особым изяществом; смятые задники поношенных ботинок свидетельствовали о деловой спешке при снятии и одевании обуви, не расшнуровывая её.

Увидев вошедшего Иннокентия, Пак сделал вид, что не заметил его. Он небрежно откинул бумаги, поданные ему одним из просителей, и бросил несколько отрывистых слов. Откинувшись в сторону, он поднял телефонную трубку, вызвал номер и, откинувшись на бархатную спинку королевского кресла, долго слушал, уставившись глазами глубокомысленно в потолок.

Зная порядки Азии, Иннокентий видел эту игру, азиатский ритуал, нужный для «поддержания лица». Откидывание бумаг, отрывистые ответы, деловой телефонный вызов кого-то — кого могло и не быть вовсе на другом кон-

це провода — всё это должно было служить поднятию своей значительности и размера ожидаемой mzды за оказанные услуги.

Положив телефонную трубку, Пак опять взялся за бумаги, бросая отрывистые замечания, что они не так выполнены или неприемлемы. Когда дельцы покинули кабинет, Пак всё ещё возился с делами, водя карандашом по бумагам, отдавая краткие приказания вызванной корейнке секретарше. Наигравшись вдоволь, он встрепнулся, поднялся со своего трона и, прищулив глаза, словно вспоминая, кто бы это мог быть, пошел с протянутой рукой к Иннокентию.

— Занят по горло, видишь как! Немалый пост, товарищ министра иностранных дел. Занят страшно, новая страна, людей опытных, как, например, я с дипломатическим стажем, нет, приходится работать за несколько человек.

— Где же ты подвизался дипломатом?

— В Варшаве.

— Помню, слышал. Ещё при Маньчжуго? Я не знал, что место клерка при консульстве считается дипломатическим постом!

Пак засмеялся. — То же самое! — Он вызвал ещё раз секретаршу и бросил ей кипу бумаг. — Положительно нет времени для себя, беру работу на дом и там сижу до поздней ночи. Приходи сегодня, познакомлю с женой, пообедаем, вспомним старину.

Сбоку передней в маленькой комнате раздавались живые шумные голоса. Надо было позвонить ещё раз, прежде чем не показался заметно возбужденный, слегка подхмелем хозяин с картами в руках.

— Валя, встречай нашего земляка! Проходи в комнату, Иннокентий, я скоро освобожусь. Так занят!

При появлении Иннокентия с дивана поднялась молодая красивая корейнка, держа руку на плече мальчугана

с такими же большими прекрасными глазами, как у матери. «Смуглая орхидея», пронеслось в голове Иннокентия. Пока они разговаривали, несколько раз вбегал возбужденный Пак, перебрасывая через перегородку, где была их спальня, пачки корейских денег с восторженным восклицанием: «Так везет, как никогда! Что ни рука, то бью! Вот ещё, Валя!»

Некоторое время спустя в маленькой комнате раздался грохот отодвигаемых стульев и в дверях показалась группа корейцев.

— Валя, твои гости хотят попрощаться с тобой!

Иннокентий взглянул на них: это были дельцы, которых он видел днем в кабинете Пака. «Нет сомнения, что их бумаги будут одобрены завтра».

— Давай есть, Валя, голодный, как черт, так много работы! Вот так и живем! Конечно, не так, как в Харбине, свои рысаки! О Варшаве я уж не говорю, там свои удовольствия. Женщины — неопишуты! Золотистые волосы по всему телу! Вспомнить — в жар кидает, трясусь в лихорадке... А что здесь? Моя родина. Какой я кореец — человек с утонченным европейским воспитанием, выросший в неге, довольствии. Правда, занимаю здесь высокий пост — да иначе не могло и быть! — товарищ министра Иностранных Дел...

— Разве в Корее есть свое министерство? Ведь всё в руках военного губернатора, американского генерала Лёрча. Как же это так?

Пак рассмеялся, как рассмеялся утром при упоминании о дипломатическом корпусе, — Не цепляйся, Иннокентий, то же самое! Какая же она мне родина, какой у меня долг к ней? Вообще, какой у меня кому долг, кроме как самому себе! Для меня в первую очередь — я сам и мои удовольствия, затем моя семья. А до остального мне нет никакого дела.

Он вспомнил что-то и бросился в комнату, в которой играл в карты, и вернулся с бутылкой.

— Посмотри, Валя, я совсем забыл— один из них проигрался в пух и прах, мог расплатиться только бутылкой виски. Вообще я играю так, что пока не вычищу всё, не выпускаю.

За обедом Пак много ел, много пил, шумел, хвастался, важничал, рассказывал о себе небылицы, упоминал, не стесняясь жены, о каких-то женщинах.

Улучив удобный момент, Иннокентий поднялся, чтобы раскланяться. Захмелевший Пук быстро сунул руку и скрылся за перегородкой в спальне. Иннокентий и Валя ещё разговаривали в передней, когда Пак крикнул:

— Скорей, Валька, иди, раздевайся!

С тех пор, как Варвара узнала, что она пронесла советские бумаги, запрятанные Иннокентием в её саквояжике, она стала бояться его. Это была не та боязнь не очень привлекательной женщины, старше своего красивого мужа лет на десять, что рано или поздно он оставит её. Она об этом не думала и ей казались смешным женские уловки держать его при себе путем запугивания, что у неё кое что есть в руках на всякий случай.

Она знала, что за его объяснениями — на ходу, мимоходом — о том, как советские власти принудили его работать у себя, было совершенно другое, и вряд ли кто-либо вообще принуждал его в жизни! Она чувствовала, что это «принуждение» в какой-то мере сказалось год с лишним спустя увозом из Раздолья его отца и братьев, но так как это касалось только их, а не Иннокентия, она не задумывалась особенно. Что-то случилось и с Маркелом, с тем, кто дважды приезжал в Пхеньян и в последний раз долго шептался с Иннокентием. Что случилось позже так же мало её трогало, но то, что одно цеплялось за другое в непосредственной близости к Иннокентию, наполняло её страхом. Она не знала, что можно было ожидать от него. Она боялась спрашивать его о службе, долго ли они будут жить в этой тревожной стране.

Она боялась не только за себя необъяснимым, неотвязчивым страхом, что что-то неизбежное произойдет с ней и произойдет из-за Иннокентия и того, что было «в непосредственной близости к нему». Она боялась и за него, что та уверенность, с какой он казалось делал все в своей жизни, начинает покидать его и что он совершит что-то непоправимое.

Она видела, что он плохо спал, часто просыпался, бродил по комнате, что-то бормотал про себя. Как-то однажды он проговорился — что тоже было не похоже на него — что ему недоверяют на службе, по ночам роются в его столе, в его бумагах. Недавняя выдача американскими властями советского солдата-перебежчика советскому командованию на верный расстрел ошеломила его и напугала, что и ему могла грозить такая же участь. Она боялась встретиться с кем-либо, кто знал его в Северной Корее. Но такие встречи могли быть неизбежны — и он их искал и в то же время боялся их.

Одна из таких встреч произошла в Бонгчон, торговой части Сеула.

— Кажись встречались — начал осторожно майор Подбережный.

Иннокентий вначале хотел избежать встречи. Трудно было бы не заметить рослой фигуры в советской военной форме на тесной улице, забитой корейским людом в белых халатах, чтобы не нырнуть вовремя в одну из лавченок. Но что-то остановило его.

— Вполне возможно, свет небольшой.

— Пхеньян ещё меньше. Иду, смотрю, думаю вы или не вы. А ведь кстати.

«Сейчас начнутся расспросы, как и почему, где служит, как новые хозяева». Но оказалось, что это мало интересовало майора, что у него было кое-что иное на уме.

— Неоплохо бы посидеть в какой-нибудь пивнушке и выпить прохладненького. Я всё еще в зимнем парюсь,

второй год, мать их за ногу, не могут послать летнего. А поговорить бы хотелось; как ни как земляки! Пройдемся немножко, что-нибудь найдем.

— Ну, как, всё в порядке, — спросил он, оглядывая сбоку Иннокентия, когда они сели за столик в корейской харчевне, и не дожидаясь ответа, заговорил о себе: — Я вот, что скажу: я так обязан советской власти, что она породила меня и сделала меня таким, какой я есть! Вот за это я крепко предан и в вечном долгу у неё. Вы думаете, что на мне золотые погоны, так я как старый золотопогонник? Кто они были? — помещики и дворяне, чужой класс! А теперь кто? Один из них Владимир Семенович Подбережный с Донбаса! Это разница! Значит, это уже не золотопогонник, а совсем другое. Мне их родная власть дала за заслуги и я по гроб обязан ей за это!

Он залпом допил стакан ханшина, крепкой корейской сивухи, закусив кимчи, не менее крепким местным салатом из капусты, чеснока и красного перца.

Иннокентий хотел поговорить о своем, осторожно, издалека... Какой след остался в Пхеньяне после его перехода к американцам, если не осталось мостов, то нельзя ли при случае нащупать брод, если станет жарко под ногами? Но Иннокентий знал безошибочным чутьем, что для такого деликатного нащупывания требуется особый строй русской души, особая тонкость понимания, момент для которых ещё не наступил.

— Вот к примеру коммунизм 1918-1920-ых годов — это ерунда! Такого уже нет, кому он нужен! Настоящий пришел как раз в пору, когда я подрост и когда офицерам дали новую форму и погоны. А ещё лучший пришел позже. У меня в Москве завелось пять комнат, из которых я сдал две жильцам. Под Москвой дача, фруктовый сад, куда я посадил отца, ешь, сколько хочешь, остальное загоняй, монету пополам, по справедливости, как всё по справедливости под советской властью. А теперь значит вот что! Завидуют и подкапываются...

«К чему он гнет? Что-то неспроста! Что же последует после этого вступления? Излияние души?»

Майор взялся за стакан, задумался глубоко, встрепнулся, покрутил головой.

— Поехали! Ещё по одной... Подкапываются, да кто? Американцы! А что я сделал? Да ничего! И вовсе не я, у меня и камеры в руках никогда не было. Да и что было — какие-то корейские похороны... Налетели контрразведчики, выбили камеру из рук! А из-за чего вся эта канитель!? Наши в Пхеньяне заставили американское командование отозвать их офицера связи. За безобразие — накинуся с оглоблей на нашего сержанта и корейца. А теперь в отместку сыграли здесь шутку со мной, офицером связи, чтобы отозвали и меня. А ведь я только что заступил в должность, двух недель не прошло! Для меня это беда, подведут так, что не справился с заданием, не оправдал доверие власти, замарал честь советского командования. За это не спустят! Что там квартира в Москва, дача, фруктовый сад! Не до жиру, быть бы живу. А что вы знаете? Слышали что-нибудь? Будут требовать?

Иннокентий повел неопределенно плечами.

— Понимаю. Даже, если и знаешь, не скажешь, такая служба, — вздохнул он, прищелкнув языком. — Под виселицу то не подведут, понятно, не для себя же. А что за валил, за то взыщут ещё как...

«Что-то не договаривает», думал Иннокентий, пытливо всматриваясь в Подбережного.

— Это за корейские то похороны! Пусть они провалятся к такой-то матери! Их хоронят, а я страдаю! — Он опустил голову на руки и задумался. — Есть у меня заручка, через брак в семейном родстве я с маршалом Ворошиловым. Может побоятся...

Встреча с Подбережным внесла еще больше смуты в тревожную жизнь Иннокентия. Доложить о ней по начальству? Встретились случайно, человек страдает, засы-

пался по неопытности, излил душу. Нашел сочувствие? Сочувствия он не нашел. Так для чего же ему нужно было изливаться? Как старому другу? Дружбы не было. Но встречались? Случайно в Пхеньяне. Начнем с начала, со встреч: случайные там, случайные здесь. Характерно, а? Его величество случай! Встречи, приятные беседы, обмен мнений. Я вам доверительно и вы мне в ответ доверительно, иначе зачем же излияния души? О мостах и нащупывании брода, если сгорели мосты? Ничего не было сказано. Достаточно, если было на уме... А если ничего не сказать, ни с кем не встречался, никого не слушал, ничего не знаю. Два часа в харчевне, на глазах всех, на самой людной улице Сеула — и никто не видел? Значит умышленно, были для этого веские причины...

— Да что ты, все время бормочишь! Сам не спишь, и мне не дашь! Третий час утра!

Прошло с полгода. Месяц июнь. Предмесье Вонсана, Северная Корея.

— Вот мы незаметно и подошли к концу. Уроки выучены, курс пройден, кандидатскую диссертацию сдадите на месте, в Сеуле. Снимитесь через два дня, больше времени не даю, чтобы не было долгих сборов, прощаний с соседями и тому подобного. Снялись с места в момент. Еще вчера были, а сегодня нет! Спичечный заводик бросьте, он только и нужен был для учебы. Но вечером, перед уходом, скажите служащим, что вот такие, мол, дела покончим завтра. Провожать я вас не буду, ни речей, ни цветов. Жинке скажете, что узнали что-то, единственное спасение бежать. Какая любящая женщина не поймет! Никаких лишних вещей, это не переезд на дачу, а непредвиденное бегство от опасности. Так этого и держитесь. Технику с собой вы не возьмете. Когда осядете, вам её передадут на месте. А вот это важно — он открыл чемодан и вытащил ботинки Гуськова. — Может быть забыли, а то и не знали. Наши хлопцы починили их и до-

бавили от себя кое-что. Видите — каблук, снаружи и внутри каблук как каблук, а вот здесь, под кожаной настилкой — она приклеена и надо слегка отодрать; под ней легкая крышка. Вы приподымаете её и видите углубление и в ней белеет листик. Спрашивать нечего: это ваш код для писем тётё и на деревню дедушке. Дорубили?

Жуков довольно погладил пушкинские бакенбарды.

— Побег совершите на корейской шаланде. Насчет удобств, изысканного стола не взыщите, зато морского воздуха сколько угодно. Под вечерок доберетесь до рымбачьего поселка, покрутитесь там у шаланд. Знать о вас будут. Вот и все. По прибытию на место, шагайте бодро на своих ногах. Хочу думать, что я был вашим неплохим наставником.

На второй день после отплытия, уже южнее 38-ой Параллели, шаланда остановилась у берега с тем, чтобы на другой день утром высадиться в маленьком порту Канг-нонг. На площади Алексей увидел корейского полисмена и спросил его, как связаться с «мигук сарами», американцами, так как он с женой и маленьким сыном только что перебежали из Северной Кореи и хотели бы попасть в Сеул. Это было ещё время массового перехода корейцев и остатков русских эмигрантов с севера Кореи на юг, так что в заявлении Гуськова ничего не было нового. На следующий день они были в Сеуле.

Но там надо было пройти рутинный опрос, имя, фамилия, семейное положение, родственники в Южной Корее, поручители. Покончив с этим, Гуськов собрался с духом и заявил, что у него есть ещё кое-что сказать. Он вынул из своих вещей небольшой узелок и сказал:— Это мне дали перед отправкой из Северной Кореи.

Сержант осторожно потянул к себе сверток, взял его за уголок и потряс в воздухе. Из него выпало несколько пустых пузырьков и кусков мела. Он присвистнул и вопросительно посмотрел на Гуськова.

— Что это такое?

— Пропуск в Южную Корею, — ухмыльнулся Гуськов, но в ту минуту ему было далеко до шуток.

Сержант вышел в другую комнату. «Так или нет? Кажалась там так легко: выложил карты на стол, а теперь отпустите меня на все четыре стороны, я вам больше не нужен», затомился Гуськов.

— Пройдите сюда, — сказал, вернувшись, сержант.

— Будьте добры рассказать, каким образом вы перебрались с севера. Можете говорить по-русски, вам легче. И как можно полнее. Мешать вам никто не будет.

Небольшая комната, стол, два стула. Человек, сказавший это, взялся за ручку двери. — Итак, начинайте.

В комнате никого не осталось. Кому рассказывать — пустым стенам? Послышалось тонкое повизгивание ленты магнитофона...

— С вашей историей мы познакомились. Не всё в ней ясно, кое-что мы выясним во время бесед. Времени у нас много. Вы, ведь, не спешите обратно к себе на север?

Другой человек, офицерская форма, саркастический тон.

— Вот эти флаконы, вы их сами с собой захватили?

— Мне их дал Жуков, о котором я упоминал.

— Что ещё дал он вам?

— Мел и устные инструкции. По прибытию в Сеул, оставить знак мелом в условном месте и каждый месяц в определенный день и час встречаться с кем нужно.

— Объясните подробнее.

— В первый месяц число должно быть восьмым. Второй — тринадцатое. Третий восемнадцатое, каждый месяц на пять дней позже. Так же с часами встреч: если в первый раз между 6.30 и 7 вечера, то следующий от 7 до 7.30. Всегда всероном. Главное требование: служба при американском военном правительстве шофером, механиком, всё, на что я могу рассчитывать. Так же и встречи:

если первая за шинтоистским храмом, у западного парапета на горе Санкаг, то вторая по дороге от Бонгчона до католического собора.

— Что же при встречах?

— Если обстановка позволяет, рассказать всё, что я видел, слышал, конечно, что представляет интерес.

— А аптекарские пузырьки?

— Для письменных сообщений, если трудно с устными. Пузырек с запиской внутри оставляется в условном месте, на старом кладбище, в щели городской стены. А есть ещё, так называемые, письма тете. Пишутся обычным образом о семейных вещах, а между строк вписывается то, что нужно особой ручкой. Надо подождать пока не высохнут чернила и станут невидимыми, проверить на свет и отправить обычной почтой.

— Такая ручка при вас?

— Вот она.

— Кому посылаются эти письма?

Гуськов задумался на момент. Русские имена в Токио, Иокогама, Кобе. Втягивать людей, которых он не знает, в это дело?

— Ни имен, ни адресов у меня нет. Я должен был их запомнить.

— Должны и не запомнили?

— Я взялся условно. Когда Жуков вел со мной переговоры, я знал, что из этого ничего не выйдет.

— Что значит — из этого?

— Из моей так называемой шпионской деятельности — «Зачем я это говорю, так звучит плохо!»

— Знали твердо или нет?

— Это надо пояснить. Я не мог показать ему, что не принимал его в серьез, и все же...

— Договаривайте, это интересно.

— ...в какой-то мере был увлечен по-мальчишески романтикой авантюры. «Ещё хуже! Кто меня тянет за язык»

— Все же были заинтересованы?

— Как при чтении сыщиков в юности. Читаешь и забываешь.

— До следующей книжки сыщиков?

Гуськов ничего не ответил. Разговор стал тревожить его, он чувствовал, что теряет почву под ногами.

— Между прочим насчет забытых вами имен и адресов, мы, понятно, оживим вашу память! Вам надо подумать хорошенько об этом. Сдается, что у вас будет достаточно свободного времени для одиночного размышления. Но дальше. Следовательно, во время тренировки со своим наставником вы так же увлекались, как при чтении сыщиков. Затем он уезжал и вы забывали о нем и цели его посещения до следующего детективного романа или встречи с другим советским агентом здесь, в Токио, в любом другом месте. Не так ли?

— У меня было твердое решение по прибытию в Сеул рассказать всё...

— Вы не ответили на мой вопрос: предположим здесь, где вас приютили, приласкали, пригрели, вы, после передышки, снова увлеклись детективным романом и встречей с другим советским агентом, с полным сердцем или нет, не так важно. Работали бы?

— Имея жену и маленького сына? «Что я говорю!» Он ужаснулся своего восклицания. В наступившем молчании чуть слышалось легкое шипение диска в ящике стола, который капитан выдвинул в начале допроса.

— А если бы не было жены и сына? — как бы мимоходом спросил он, роясь у себя в столе.

— Это не то, что я хотел сказать. Начать с того, что я не искал её, она была навязана мне. Единственно, почему я пошел на неё — переход на юг от советчиков! Как мог я со слабой здоровьем женой и маленьким сыном отважиться на двух-трехдневный горный переход!?

Капитан вышел в другую комнату. Вернувшись после нескольких минут, он сказал: — Вы вернетесь через два дня. Захватите с собой всё, что может иметь отношение

к вашему делу. И возьмитесь за память насчет имен и адресов. Забывчивость в ваши годы, да ещё при избранной профессии, вещь недопустимая. Оставьте у сержанта адрес, где остановились. Через два дня, в 8 утра точно.

— От ознакомления с вашим делом невольно приходишь к убеждению, что вы проявили в нем некоторую долю добровольного желания. Отчасти это понятно. Чувство страха, принуждение, насилие — между прочим, в ваших показаниях ничего не упоминалось о них, не так ли?

— Нет, не упоминается.

— Следовательно, в ваших переговорах с Джуковым — так его имя? — был элемент заинтересованности. Одну минуту — поспешил он, заметив поднятую руку Гуськова. Голос полковника звучал мягко, даже ласково, взгляд казался дружественным, словно всё говорило, что мы с вами хорошие люди, отлично понимаем друг друга с полным доверием и искренностью.

— Элемент добровольного желания трудно измерить. Малый грех все же грех, какое наказание полагается за малый или большой, кто знает! Я не священник, чтобы затрагивать клерикальную область.

Поигрывая пузырьками и советской ручкой, полковник перелистнул несколько страниц, поднимая по временам брови.

«Так много страниц раздули с ленты... А-а, вот что забыл, Бог ты мой!» Он расшнуровал ботинок, снял его с ноги, вытянул стельку и вынул из-под кожаной крышки листик бумаги.

— Что это такое?

— Необходимое добавление к этим вещам. Код для писем.

— Вы сообщали о нем в ваших показаниях?

— Не помню. У меня всё в голове сбилось... Вот только теперь, видя эти пузырьки и ручку, я вспомнил...

— Необходимое добавление! Мне нравится ваш стиль выражения! И вы носили его и носили бы с собой после того, как вас отпустили бы на четыре стороны. Может быть и пригодился бы в будущем, если семя познания запало глубоко в благоприятную почву. Знали вы об этом — спросил он вошедшего капитана.

— Вот видите, умолчали! Х-м, — полковник забарабанил в раздумье пальцами по столу. — Как я себе представляю, у нас есть только три возможности в этом деле. Начнем с первой: шлепнуть вас легонько по руке, пожурить по-отцовски: не грешите больше, юноша, и отпустить. Но, — полковник свел лицо в страдальческую гримасу, — мы не отдел беженского попечения Объединенных Наций, а СИС, военная контр-разведка, учреждение жёсткое, где мягкосердию нет места. На каждый удар против нас мы должны ответить двойным или тройным, иначе нам здесь нечего делать. Мы можем проверить, что у вас в другом каблуке. Проверить, что на душе сложнее, но мы тоже можем... Следовательно, эта возможность отпадает. О второй пока умолчим. Остается третья, весьма печальная: посадить вас на армейский джип и в сопровождении военной полиции доставить на советский пункт и там бережно сдать с рук на руки. Даже можем дать объяснение, что случайно нашли в кустах на границе вот с этими игрушками, возвращаем по принадлежности. Можем и добавить, что просился к нам на службу, только не подошел по росту. У вас с собой были какие-то деньги?

— То, что дал мне Жуков перед отъездом.

— Заведуя заводом вы имели доступ к деньгам. Когда мы вас вернем, ведь там же не сделают вам огласку, что после отважной вылазки во вражеский стан вернулся герой Советского Союза Алексей Гуськов! Нет? Видите! А скажут, что при попытке побега пойман известный белобандид-преступник, обворовавший на много тысяч вэн народное достояние страны. Вот вам романтика игры!

Полковник поднялся с кресла, подошел к окну и пригласил Гуськова. — Видите вдаль горную цепь? Это Пукхан, а её вершина Пэ-гун-дэ; ближе к нам — Санкак, Северная Гора. В ваших инструкциях спутано: там, где находится шинтоиский храм, Намсан, Южная Гора. А вон там, перед выгнутым хребтом Энунсана с городской стеной поверху, между этими горами и Суванской долиной лежит царственный Сеул, один из необычайнейших городов мира, который следовало бы воспеть, а не превратить в арену шпионажа!.. Но не нам менять положение вещей, оставим, как есть. Итак, первая возможность не приемлема для нас, третья не устраивает вас. Остается средняя. Вот вам мел, подымитесь на Намсан, подъем за Южными Воротами, и там, где вам сказано, оставите пометку о своем благополучном прибытии. На работу мы вас устроим, так что у вас все пойдет по жуковскому расписанию. Проведете первую встречу, когда она у вас?

— Восьмого июля, между 6.30 и 7 вечера.

— Материалом для передач мы вас будем снабжать. Флаконы, ручку, код вы заберете с собой, они вам будут очень нужны. Копия кода останется у нас для коллекции, у нас к таким вещам большая слабость. Итак, всё пойдет по жуковскому плану: прибыли, зарегистрировались, как беженец, устроились на работу при американском военном правительстве, зажили примерной семейной жизнью и в то же время не порываете со своей приключенческой деятельностью. Выходит так, что я становлюсь вашим опекуном, роль, связанная с воспитанием, присмотром и строгостью. Все, что вы будете делать, будет исходить от нас. Малейшее отступление с вашей стороны, трещина в наших отношениях — и третье положение, о котором я говорил вам, с нашим препроводительным пояснением, будет выполнено немедленно.

ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Прошло несколько незаметных лет. Иннокентий Благобразов в Японии. От Кореи остался смутный след недовольства, раздражения, беспокойных мыслей, тяжелых сомнений в том, так ли он сделал, как нужно было для чего-то отдаленного, что тревожило его ещё в Шанхае, чего-то завершенного, вознаграждающего, и так трудно уловимого, но что могло бы попасть в его руки только — как в первоклассной шахматной игре — при безошибочном расчете ходов.

От встречи с Паком у него осталось омерзительное чувство, словно он сам окунулся с головой в омут взяточников и мошенников — в отношении денег он был безупречной чистоты! Странное чувство осталось у него и от встречи с советским майором, словно кто-то подослал его ему, чтобы он, поддаваясь духу откровенности, мог бы проговориться. Он чувствовал, что его сообщение по службе о встрече с Подбережным было написано так, что невольно задерживало внимание вдумчивого читателя, а это он никак не мог простить себе, как он не мог простить никому, кто сомневался в его верности.

А это было как раз так в отделе, невинно названном Статистическим, в который его пристроили после перехода с севера. Он чувствовал к себе недоверие, явную подозрительность — и это мучило его, сковывало его движения, мысли, делая его малопригодным человеком.

Так оно и вышло. Ему сказали, что сокращаются штаты, но если он желает, ему помогут перебраться в Японию, где его прежняя служба, большой жизненный опыт и знание языков найдут применение.

* * *

Якосука, военно-морской порт неподалеку от Токио, военно-морская база американских оккупационных сил. У причалов военные корабли, два крейсера, миноносцы, вспомогательные суда. Вблизи входа в порт низкое здание, ступени к нему, широкие двери. За дверями, справа конторка, за которой сидит девушка-цербер, охраняющая вход от непосвященных. Она неумолимо строга и, если один из посвященных высунулся из внутренних комнат на крыльцо взглянуть на небо, будем ли дождь, и бросился обратно, девушка останавливает его грозным окриком: «Мг. Джонсон, предъявите пропуск!» При такой исполнительности кажется, что по утрам, прежде чем занять заградительный пост, проверяет тщательно свой пропуск, она это или нет.

В этом не было ничего удивительного и только определяло дух и характер учреждения и людей, работавших в нем, сухих, шестифутовых ростом, с доликосефалическими лицами, на которых были отпечатаны security, засекреченность, охрана. Другой особенностью, кроме узкой формы лица, сливавшей их в однородную массу, был однобортный костюм цвета темно-серого угля.

Штаб американской центральной разведки, три начальных буквы, которые из-за страсти к засекреченности не произносятся и сами обитатели учреждения говорят о нем тихими голосами «у нас», «на службе» и очень редко «в агентстве».

В это учреждение и попал Иннокентий Благобразов. На положительной стороне его послужного списка значилось: полицейско-разведывательный опыт в нескольких направлениях; знание дальневосточных языков, отличный русский и такой же английский; выигрышная внешность и подкупающее умение слушать, не обременяя себя ничем, манера, приобретенная им еще в детстве Костюм в цвет темно-серого угля. Непроницаемость на лице. На другой стороне листа: некоторые пробелы, промахи, вполне объяснимые не только ошибками юности,

сколько условием времени, в которое он жил.

Он стал участником учреждения «с тремя буквами», пока ещё на положении «гражданина второго разряда», в неопределенной должности «на всякий случай».

Арена действия для Иннокентия Благобразова оставалась та же самая: русская эмиграция, некоторое число заблудшихся душ, придавленных ещё недавним самоуправством японской жандармерии и её прислужников из некоторых эмигрантских кругов и обманутых лживыми посулами советских прищельцев.

Была и другая арена, только самой малой частью открытая для него: обширное кольцо советского шпионажа в Японии, для которого были ещё заранее завербованы японские репатрианты из Маньчжурии. Центр кольца находился в советской дипломатической миссии в Азабу, Токио, руководимый Давыдовым, Рязановым, Кристалевым и другими служащими миссии.

Пляж Кугенума вблизи острова Еношима; широкое высохшее русло реки. Летние маневры армейской единицы американских оккупационных сил. «Довольно тяжелые упражнения. Они всегда так делают?» Высокая фигура, полное лицо, английский язык с тяжелым акцентом. Не получив ответа, заученной японской фразой: «Это довольно тяжелое упражнение ходить так долго. Вы всегда это делаете?» — вопрос японцу, который стоял неподвижно с час, ожидая встречи. Действующие лица: Алексей Давыдов и Ватару Каджи, писатель левого толка. Затем вечером того же дня разговор по душе в японском доме в Камакура у железнодорожной линии между Якосука и Токио, неподалеку от дома, в котором Варвара ждалась Иннокентия с перегоревшим обедом.

«Вы интернациональная фигура и у вас есть связи с американцами. Вы можете оказать нам огромную услугу, на которую мы, как на друга, рассчитываем. Мы надеемся, что вы будете работать с нами».

Затем появилась другая фигура: Масао Митсухаши, радио оператор, устроивший у себя в доме радио станцию для передачи секретных сведений в Советский Союз, которые он получал, вместе с советскими деньгами, от Каджи и одного бывшего лейтенант-полковника японской армии. Каждый раз Митсухаши сообщал об этом американской разведке. Так продолжалось довольно долго таинственные встречи с агентами из советской миссии, условные знаки для опознания, передача денег, сведений — всё, как полагается для дорогостоящей и, зачастую, бесполезной игры.

Пока продолжалась эта игра, американское правительство, учитывая потерю Китая, залитого волной коммунизма, заключило Административное Соглашение с Японией, по которому разбитая в Тихоокеанской войне страна получила прежние суверенные права.

Когда стала известна двойная игра одного из японских участников советского кольца, Каджи поспешил связаться с американской разведкой. В позднем развитии и в японском суде оказалось две версии: по первой Каджи был арестован и содержался в заключении. По версии американской разведки, Каджи сам прибежал к ним с просьбой укрыть его от грозящей ему опасности от советских агентов и сам настаивал, чтобы дверь в его комнату запиралась снаружи на замок.

Дело Каджи получило широкую огласку, не столько по своей сути, сколько по действиям иностранной разведки в суверенной стране.

Всё это очень интересовало Иннокентия. Он следил за судебным процессом, бывал несколько раз в суде, собирал газетные вырезки, часто задумываясь — под насмешливое восклицание Варвары: «опять впал в транс!» — как он удлинил бы игру на месте Каджи.

Все же остальное мало радовало его. Удобный японский дом в очаровательном городке, покойная — и слишком покойная — жизнь, притихшая по своему Варвара,

всё это было хорошо, даже слишком хорошо, но не то, что он хотел. Он сознавал, что, «будучи при деле», он был без дела, что дальше телефова в передней его связь с трехбуквенным учреждением не шла, причем он сам не имел права звонить, а должен был ждать вызова в условленное время.

Неожиданные события в Корее, вероломное вторжение коммунистического севера в южную часть страны, всколыхнули на время ход жизни Иннокентия — и всколыхнули, потому что среди беженцев из Сеула оказался Алексей Гуськов.

Станция Очаномизу, высокая часть плоского Токио. Вблизи ряд университетов, университетский госпиталь, монастырь Юшима. Ниже, в районе Канда, лавки букинистов, в которых можно найти редчайшие книги.

На высоком месте с открытым видом на десятиmillionный город стоит Св. Николаевский собор, построенный по образу Храма Христа Спасителя в Москве, взорванного советской властью. Огромный гулкий храм. Под небесный купол, каменный пол. Слева на циновках стоят или сидят, поджав под себя ноги, японцы и японки с благовоспитаннейшими во всем мире детьми. Справа в нарядных платьях и шляпах с цветами местные дамы, русские, гречанки, армянки. Попроще одеты их мужья, купцы, предприниматели, люди других профессий.

У амвона справа — хор из японцев и японок под управлением регента-самоучки переделывал на свой лад трудно-произносимые церковно-славянские слова. На амвоне дородный дьякон Сузуки, обильно кадя фимиамом, возглашал: «Бражены миростивие: яко ти помированы будут». Через храм суетливо проходит Выдра в стихире с тарелкой просфор — и в дверях алтаря молодой послушник, его приятель по Шанхаю, не может удержаться от смеха. У престола старичек архиерей с воздетыми руками, по бокам японские священники.

Пока продолжалась длинная архиерейская служба, а особенно во время проповеди, в соборной ограде образовывались кружки, связанные общностью интересов. Так, например, купцы и лавочники беседовали о том, что при недостатке всего в Японии, ни о какой затоваренности не может быть и речи, и что покупатель заберет самый залежавшийся товар, за который можно взять хорошую пользу; в кругу предпринимателей-спекулянтов все охотно соглашались, что главная сила теперь не в американских сигаретах, а в рассыпном сахаре, и что глупо тратить по полдня в очереди за фунтом сахара, когда можно купить целым грузовиком, если только знать одного из «славных ребят», причем при этом каждый поворачивался в сторону полноватой блондинки в белом кружевном платье, белых перчатках, широкополой соломенной шляпе с синими ирисами, и смотрел на неё с благоговением и тайной мольбой «закинуть словечко». В кругу бодряг генералов и полковников говорили о войне, но не о той, которая разыгралась в Корее — кого она интересует! — а о той, «когда полк в четырнадцатом году выступил на фронт». В кругу сохранившихся эмигрантских вождей обсуждались меры для объединения эмиграции «на испытанных началах», причем Мохильковский, заблаговременно перебравшийся из Шанхая в безопасный Токио, настаивал на крайней необходимости всеобщей эмигрантской регистрации. Но до этого, настаивал он ещё горячее, надо создать общество из национально-мыслящих патриотов, бескомпромиссных борцов и, прежде всего, — он поглядывал влажными глазами на группу дам, обсуждавших устройство дамского общества при соборе — основать его центр здесь, хотя бы за счет дамской комнаты, потому что «кому она нужна, если отечество в опасности».

И всё же о войне были разговоры, не так о ходе её, как о полученных сведениях, что в беженском лагере в Осака находится несколько русских семейств, эвакуиро-

ванных из Сеула, и даже называли несколько имен, которых кто-то помнил ещё по Раздолью, и среди них имя Алексея Гуськова с семьей.

— Ты знаешь, старик, где Нюрка?

— А что? Что-то случилось?

— Ты скажи, знаешь, где она с Алексеем и Андреем?

— Я знал, что они перебежали в Южную Корею и что Алексей служил при военном правительстве в Сеуле.

— И ты всё это время не пробовал связаться с ним?

Иннокентий вытаращил на Варвару глаза. «Мне это нужно? Чтобы кто-нибудь ещё от радостных слез полез в воспоминания о недавнем прошлом?»

— Родственнички, а! Так вот что, старик, они в беженском лагере. Только что слышала в соборе. Надо найти.

— И что дальше?

— Поручиться за них, что не сядут бременем. Выписать сюда, помочь устроиться на новом месте.

На следующий день, во время очередного телефонного вызова, Иннокентий ответил условной фразой, что он хочет личного свидания. Оно состоялось в условном месте — по практике засекреченности трехбуквенного учреждения всё было обусловлено заранее — и Иннокентий сказал, что в лагере для беженцев из Кореи находится племянница его жены с сыном и они хотели бы помочь им выбраться оттуда. Ни слова о том, что она была его падчерицей, ни слова об Алексее Гуськове, хотя ему и пришлось дать имя последнего для пропуска на выезд из лагеря.

На следующий день при другой встрече, «контакт» из Якосука спросил Иннокентия, не родственник ли ему Гуськов и как хорошо он знает его и, не дожидаясь ответа, добавил, что Гуськов самовольно покинул лагерь в Осака, но по прибытию в Токио был захвачен чинами контр-разведки по подозрению в шпионаже в пользу Со-

ветского Союза. «Мало того», добавил Джим, имя которого, конечно, было не Джим, а, вероятно, Джон, «вполне возможно, что СИС захочет повстречаться с вами для выяснения и проверки некоторых деталей, но до этого...» тут последовал ряд инструкций, что в таком случае ему говорить и делать, а главное — не говорить и не делать.

Две комнаты в подвальном помещении; в первой просиженный диван, стол, два стула, полка с трепанными книжками и журналами; во второй кровать, стул, крохотное окно на высоте человеческого роста. Рядом уборная, стульчак, умывальник. Дверей нет между этими комнатами, они сняты с петель. Первая комната без окна и дневного света, голая электрическая лампочка под потолком горит день и ночь.

— На первых порах сойдет. Свету достаточно, а чтобы не скучать — времени у вас будет много — вот вам занятие: видите стопу бумаги, карандаши? Садитесь за стол и начинайте излагать свою жизнь, как вы её помните, со всеми подробностями. За стилем, красотой изложения не гонитесь. Главное — полнота!

Хороший русский язык с легкой харбинской особенностью, сохранившей от дней, когда его отец держал дровяной склад на сунгарийской пристани. Затем переселение молодого Яши с родителями в Сан Франциско, средняя школа, призыв в армию, годы в военной разведке, окончание службы в высшем сержантском звании — и в пятидесятых годах Джек Пельснер в высоком гражданском чине, эксперт по русским делам при СИС в Токио.

Пельснер ушел. Наверху вдали хлопнула дверь и послышался глухой рев автомобильного мотора. Алексей Гуськов осмотрелся: у дивана абажур, приткнутый к деревянной ножке со шнуром, но без лампочки, истертый ковер с подозрительным бурым пятном, словно кто-то здесь истекал кровью. Серое солдатское одеяло, смятая наволочка. Кто до него тосковал здесь?

Он снял пиджак, нащупав сперва в кармане пачку сигарет и спички. Как всё это вышло? Перрон токийского вокзала. Не успел он сойти с поезда, как два человека оказались по его сторонам и один из них, заговорив по русски, назвал его имя... Когда они втроем пересекали в автомобиле Маруноучи и он справа увидел на возвышении белый камень и золото куполов собора, только тогда Гуськов опомнился, пришел в себя, что вот ради чего он бросился из лагеря, оставив там на время жену и сына, чтобы после трех лет навязанной ему игры затеряться среди своих простых бесхитростных людей. Но автомобиль свернул на Хибия-дори и земляной вал Императорского канала скрыл из виду собор — и Гуськов опять впал в состояние тупого безразличия...

Что может быть дальше у человека в тупике? Жизнеописание от колен матери — которую он не помнил — до кровавого пятна на ковре? «Чем полнее, тем лучше». Для кого лучше?.. Левофланговый четвертой роты кадетского корпуса на Дону, горбоносый, с упрямым ежиком на голове. Субботний отпуск у дяди-весельчака пехотного капитана; его жена, занятая любительскими постановками, друг дома, дядя Женя, штабс-капитан того же полка, длинный, тощий, темный лицом, прозванный за это Черногорцем; недоросль Матвей, он же Мотыка, сын барыни от первого брака, рожденный, по словам капитана, «за кулисами дощатого театра между предпоследним и последним актом» и прозванный им за это Натаниелем, что значит «дар Божий».

Матвей жил своей жизнью. Угловатый, неуклюжий, замкнутый, сосредоточенный на чем-то своем, он иногда поражал внезапной улыбкой, делавшей его доверчивым ласковым ребенком, и каждый, кто видел его тогда, задумывался в недоумании, что это за человек!

На улице, видя красные бочки ассенизационного отряда, он закрывал руками глаза и отворачивался в сторону, объясняя, что красный цвет приводит его в ярость. На

вопрос, если так, то почему как бык он не атакует красные бочки, он загадочно улыбался и отвечал: «Пока ещё справляюсь с собой».

Большую часть времени он проводил на кухне в компании деньщика Вани, рассказывавшего ему солдатские сказки, чем пользовался дядя Женя, когда капитан играл в офицерском собрании в преферанс, умащивая капитаншу на тощем мотьином тюфяке — «не оскорблять же святости супружеского ложа», на что капитанша, жарко дыша в черногогорское ухо, шептала словами героини одной из своих пьес: «Eugène, вы такой авантажный!»

Летом четырнадцатого года потянулись эшелоны на запад и с ними весельчак капитан и дядя Женя. Осенью того же года, «не справившись с собой», Матвей увязался за одним из эшелонов. Вернулся он через два года с искалеченной кистью правой руки, с такими скрученными пальцами, что лучше было бы совсем потерять руку...

... Почему всё о Матвее, когда требуется жизнеописание его самого? Оттянуть неизбежный момент? Сунуть в песок голову? Ну, ещё раз: «левофланговый четвертой роты...» Ну, довольно! Что делать с исписанными страницами? Порвать в мелкие клочья и спустить в уборной — и принять на себя вину за уничтожение государственных бумаг? Пусть снесутся с его опекуном в Сеуле, с полковником и выслушают его вкрадывый голос, у него есть, что порассказать о нем, не отвлекаясь в сторону.

Он встал, прошелся по комнате, заглянул в конуру с койкой. Завалиться спать после ночи сидения в коридоре поезда? Сколько осталось неисписанной бумаги? Отчего так тихо в доме? Никого нет? Он один, замуравленный в глухом подвале?

Нюта и Андрейчик... Как мог он их оставить одних и так опрометчиво броситься в поиски чего-то, что должно бы укрыть их всех! Он достал бумажник, вынул несколько фотографий, разложил их на столе, отодвинув в сторону бумаги. Нюта в жокейском костюме на Красав-

чике. Нюта с Катей на ступенях Раздолья. Нюта и он в сеульской церкви, на ней белое платье; пометка: осень, 1944 года. Нюта с Андрейчиком на руках...

— Ну, что старик, узнал, как что? Признаться, я повидала бы Андрюшу, сколько ему теперь, лет пять, если не больше! Да и Нюрку, своя же кровь. Конечно, на первых порах будет тесновато, но потом можно...

— О чем ты говоришь, Варенька! Вселить их сюда?

— А куда же? На первое время, пока ты не подыщешь...

— Алексею квартира не нужна, он, кажется, устроен прочно на долгое время. А устраивать на ночлег — даже если это родня — семью человека под подозрением в шпионаже...

— О ком ты говоришь, да ещё так яростно?

— О подполковнике советской военной разведки Алексее Гуськове.

Оба из одного и того же города, с той разницей что один из Харбин-Пристань, другой из Старого Города, бывшие в стенах одной и той же школы, причем первый пробыл в ней только начальные годы, а второй закончил её полностью; у обоих позади стаж, в какой то мере роднивший их, как приверженцев одного и того же ордена; оба были осторожны, чтобы не касаться прежних дней, когда не могли не знать друг друга; при встрече оба заговорили по-английски, с той разницей, что в языке первого попадались слова американского slang'a, а язык второго отличался краткостью и точностью «of clipped English», манерой, усвоенной им за годы службы в английской полиции Шанхая.

— Известен ли он вам? — спросил Пельснер.

— Отчасти, — ответил Иннокентий. Легкое движение плеч, как бы вместо фразы: «кого только не приходится знать».

— Что то путаное в нем! Понятно отчего, человек

прожженный. Попытки запутать, чтобы как-то обелить себя. Прочтите, что он пишет о себе, что-то сумбурное! Может быть даже поговорите с ним. Вы знаете, — Пельснер сделал вид, что замялся на момент, — мы согласовали с верхами, так что всё чисто для вас...

— Отдыхаешь? — В голосе не то нотка озабоченности, не то участия, челюсть, выдвинутая вниз, словно для скалывания слов о необходимости нормального режима в жизни, здорового питания, сна и отдыха, душевной бодрости. Но глаза таили то же выражение, которое Алексей заметил ещё в Раздолье: тревоги, выжидания чего-то неминуемого. В правой руке сверток, чтобы не подать руки.

— Отдыхаете, — поправил он себя, не зная, говорить ли ему на ты или на вы, всматриваясь исподлобья в Алексея. Последний раз он видел его лет шесть-семь тому назад. Не так давно, но какая перемена! Желтое сморщенное лицо, совсем сгорбленный нос, косматая голова, воспаленный блеск в глазах.

— Как Нюта и Андрейчик, — спросил глухим голосом Алексей.

— Не знаю. Думаю, что благополучно. Лучше поговорим о, — Иннокентий запнулся опять. — Почему нужно было бежать из лагеря? Получил бы пропуск... «И тогда было бы всё иначе? О чем я говорю!»

— Если я бы только знал, как они! — Теплый, взволнованный голос. Иннокентий молчал, перебирая в руке сверток бумаг.

— Я прочел эту вещь. Признаться, мало что понял. К чему какие-то капитаны? Какой-то Матвей! При чем он?

— Он оставил на мне большой след в детстве. Думая о себе, я думал о нем.

— Хотели быть похожим на него. И удалось?

— К сожалению нет.

— Но удалось другое — дослужиться до чина совет-

ского подполковника!

Иннокентий и сам не знал, каким образом у него сорвалось опять о «подполковнике», но теперь он верил, что это именно так.

— Что за вздор!

— Такой чин зря не дадут. Для этого надо стаж, работать не покладая рук! Понятно, почему смазаны последние пять-шесть лет! Что можно сказать секретному агенту? Попробовать отыгаться на каком-то Матвее?

«Действительно, что можно сказать! Да, верно, секретный агент! «Вот вам мел, поднимитесь на Намсан и там, где вам сказано, оставьте пометку. Всё остальное вы будете делать по нашему указанию... Малейшее отступление, сорвавшееся слово и...» Встречи с другими, сфотографированные людьми полковника, переснятые ими же «письма тете». Сколько выданных имен, лиц! Рассказать об этом, не заливаясь жгучей краской стыда, не нащупывая ночью оборванного шнура от стоячей лампы и не высматривая крюка в тяжелых угрызениях совести?»

— Историю твоей поездки из Северной Кореи как-то можно объяснить; приехал в Сеул, выложил, что было на душе и в карманах, сдал, кому следовало, радио передатчик и фото аппарат...

— Ничего этого не было.

— Но ведь ты признался, что ты приехал секретным агентом! Как же тебя могли послать на работу, не снабдив всем необходимым! И деньги сдал, которые прихватил на заводе, где ты работал? Видишь, нечего сказать.

Иннокентий оглядел помещение. «Вероятно здесь держали его». — Как хорошо тебе известно имя Каджи?

— Никогда не слышал. Кто он?

— Тоже секретный агент. Тебе было сказано изложить всё о себе. Ты это сделал?

— Я написал всё, что помнил.

— Значит ты забыл, как ты изнасиловал Нюту?

— Сволочь ты, Иннокентий! Такой, каким был всегда!

СЛАВНЫЕ РЕБЯТА

— Что-то старик опять у меня захирел! Был таким молодцом всю прошлую неделю, пропадал где-то целыми днями, опять строчил по ночам, сколько свёл бумаги, не знаю, стоило ли! И вот опять сдал! Может быть поделишься со своим верным дружкой, порасскажешь, какой подлый червь тебя точит! Авось, легче будет.

— Что ты, Варенька! Я, как всегда, бодрый, веселый, полон жизни...

— Как раз для того, чтобы сидеть с понурым видом и ждать у моря погоды.

Иннокентий задумался. «Ждать у моря погоды... Почему у сына дровяного кладовщика с Сунгари такое важное место, а у него только одно занятие: сидеть дома и не сводить глаз с телефонного шнура, ожидая, что он оживет, когда Джиму или Джону в Якосука надоест сидеть без дела... Конечно, ждать!.. Почему у Пельснера такая самоуверенность, тон превосходства! «Мы снеслись с кем надо, прежде чем...» Допустил ради милосердия — займись хоть этим случаем, всё же развлечение — или издевательства, послушать, как любезные родственнички сводят свои счета. А уж нет сомнения, что где-то запрятан «жучек», через который Пельснер слышит всё, о чем говорят у него в подвале».

— Ты, Варенька, никогда не была в Каруизава. Не был там и я. Это в горах, часа три поездом. После токийской жары — рай. Вот ты туда и поедешь до осени.

— Поехать туда одной?

— Зачем одной? Со своими. С Нютой и Андрейчиком.

— Подожди, старик, я что-то не пойму! Ты говорил, что семью человека под подозрением никогда не прию-

тишь, даже если она родная тебе! А теперь что говоришь? Правда, чтобы я приютила, да ещё где-то в горах... А что же с Алексеем?

— Это — пропащий человек! Слышать о нем, мерзавце, не хочу!

— Что с тобой, Иннокентий? Откуда такая злоба? Он сделал тебе что-то дурное? Даже закатился весь!

«Такой, каким был всегда...»

— Я просто хочу спасти Нюту и Андрейчика от него. А тебя прошу вот о чем: Нюта — женщина молодая, привлекательная. Какая у нее жизнь с Гуськовым, от которого всегда пахло конюшней! Что он может ей дать, — да ещё в такой петле, в которую попал! Вот я и думаю, как и это... чтобы и... и ещё...

— Ну, вот, залепетал, старик! Как дошел до самого главного, и сразу потерял дар речи! А все же мычание твое красноречиво: ты хочешь, чтобы я стала сводней...

— Побойся Бога, Варенька, такие слова!

— ... свести родную племянницу с молодым хахалем, предпочтительно американцем — ты, ведь, отче Инноченте, ставишь теперь ставку на них — и кроме того, ты, конечно, сечешь — я уж не знаю, за что, дело твое, — и сечешь пребольно Алексея. Вот только загадка: как подложить эту молодку такому чужеземному красавцу, если у нее плод любви несчастной на руках?

— О чем это ты, Варенька?

— Об Андрюшке.

— А, ведь, я совсем упустил его из виду.

— Брешешь, старик, не упустил. Имеешь в виду пристроить на время при мне?

— А, ведь, верно, Варенька, как я не подумал об этом...

Соборная ограда, недельное место встреч, разговоров, действий. Обычное делений на группы по профессии и интересам. Степенные лавочники, пронырливые дельцы, разряженные дамы в благоухании духов и озарении вос-

кресных улыбок. Звонкие голоса играющих детей, озабоченность женщин, готовивших у себя в комнате Дамского Комитета чай с пирожками. Мохильковский, шумный, назойливый, заглядывавший к женщинам с неотвязчивой мыслью об украшении их комнаты портретами военно-патриотических писателей.

— Вот с кем я хотела бы познакомиться! Новый человек и я ещё не знаю его!

Иннокентий обернулся. Белое кружевное платье, перчатки, розовый зонтик, соломенная шляпа с синими ирисами. Округленное лицо с крапинками пота на лбу, пухлые губы чуть большего полуоткрытого рта, большие чуть выпуклые глаза, взгляд с вызывающей откровенностью.

— По рождению я княжна Уромская, но меня знают все, как Муру. По мужу я англичанка. А впрочем это не так важно.

Она не столько смотрела, сколько рассматривала его глазами, которые казалось таили детскую наивность, доверчивость, восторженность и бесстыдство.

— Я всех знаю здесь и меня все знают. Много друзей среди американцев, полковники, такие славные ребята, готовы сделать всё для меня, только попроси!.. А вас я не знала, конечно, слышала, а вот теперь...

Иннокентий слушал её с опущенной головой, думая о том, как бы освободиться от неё. При последних словах он взглянул не так на её лицо, как на шляпу с ирисами.

— Если я обратилась бы к вам с одним делом...

— Да? — отозвался Иннокентий, спустя некоторого времени, ожидая, что она продолжит. — Должен вам сказать, что я мало чем могу быть полезен.

— Я не о себе... это не просьба... если даже так, то о ком-то, кому...

— Вы сказали, что у вас много друзей, полковники.

— Это другое, — рассыпалась она игривым смехом, касаясь его руки. — Совсем, совсем другое!

— Что же это такое?

— Сказать здесь? Боже сохрани!

Иннокентий оглянулся вокруг. Народ толпой выходил из собора; приветствия, рукопожатия, громкие разговоры, словно люди не видели друг друга годами.

— Но вы же начали разговор здесь?

— Это другое дело! Я хотела проверить, и вижу...

— И видите — что?

— Что с вами не только можно говорить об этом, но и надеяться... Это очень, важно. Но я не могу говорить здесь. Мне кажется, что даже клены слышат. А это важно для всех.

— Для кого — всех? — «Что-то очень театральное!»

Смех, заглядывание в глаза, влажные губы, обведенные языком, рука в перчатке касается его руки.

— Я сперва должна спросить, так ли я сделала, а уже потом...

— Вы должны меня извинить, у меня нет времени. Я не понимаю, почему вы заговорили со мной и вообще..

— Он хотел сказать «Что вам нужно от меня». — Вы меня извините.

— Я должна была, это так важно... важно и для вас! Но не здесь. Все смотрят и слушают. В среду на станции Шибуйа в два часа. Обязательно.

— Почему там, да ещё обязательно?

— Чтобы встретиться... с кем вам будет интересно...

— Там пять или шесть входов, тысяча людей каждую минуту.

— Я — видная! Меня не заметить нельзя. Обязательно, в среду, два часа дня, станция Шибуйа.

«Как хорошо, что Варвара в Каруизава. Можно подумать в тиши и одиночестве, не ловя на себе вопрошающих взглядов. О Пельснере? Растравлять себя лишний раз? Да ещё при этом вспомнить о Гуськове? Думать о деньгах и женщинах, двух улаждающих убежищах для

ума, которому надо гнать от себя всё неприятное? Ни то, ни другое никогда не представляло интереса. Следовательно, никуда не уйти от собирательных пельснеров, от всех, кто преуспел в жизни... О встрече в соборной ограде? «По рождению я княжна, но все знают меня как Мунру...» Что-то авантюристическое. Во всем виде что-то подчеркнутое, вызывающее, что-то лживое. Станный разговор, но что-то в нем... Откинуть театральность, некоторую фальшь, вычурность... но неподдельное волнение... «Важно для вас». Почему? Свидание с кем-то, да ещё где! Бабы глупости, игра в театральность, любовь к таинственности! Причем он здесь? Забыть, выбросить из головы! Вернуться к пельснерам!»

Но Иннокентий не забыл.

Чем ближе приближалось время к среде, тем больше нетерпение охватывало Иннокентия. Он говорил себе, что это вздор, что какой-то праздной бабенке пришло в голову разыграть над ним шутку и что он был бы круглым идиотом, если бы поддался на неё. И всё же в среду в полдень он стоял на платформе станции Камакура, ожидая поезда со стороны Якосука на Токио.

Было без четверти два, когда после пересадки в Токио он высадился на станции Шибуйа и огляделся вокруг в поисках места, откуда можно было бы видеть всю платформу. Неисчислимая толпа, меняющаяся каждую минуту с прибытием поездов по обе стороны платформы. Топот ног, стремительный бег толпы, сбивающий с ног всё на её пути, гул голосов, скрежет и грохот колес, локомотивные гудки, хлопанье вагонных дверей. Стрелки спешат к двум. С какой стороны может показаться шляпа с васильками или ирисами из накрахмаленного ситца на золоте соломы? Ещё пять минут. Нельзя не заметить среди землистых лиц белого лица, пышащего здоровьем. Десять минут третьего. Перейти на другое место? По логике вещей женщина с цветами на шляпе, назначившая

кому-то свидание, не пронесется метеором, а задержится, чтобы порыться в сумочке, достать зеркальце, губную помаду, пудру, на что потребуется ещё пять минут... Четверть часа — простительное запаздывания для неаккуратных людей. Прибавить столько ещё для женщин. А пока заняться рассматриванием толпы. Обострять глаз на её особенностях. В ежеминутно сменяющейся тысячной толпе столько то полугениев, столько полных идиотов, столько то праведников и грешников, столпов общества и архиплутов; столько то примечательных, столько незаметных, как движение карманного вора. Видел ли он, как по лестнице, гремя деревянными гетто, поднялся японец в бурой накидке и как он, остановившись около только что прибывшего поезда, вынул из-под накидки куклу белокурой девочки в бархатном платье и на это движение два других японца из разных вагонов последовали за человеком в накидке. Видел ли он, как у другого входа человек в костюме доморощенного покроя, в пиджаке с высоко поставленными плечами и в широких брюках — отличительный знак служащих советской дипломатической миссии — наблюдал за игрой с куклой и тотчас удалился. Если бы он видел это, он, вероятно, подумал бы об отголоске дела Каджи. Но Иннокентий был занят своим делом: негодуя на себя за то, что пошел на явный обман, он всё ещё продолжал ждать, высматривая в толпе, не покажется ли вдруг шляпа с цветами.

Два воскресенья подряд в церкви — что-то не совсем обычное для Иннокентия, и на вопрос: «Что случилось?» он, пожалуй, ответил бы: «Не знаю сам. Что-то потянуло».

То же место у решетки под кленами. То же кружевное платье, перчатки, зонт, соломенная шляпа. Тот же влажный лоб, глаза с выражением детской простоты и — откровенностью взрослых.

— Я знала, что увижу вас сегодня. Я так ждала этого воскресенья! Всю эту неделю меня не было дома. Эти

полковники! Чуть что — сейчас же «Мура!» Для себя не остается времени!

Ни слова о среде. Сказать, что он ждал чуть не два часа? Если спросит сама, ответить незнанием: какое свидание? С кем, когда?

— Я тогда вам ничего не сказала... Мой знакомый, большой мой друг хочет ехать в Америку и...

— Многие из эмигрантов здесь хотят. Виза, очередь, ждут годами.

— У него другое положение, но здесь я не могу говорить. Нам надо встретиться. Только где?

Иннокентий молчал, прислушиваясь к голосам людей в ограде.

— Только где? Могли бы прийти ко мне?

— Скажите, пожалуйста, какое отношение я имею к вашему другу?

— Он считает, что вы можете помочь ему и что это будет очень важно для вас.

— Что же я могу сделать?

— Помочь ему с Америкой!

— Что за чушь! Помочь — эмигрант эмигранту? Почему вам не обратиться к своим друзьям полковникам? Вы сказали как-то, что они всё готовы сделать для вас.

— Он не эмигрант. А полковников, моих славных ребят, он боится, что они выдадут его. Если там узнают, что он хочет перебежать к американцам, ему не сдобровать. Там не посмотрят, что он...

Иннокентий насторожился. — Где — там?

— В советском посольстве.

— А кто он?

— Савелов. Один из главных советников.

Известие Муры ошеломило Иннокентия. Весь день он только и думал о нём, не зная, верить ли ему или нет. Он жалел, что не расспросил её подробнее, так это было всё неожиданно. Казалось, смутилась и она, испугавшись

своих слов, поспешила оставить его и затеряться в толпе. Когда он бросился за ней, её уже не было.

Так ли на самом деле? Или так же, как со свиданием на станции Шибуйа? То же самое движение позади этих двух разговоров. Если выдумка, ложь, то последовательны. Пожалуй, можно даже поверить! Но почему — он? Какие-то полковники, какой-то страх, что кто-то выдаст кого-то! Почему он что-то сделает, поможет кому-то «бежать к американцам»? Кто собирается бежать — прововавшийся буфетчик? Почему не броситься в военную американскую полицию или в посольство со слезливым заявлением: «ищу политического убежища». Почему — он? Кто-то вспомнил по Пхеньяну? Этого ещё не хватало! Что же теперь делать? Сообщить Джиму или прощупать глубже — можно ли верить какой-то случайной женщине? На последнем решении он остановился. Но вышло не так, как он решил.

В обычное время раздался телефонный звонок. Условная фраза — встреча в таком-то месте через час.

Хмурый вид Джима, не надо календаря, чтобы знать, что наступил понедельник. В голосе недовольство. Иннокентий насторожился.

— Все ли так в вашем докладе?

— В каком докладе?

— О человеке из Сеула. Тот, что из лагеря. В CIC.

— А что именно?

— Да многое! Например, что он подполковник советской службы! О нем много известно, но это — Джим неприятно рассмеялся — отдает отсебятиной. Да и другое.

Иннокентий нахмурился, опустил голову, поглядывая исподлобья на Джима, пока тот, с гнусавым выговором американца из южных штатов, распространялся о необходимости придерживаться в докладах точности и беспристрастия, а главное, избегать фантазий и досужих размышлений, предоставляя делать выводы тем, кто во-

оружен лучше для этого. В противном случае — и Джим опять фыркнул коротким неприятным смехом. «Что-нибудь ещё?»

Иннокентий молчал. Он был задет. «Лучше ничего не говорить, черт с ними!»

— Значит всё на этот день. В следующий раз, как я вам говорю...

— Меня просят, чтобы я помог одному человеку бежать в Америку.

Джим поднял брови. «Действительно, я как-то глупо сказал. Говорить дальше?»

— Кому же вас просят помочь бежать?

— Служащему из советского посольства.

Джим присвистнул. — Ну-ка сначала!

После краткого рассказа Иннокентия о встречах с Мурой Джим задумался. — Что-то не верится. Просила вас и назвала его имя? Х-м! Побудьте дома сегодня, может быть я позвоню.

Не успел Иннокентий добраться до дому, как зазвенел телефон. Бодрый, полный надежд голос, совсем не тот, который вызывал утром. «Одни дома? Отлично! Мы сейчас нагрянем. Через четверть часа. Превосходно!»

— Мой шеф, мистер... — Неразборчивое имя.

— Зовите меня просто Станлей. Очень рад познакомиться! Так много слышал!

Тот же «twang» в голосе, что и у Джима, рост, узкая форма голову, костюм цвета обожженного угля. Оба полны самого горячего участия помочь доброму человеку способствовать кому-то перебраться в Америку, особенно, если этот «кто-то» — Александр Савелов, видный член советской дипломатической миссии в Токио. Что только такой побег — а он должен быть сенсационным: «главный советник советского посольства перебежал на американскую сторону» — может сулить, всем, кто успел бы примазаться к нему! Вот почему парили под небесами Стан-

лей и Джим! Первый, потому, что он был шефом, двигающей силой, направляющий деятельностью своих служащих, включая Джима; второй, потому, что он опекал Иннокентия, и всё, что тот делал хорошего, могло приниматься только как результат его умелого руководства.

После заверений, что его старания на общее благо будут оценены полностью, они выслушали подробный отчет Иннокентия, задали несколько вопросов и пришли к убеждению, что Савелов на самом деле хочет бежать. Другое дело, какие причины побуждают его к этому и почему он обратился через какую-то женщину, вероятно его любовницу, к Иннокентию. Для этого есть будущее, чтобы разобраться в этом. А пока вот задания Иннокентию: установить самую тесную связь с этой женщиной, вплоть до сожительства, чтобы узнать, как можно больше о Савелове, его привычках, образе жизни, службе и т. п., чтобы проверить, верно ли он хочет бежать. Затем сделать всё возможное, чтобы лично встретиться с Савеловым и самому проверить его искренность. Если в последнюю минуту Савелов заколеблется, могут быть пущены в ход меры принуждения, как шантаж и угроза разоблачения, и для этого Иннокентий будет снабжен скрытым рекордирующим разговор аппаратом. В итоге за хорошо проведенную работу и доставку Савелова «на голубом блюде» его может ожидать повышение по службе, зачисление в штат и возможный перевод в Америку.

— Наконец то дождался вас, Мура, вы сказали, что будете дома раньше, а уже два. Никак не могу привыкнуть к вашим часам! Когда же мы встретимся?

— Так мы же встретились! Сейчас, и третьего дня, и в прошлое воскресенье!

— Я хочу сказать — с вашим, вернее, с нашим другом.

— А разве он вам не звонил? Он сказал, что брякнет. Я ему напомним. Мне как раз надо забежать в посольство. Я быстро, через час буду дома. Подождите меня, я

расскажу вам всё, когда я вернусь. Подождите внизу, дома никого нет.

Деревянный диван с розовой оббивкой, цветы на подоконнике, мутное зеркало с прищипленными к золотой раме бумажными розами. Тихо. Третий час. Сколько же ещё ждать? Иннокентий прислушался: тихий голос слышался сверху, кто-то звал «Мура».

Когда голос повторился, Иннокентий поднялся наверх и приоткрыл дверь. «Мура?» «Её нет дома».

— Что с вами, — спросил он человека, лежавшего на кровати.

— Что со мной, — переспросил тот, не удивляясь появлению незнакомого человека, передвигаясь с трудом вверх по подушке. Устроившись удобнее, он вытянулся, как мог, отдернул одеяло и показал на огромные вспухшие шары багрово-малинового цвета. — Вот как меня обработали корейцы! За какие то несчастные бриллиантики, из которых половина вероятно фальшивая. А где они? А где деньги, которые я должен получить за провоз? Ничего, говорит, не беспокойся, Януш, получишь! Ей то хорошо, выбрала себе, что полагалось, а мне — не волнуйся, береги свое здоровье!

Януш достал сигарету со столика, закурил, жадно затянулся и, показывая на пах, сказал: «Вот мои бриллиантики! Не знаю, во сколько карат. Судя по размерам — тысячи!

Он курил, напряженно рассматривая на лубочной картине швейцарскую мельницу. — Не могу вернуться на корабль, там вещи, бумаги... Ушли без меня... Поди искали по всем заведениям, а вот в это не заглянули... Не знаю, что лучше, так, или чтобы нашли... Ни денег, ни службы... Пока держит здесь, — Януш усмехнулся, — думает, что я где-то ещё запрятал камушки... Как долго, не знаю...

Януш засмеялся, но ему было далеко до смеха; он курил сосредоточенно и жадно, не сводя глаз с мельницы.

— Особенно долго били по яйцам, — сказал он задумчиво, словно отдавая должное добротной работе. — У корейцев это обычно: когда бьют, не важно кого, мужчину, женщину, старика, подростка, бьют десятеро одного.

— Что случилось? Что-то страшное, а?

Януш молчал. «Скоро должна вернуться Мура, если не обманет опять».

— Подплыла так ловко! «Вы такой симпатичный! А имя Януш, да? Всегда обожала поляков, такие галантные, никогда не откажут ни в чём женщине! Да ещё работаете экономом на американском корабле, да ещё плаваете между Иокогама и Инчон, портом Сеула!»

Януш снова замолчал.

— Кто это — она?

Вместо ответа Януш кивнул головой на фотографию на столе: полноватое лицо, округленный рот, чуть на выкате глаза, улыбка то доверчивой девочки, то изолгавшейся женщины; голова на плече молодого человека с изумленным выражением на лице.

— Тоже ждете её? Многие ходят...

— Вы так и не досказали, что случилось с вами.

— Слышали такое название «группа или организация Юшима»? Корейские контрабандисты возят всё, что придется, золото, драгоценности, из Вонсана в Северной Корее. Тут и разведка и шпионаж, значит, кому это нужно, смотрят сквозь пальцы. Замешано всё, даже эта красавица — кивок головой в сторону фотографии, — её «славные ребята»...

— Полковники?

— Какое! Сержанты из CID, работнички из отдела по криминальным делам. Среди них есть такие орлы, вот с ними и дружит она. Если кому нужен сахар, не по фунтам, а грузовиком, только уметь подобраться к ней: «Мура, устройте, озолотим всех!» Угонят целый грузовик со склада, и все концы в воду... Втянула и меня. Положение на корабле хорошее, хозяйство на руках, все углы из-

вестны... Все шло хорошо, а вот на этот раз что-то произошло, утаила или не сдала, кому надо, а молодчики из Юшима и обработали меня... Сама наслала... Сама и подобрала, сюда привезла, устроила на кровати, сама спит в кресле... Не понят!

Януш задумался. Иннокентий молчал, ожидая, что тот скажет ещё.

— Целыми днями носится, чем занята, кто её знает! Приходят и сюда. Поит, кормит, шумят чуть ли не всю ночь. Иногда такой шум, крики, скандал, кто-то грозит вызвать полицию... Она кричит громче всех, гонит из дому, бросает какие-то вещи, хлопает дверями... Потом поднимается вверх, входит на ципочках в комнату, говорит шепотом... Не пойму!

Иннокентий прислушался: шаги внизу? Кто-то прошел внизу мимо дома.

— Ещё кто-то ходит, но это один. Сейчас же радио на полный звук. Грохот на весь квартал! А для чего? Чтобы голоса его нельзя было слышать. Как разговаривать при таком шуме! Может быть и не надо, заняты другим.

— Знаете кто он? — Иннокентий насторожился.

— Догадываюсь. Шум, а все же голос нет-нет да и прорвется. Русский, да ещё с выговором, как не узнать!

— И часто ходит?

— Вчера был, — нехотя отозвался Януш. — То славные ребята из американских разведок, то корейцы контрабандисты, то советчики! Вот баба! И со всеми ладит, ласково и, поди, дурачит всех... Теперь всё говорит, что если захочет в Америку, сразу же хоть завтра, двери ей широко раскрыты... Ей да ещё кому-то...

ЧЕРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Варвара не узнала Иннокентия, так он изменился за два с лишним месяца, что она провела в горах в Каруизава: беспокойный, нервный, раздражительный, хотя он делал всё, чтобы казаться спокойным. Она смотрела украдкой на него и вспоминала Сеул, когда Иннокентий, после высокого подъема первых дней вслед за переходом из Северной Кореи впал в глубокое уныние и позже признался ей, что ему не доверяют.

«Неужели здесь то же самое», думала она, не решаясь приставать к нему с расспросами, как делала раньше. «Казалось, всё шло хорошо, никто не жаловался».

Иннокентий и сам не знал, как прошло время, чуть не год с тех пор, как полнолицая женщина подошла к нему в соборной ограде и вовлекла его в игру, конца которой он не видел. Зато было много обещаний, надежд, разочарований, обмана и страшного душевного спада, чтобы после тяжелой ночи, дня или двух в упорной борьбе с собой не обнажить себя даже перед Варварой, снова, при первом намеке на приглашение, окунуться с головой в навязчивую игру.

Что же влекло его так неудержимо к ней? За это время он имел все основания убедиться в ненадежности этой женщины, в её беззастенчивой лживости, обмане, которые, казалось, составляли целиком её сущность. Даже в звуке «Мура» было что-то фальшивое, банальное, что связывало с бумажными розами на засиженном мухами зеркале. Он никогда не называл её по имени и, упоминая о ней, говорил «она» или «эта женщина», а в докладах в Якосука о прогрессе — которого в сущности не было, но он упорно не признавался в этом — он просто писал «М».

Тяжелые моменты глубокого душевного спада — и не-
объяснимое чувство уверенности, что несмотря ни на что,
всё выйдет так, как он страстно хотел: встреча с Савело-
вым, разговор и, затем, вызов Якосука по тайному номе-
ру и обусловленная фраза в четыре магических слова:
«Надеюсь, завтра хорошая погода». Сколько раз он по-
вторял про себя, а когда был один, то и вслух, эту фра-
зу, боясь, что он произнесет её даже во сне и чуткая на
ухо Варвара будет приставать к нему с расспросами.

И всё же год не прошел бесследно. Однажды он за-
ехал за ней, чтобы везти на завтрак в центр города; ког-
да они выехали с Роппонги на Азабу, она вдруг забеспо-
коилась, вспомнив что-то, выскочила из такси, перебе-
жала улицу, остановилась у ворот советского посольства
и скрылась внутри. Он убедился, что она посещает его
Из её рассказов он узнал, что у Савелова в Москве же-
на, которую он оставляет ради неё, вот почему он хочет
ехать в Америку, и обязательно с ней, так как любит её
без ума, чтобы в новой стране зажить с ней счастливой
жизнью. Единственно, чего он боялся, что её не отпустят
её славные ребята, почему он и не хочет, чтобы полков-
ники знали о нём. В свою очередь и она без ума от него
и пойдет за ним на край света, хотя подлюга завел себе
девку японку и пропадает вечера с ней в японском оте-
ле на набережной реки Сумида.

Иннокентий слушал, пропуская многое мимо ушей и
взволновался только раз, когда она позвонила ему около
полуночи и напуганным, истерическим голосом сказала,
что «она попала в западню». «Какую, кто?» «Мои слав-
ные ребята», с трудом услышал он. Неужели из-за Саве-
лова? Боже сохрани! Он успокоился, когда из её бессвяз-
ного лепета он понял, что речь шла о каком-то дележе.

Воскресенье началось с телефонного вызова около ча-
су ночи. Голос старичка архиерея из собора. Вначале
бодрый, затем жалостливый, до слез в голосе.

— Папа-сан, — воскликнула японка. будя лежавшего рядом Мохильковского, — телефон.

— Это вы, Гурий Аполлонович? Звоню, не могу дозвониться. Намааялись, небось, и почиваете с устатку! А я вот о чем, дорогой: оставьте! Не в каждом труде Божье спасенье! Опять же утром владыко Виталий прибывают. Не вешайте! Конечно, какая разница. светские или военные писатели, а сестры волнуются, пусть, говорят, только покажется на пороге, мы его зонтами. А, ведь, верно, побьют! Это при новом правящем владыке! Экий конфуз! Не вешайте, дорогой!

Старичек архиерей давно уже почивал сладким сном, а Могилевский смотрел в темный потолок и наливался яростью. «Меня — зонтами по голове! При первом движении — ураганный огонь по титькам!»

— Любопытно взглянуть, какой на вид! Вот если породный!

— И это, конечно. А, главное, голос! Какой ты правящий владыко, ежели у тебя его нет!

— Сказывают, что стишки пописывает. Сам я не читал, а старостин зять говорит, что хлестко!

— Если занимается стишками, поди и в картишки перекидывается!

— Да, ведь, не светские. Старостин зять говорит, что духовные, а это разница!

— Карты картам рознь. Одни для забавы, как в носы или подкидного дурачка, а есть умственные, как винт или преферанс.

— А что вам девятка не умственная игра? Если не соображать, то с вас, извините за выражение, последние брюки снимут.

— Это тоже разница! Я полагаю, что если после вечера духовные соберутся друг у друга и так чинно, благолепно, в шелковых рясах, чай с ромом в серебряных подстаканниках, разыграют роббер, другой, кому это

вредит! А ежели лицезреть их преподобий и преосвященств в накуренной комнате, среди лохматых картежников, за столами, засыпанных табаком и пеплом, залитых пивом, среди бесноватых неудачников, слезно вымаливавших десятку, чтобы отыграться...

— Ну, это какой-то вертеп! Для простого кобла, а не..

— Лучше поговорим, как встретить владыку.

— Сестричество устроит чай с мясными пирожками а то с капустой или с рыбой, если владыко постничает.

— Разве теперь пост?

— Для вашего брата вообще нет поста, а для духовных, да ещё которые искренно веруют, поди каждый день пост.

— Я не об этом! Как встретить, речи, приветствия...

— Это что же, только что прибыл из аэроплана, уставши и не поевши, сразу же и за речи?

— Нет, после обедни, перед трапезой, здесь, в церковной ограде. Церковный староста подносит хлеб с солью. а то сестры, а тогда староста махнет речь.

— Что же мне сказать?

— Обычное, что в таких случаях преподносят, что, мол, ваше высокопреосвященство — смотри, не спутай с ваше превосходительство, разница небольшая, а всё же — много раз наш святой храм посещали высокопоставленные духовные особы, а такого случая, как нынче, просто не упомянем и что прихожане не нарадуются, а о причте нечего и говорить! Вот так, просто, с теплотой и приятностью, духовные любят, когда их усахаривают словцом, тоже, ведь, люди.

— А можно сказать «ваше высокопреосвященство, неоднократно наш храм посещали всякие», и так далее?

— Неоднократно — это ничего, а «посещали всякие», не то, ещё подумает, Бог знает что! Главное, не бубни, говори раздельно, сказал одно слово, переходи к другому, не сбивай все в одно. И вот ещё что: не подпускать вдову Жигалиху! Опять что-нибудь выкинет!

Пока в кругу Церковного комитета обсуждали как достойно встретить нового архиерея, и пока в другой группе, собравшейся в соборной оgrade, Мохильковский, перепуганный не на шутку ночным вызовом старого архиерея, грозил, что при первом движении зонтика, он откроет бешеный огонь, в нескольких милях, вблизи станции Готанда, Жигалина сидела в глубокой деревянной кадке «о-фура» и Сэнька-обалдуй, её двенадцатилетний сын, натирал жесткой губкой её веснушчатые плечи, лопатки и спину. Тут же, перекинутые через спинку стула, висели черное платье, шаль с бахромой, черные ажурные чулки и пунцовые повязки. На столике перед зеркалом в стакане стояла красная роза и лежал черепаший гребень.

Подбирая на ходу лиловую мантию, новоприбывший архиерей быстрыми шагами перешел церковный двор и остановился в притворе, ожидая, когда, после символического трехкратного стука, откроются двери собора и хор грянет архиерейское приветствие. Жаркое летнее утро, величественный токийский собор, легкий шелест листьев тополей и кленов, наряженные дамы, цветные кимоно японок, черный клобук красивого монаха-епископа, изящно подхваченная, на подобие дамского шлейфа, шелковая ткань мантии, переливавшаяся на солнце голубыми, сиреневыми и малиновыми отливами — всё это было увлекательной прелюдией к тому, что последовало — в других тонах — позже.

Из алтаря владыко вышел в другом облачении, отличном от обычного архиерейского одеяния: золотая парча кафтана, вокруг шеи и на плечах бармы со священными изображениями и драгоценными камнями, сверкающий рубинами нагрудный крест, на голове подобие шапки Мономаха, отороченной мехом и играющей изумрудами и сапфирами; в левой руке усеянный камнями пасырский посох. Смуглый цвет лица, коротко подстрижен-

ная борода, карие глаза, бармы царского облачения, создавали образ Бориса Годунова при помазании на царство.

С головой, поднятой вверх, владыко в проповеди заговорил о «непгегстанном движении», «огненном стгемлении духа и воли к ог'гомной цели», «о ск'гомности и отгечении от всякой мишуги и б'генности» — и серая толпа русских лавочников и ничего непонимающих японцев, очарованная его внешностью, голосом, грассированием, также уносилась вверх, куда были устремлены его глаза, высоко под купол, на фрески святых пророков, на огненную колесницу Ильи, на створчатые окна, в которых голубело токийское небо.

Зачарованный сам, в сверкании рубинов, смарагдов, аметистов, в золотом отливе парчи царского убора, наполненный восторженным состоянием приближенности к «помазанничеству» и умиления от своих слов, владыко устало опирался о посох, склонял скорбно голову и заговаривал о благодатном «от'гешении от всего в'геменно-го», «п'гаведной жизни без мишуги и ми'гского искушения, ведущих к сатанинской п'гелести» — и ученый японец-книжник, старательно записывавший его слова в моментальном переводе на японский, споткнулся на слове «прелесть», обозначив его подчеркнутым иероглифом, означающим пристрастие к маскараду.

Обедня закончилась. Народ вывалил из собора, толпясь в ограде и ожидая появления нового архиерея. Староста, высокий сухопарый человек, твердил про себя приветствие архиерею. Председательница Дамского комитета держала в руках блюдо с хлебом на полотенце и серебряную солонку.

Владыко Виталий в сопровождении священников и дьякона Сузуки вышел из собора и остановился на паперти; обжав верх посоха обеими руками и положив на них устало голову, владыко ожидал что последует. Ста-

роста сделал шаг вперед, видя поверх голов толпы, как от ворот собора шла Жигалина в длинном дождевике, а за ней её сын волочил чемодан. Он вздохнул, перевел глаза на владыку и начал читать по записке, не разделяя слов:

— Ваше высокопреосвященство неоднократно...

В толпе произошло движение. Староста остановился и строго обвел глазами всех. Владыко стоял; лучезарная улыбка играла на его кротком лице; он сделал легкое движение посохом: «продолжайте, что же дальше!»

Староста откашлялся и снова начал читать:

— Ваше высокопреосвященство неоднократно...

В этот момент, заправляя на ходу черепаший гребень в рыжих волосах, сквозь толпу протиснулась Жигалина и остановилась на открытом месте перед папертью. Она спустила шаль, оголив пегие плечи, поправила розу в волосах, оперла одну ногу на каблук, расставив колени и подняла край платья до красной повязки.

— Владыка, хотите я буду ваша Кармен!

Архиерей пошатнулся, чуть не выпустив из рук посох, и взялся за сердце. Вдова Жигалина взяла в зубы розу, закинула через плечо край шали и прихлопнула ногой. В толпе засмеялись. Кто-то крикнул поощрительно: «Ка-чай, Жигалиха, всё равно погибать!»

— А сейчас для вас, владыка, я спою и спляшу «сегидилью». — Жигалина сверкнула глазами, изогнула в колене ногу, описала ею полукруг и запела: «та та-та-та-та та-та», притоптывая ногой и извиваясь телом.

— Господи, помируй, — прогудел дьякон Сузуки.

— Владыка, ловите, — крикнула она, бросая ему розу.

Он побледнел и зашатался. — Скогей, скогей, в алта'гы, — прошептал он умирающим голосом.

Ещё до скандального выступления Жигалиной Мура нашла в толпе Иннокентия и поманила к себе, сказав, чтобы он обязательно пришел к ней вечером.

— Почему я должен прийти, да ещё обязательно?
— Он будет сегодня у меня.
— Вы так часто это говорили и ничего из этого не получалось.

— У вас не было терпения ждать! Он приходил...
— На рассвете?
— Вот видите, я стараюсь, а вы такие вещи...
— У вас опять будет полон дом людей, всякой...
— Никого! Я так сделаю, что никого. Вы, он и я. Меня даже не будет, я уйду к себе, чтобы вам не мешать.

— Варенька, я знаю, ты мной очень недовольна. Недоволен собой и я! Просто заколодило, всё, что могу сказать — ни туда, ни сюда! И никто не может помочь. А так много зависит от этого для тебя и меня! Но вот, что я скажу: сегодня я вожусь с этим последний раз. Выйдет, что я жду, отлично, не выйдет... Так, что я сегодня вечером опять уйду.

Ещё подходя к дому, в котором Мура снимала две комнаты, Иннокентий слышал громкие вобужденные голоса. Он остановился, соображая расстроено, идти ему дальше или нет. Он пересилил себя и взялся за дверную ручку.

При его появлении все замолчали. За большим столом с грязной посудой, остатками еды, стаканами сидела полупьяная компания: хозяин, Мура, поляк Януш, Алексей Гуськов и Выдра. В дверях кухни стояла хозяйка. В углу в кресле клевал носом осовелый дьякон Сузуки.

Иннокентий, нахмурившись, сел в стороне, качая закинутой за колено ногой.

— Поднести, — спросил хозяин, подмигивая на водку.
— Благодарю, не хочется.
— А то гнушаетесь?

Иннокентий ничего не ответил. Он в упор глядел на Муру и она, чувствуя это, заговаривала громче с Выдрой

и, закидывая голову назад, заливалась искусственным смехом. Пан Януш молчал, ожидая, когда она перестанет смеяться и он сможет заговорить с ней о делах, ради которых он пришел. Молчал и Гуськов, налегая на водку и поглядывая зло на Иннокения. Казалось, что после галдежа, слышного далеко на улице, им было не по себе от молчания, когда затихала Мура, и что никто не вытерпит дольше. Так и случилось!

— Иннокентий, где Нюта и Андрей?

Иннокентий сделал вид, что не слышал. Он поймал взгляд Муры и спросил её движением головы, кивнув на грязный стол и подвыпившую компанию: что это значит?

— Может быть надумали, — сказал хозяин, показывая на стол, — а то неловко, все клюнувши, а вы один, как святой...

— Как святой, — ожил Выдра, ероша волосы и тараща глаза. — Преплагий отче, ниспосли нам благодать духа твоего святого!

— Господи помируй, — откликнулся, встрепенувшись от дремоты дьякон.

— Что ты сделал с Нютой и Андрейчиком? Где они? Ты лучше скажи мне, а то я...

Иннокентий метнул на Гуськова тяжелый взгляд. Последний раз он видел его в подвале Пельснера: тревожное лицо, желтый блеск глаз, плохо скрытая попытка придать характер случайности своему положению: «в такое время живем, с каждым может это произойти»... Раздолье, лужайка, дачники, веселые голоса, смех, крики и визг детей... Алешка Гуськов в жокейских сапогах и картузе, в руках гитара. «Ой, чтой-то за шум в непогодицу»... Веселый, живой, напористый... Мрачное пьяное лицо, вызывающий, озлобленный взгляд, ищущий скандала.

— Ты пьян, а с пьяными я не разговариваю.

— Если и пью, то не на твои...

— Почти что каждый день так — вздохнула хозяйка, — на что другое нет средств, а на это всегда...

— Что деньги! Сейчас все, кому не лень, по деньгам ходят!

— Разве уж так, то прошу пани Мура заплатить мне

— По деньгам ходят, а за квартиру не плочено. Купила бы собака печень, да платить нечем!

— Да что вы раскудахтались! Идите себе на кухню и сидите там. Что вам здесь делать! Как будто и не звали!

— Ах, вы такая-сякая! Не прошенная, а! У себя в доме! Слышишь, Сеня?

— Мура, легче на поворотах, а то...

— Что — а то? Боюсь я вас всех, мелких спекулянтиков! Вам только стоять в очереди за фунтиком сахара и снимать с него пенки! Ни на что другое не годитесь!

— Насчет сахара то вам лучше заткнуться! Чья бы коровушка мычала, а чья бы молчала! Что — фунтик, когда грузовиками... Знаем и об этом, милая!

— Пенкосниматели — кричала Мура.

— А кто с корейцами за одно? А темненькое дельце с бриллиантиками? А кто напустил корейцев на пана?

— Особенно долго били по этим... — вспомнил грустно Януш. — А получил я от пани Муры?

— Какой месяц за квартиру не плочено, а вранья!

— Да ну вас всех к чертовой матери, — закричала Мура, — я вот сейчас кликну своих славных ребят, они так накидают вам всем, ввек не забудете!

Поднялся страшный шум, заговорили все сразу. «Как раз то, что было, когда я подходил к дому! Взялись снова за прерванное. Что я здесь делаю в этом вертепе! Чем же это кончится? Опять обман! И я сказал, что это последний раз!»

— А вам что здесь нужно? — Мура повернулась угрожающе к Иннокентию. — Подкарауливаете кого-то, сманиваете на свою сторону!

— Кого я сманиваю, — раздраженно ответил Иннокентий, выпячивая челюсть

— Премудрый змий, — завопил Выдра, вставая из-за

стола и тыча руками в воздух, — то деву непорочну, ну, не так непорочну, поелику с недоноском, с рук сплавить, то прияться за кражу людей. Людовор!

— Господи помируй, — проснулся Сузуки, озираясь вокруг.

Выдра качнулся в сторону, падая с поднятой рукой на Иннокентия; тот оттолкнул его, и Выдра, гремя посудой, грузно навалился на стол.

— Вон из моего дома, — кричала Мура с перекошенным от ярости лицом, сверкая глазами. — Чтобы вас и духу не было здесь!

Вид барахтавшегося на столе Выдры привел её в неистовство, она схватила стакан с пивом и плеснула им в лицо Иннокентия. В этот момент произошло неожиданное: в дверях раздался живой насмешливый голос:

— Легкая семейная беседа? Или делите полюбовно барыши? Не помешал? Как бы не сбились со счёту! Не буду отнимать вашего драгоценного времени. В другой раз.

Человек в дверях смотрел на Иннокентия и трясся от смеха. — В другой раз, говорю. А сейчас, с дружеским приветом!

— Кто это, — крикнул Иннокентий, когда тот скрылся за дверью.

— Друг ваш, Савелов! Дождались наконец, — отозвалась с злорадностью Мура.

Иннокентий бросился наружу. За углом хрипло залокотал автомобиль.

— Савелов, Савелов, подождите, — крикнул Иннокентий, подбегая к углу. Фыркание мотора, скрежет в коробке скоростей, шуршание шин. В жаркой июльской ночи бесследно растворилось «до скорого».

КОГДА УПЛЫВАЮТ ВДАЛЬ ДУШИ

Странное ощущение изрешетенного сотнями пуль тела и сквозящего ледяного ветра не покидало Иннокентия. Ему казалось, что что-то неопределенное шагало за ним, осторожно ступая шаг в шаг, и что оно видело насквозь и знало лучше его самого, что происходило с ним.

Тревожное чувство не покидало его и по ночам. Он засыпал сразу мертвым сном на два-три часа, внезапно просыпался, — и будораживающее чувство, посещавшее его днем, вырастало в огромное облако, в котором он витал в невесомом состоянии... Состояние бездумного созерцания. Огромное облако — и малые люди... Кузя-гармонист, неживые белесоватые глаза... Железнодорожные кондуктора, провозившие опиум... Неизвестные молодые люди, посланные партизанами на советскую сторону без малого шанса на возврат... Плачущая женщина, вихрястый человек с вытаращенными глазами и руками в воздухе... Обледеный тротуар, когда нужно так быть осторожным беременной... И слова: «Смотри, не выкинь мне ничего блажного»... Лёка. Станция Ханьдаохэдзы. Несколько месяцев покоя после тревожных дней Харбина... Шанхай. Полицейский участок на Гордон Роад, сержант МакКлоски... сперва покровительствующий, затем... «Ветхозаветные агнцы»... смеющееся лицо, полное счастья, доверия, трость, стыдливо запрятанная за спину... серая кепка в беспокойных руках другого... черные волосы, редко расчесанные на полуголом черепе... тишина августовского утра, нарушенная выстрелами из маузера... И — спад, медвежий угол, наушники, бодрый голос по хабаровскому радио: «А сейчас вы услышите топот копыт командного состава... Выходят ряды ударни-

ков с кожевенного завода «Кожа Пролетариата»... Отец, Роман, Илья... По сведениям «оттуда», отец умер по пути на Колыму... Многое другое, что свершилось или нет, но что должно было бы, по заданию, свершиться. Но ничто не нарушало его подвесного пребывания в этом огромном облаке и все то, что заполняло его массу, было только подготовкой к чему-то большому, главному, что связывалось с моментом, когда он скажет по телефону четыре магических слова: «Надеюсь, завтра хорошая погода». Ничто не тревожило его в этих образах малых людей, он оставался к ним равнодушным — они были и не были — но они вели к одному, что должно быть единственно стоящим, и это был Савелов.

Он думал об этом с маниакальной завороченностью, следя, как расплывалось в стороны облако, оставляя за собой свет — и он знал, что это означало его обязательную встречу с Савеловым.

Тон, каким было сказано: «Друг ваш Савелов! Дождались наконец», мало поразил его, так было шумно и неожиданно, и только после того воскресения, вспоминая о нем с неприятным чувством, он отметил сколько вражды и озлобления было в тех словах. Он вспомнил, что незадолго до того дня «эта женщина», говоря о Савелове, упомянула, что он иногда проводит вечера «с девкой японкой» в отеле на набережной реки Сумида.

Что делать? Пойти ещё раз к «этой женщине», ловить её в соборе после того скандала, убедившись окончательно в её лживости? Позвонить в советское посольство и спросить, когда же товарищ Савелов наконец решит махнуть на другую сторону? Он сам сказал недавно: «До скорого свидания!» Или шагать по набережной Сумида от моста Азума до моста Комагата мимо ряда гостиниц в надежде, что кому-то надоест валяться в постели, он выглянет в окно и помашет ему рукой?

* * *

Жаркий августовский вечер. Парная пелена давит Токио, сливая ночные огни Гинзы в одно мутное зарево. С базаров вдоль набережной несет запахом рыбы, квашеной редьки-дайкон, бобового масла, гнили с реки. По железнодорожному мосту мелкой дробью бьют колеса.

Сколько раз до это кружил он в этих местах от станции Асакуса вдоль набережной от одного моста до другого, приглядываясь и прислушиваясь, ожидая, что кто-то окликнет его! Он заходил в пивную, садился у барьера над рекой, склонившись в раздумьи над кружкой пива. После часа-двух он вставал, озирался вокруг, зная, что и этот вечер прошел бесцельно. Дома его встречала Варвара, не зная, смеяться над ним или жалеть его, сдерживая себя от расспросов, пока у него «развивается очередная комбинация, чтобы прорваться в свое время».

Японская харчевня, забитая народом не только потому, что знойный день, раскаленный к вечеру, гонит людей из душных домов на открытый воздух, к реке, к легкому дуновению ветра, несущему речную прохладу, к холодному пиву. Не только из-за этого, а потому что этот день, 15-го августа, день Торо Нагаши, день расставания с душами умерших. С наступлением темноты тысячи бумажных корабликов с зажженными фонариками появляются на реке, плывя медленно по течению к морю. Неисчислимые белые души отдаленных предков, умерших недавно, погибших в войне, сгоревших во время воздушных налетов на японские города.

Иннокентий пробрался сквозь толпу, теснившуюся у пивной стойки, и прошел в конец комнаты к перилам над рекой. Он присел к столику, опустив голову на руки от усталости и жары. Последние дни были особенно полны волнения, чувства, известного охотнику по крупному зверю, напавшему наконец на его след, зная, что они оба кружат по одному и тому же месту, но не зная, когда они напорятся друг на друга.

Искусство пить пиво в жару: пол первой кружки, не

спеша и не отрываясь, с зажмуренными глазами или глядя на потолок, затем отодвинуть её, закурить, глубоко затянувшись — если человек курит — или, поставив локти на стол, опустить на руки голову для передышки.

Время от времени Иннокентий поднимал голову, поворачивался к реке. Феерическое мерцание белых фонариков на темной воде завораживало его, переносило в другой мир, вносило облегчающее успокоение. Ему начинало казаться, что его не было, что он не жил, а составлял лишь часть чего-то призрачного — и ощущение невесомого пребывания в огромном облаке вновь посещало его... Огромное облако и — малые люди... Это отрезвляло его, возвращало к действительности. Он видел японцев с красными от пива лицами, слышал их пьяные голоса, брань и думал с тяжелым чувством ещё об одном потерянном дне.

И вдруг, пока мерцающие кораблики медленной процессией плыли к мосту Комагата, чтобы исчезнуть в темноте ночи —

— Провожаете фонарики с уплывающими вдаль душами?

Иннокентий вздрогнул, но не удивился, услышав голос, который он так долго ждал услышать. Вначале ему показалось, что это его собственный голос, разыгрывавший с ним злую шутку. Он даже не повернул головы, всматриваясь опять в зачаровывающее мерцание огней на реке.

— Есть знакомые, кого провожаете? С пивком то совсем неплохо: утоляется жажда духовная и физическая. Разрешите сперва представиться: ваш благодетель Савелов, поди слышали! Ну, конечно, как же целый год! Да не только здесь! Ещё с Харбина почти всё рядышком, а ведь это так ценно — столько времени приглядеться, оценить. А ведь мы вас так ценим! Сколько вы сделали для нас! И всё так тихо, тонко, я уж не говорю, что безвозмездно — вот уж бессребреник, где такого другого

найти! Вот так и свиделись, как и должно быть! Обоюдное желание, обоюдная и польза. О чем же говорить!

«Мы вам, вы нам», вспомнил Иннокентий телефонный вызов «благожелателя» в Шанхае. Странно то, отметил он, вслушиваясь в слова Савелова, что в них отсутствовало типичное советское произношение на «хэ» с прибавлением мягкого знака к глагольным окончаниям — «они коворять». Попытка своеобразного звукового грима, который больше не нужен?

— Выпьете ещё пивка? Такой случай, да и ночь какая! Бой-сан, — крикнул он в сторону прилавка, — ни биру!

Здесь только Иннокентий взглянул на него: плотное сложение, круглое лицо, чуть вздернутый нос, светлые глаза с насмешливым выражением, белокурые чуть вьющиеся волосы.

— Кое какие-то души то вам известны. Чего только не было позади! Но это не в упрек или порицание, а для взаимного понимания. Мы, если так можно выразиться, взяли вас на мушку еще в Харбине. Не верите? А то время, когда вы подвизались на партизанском поприще, радуя своей преданностью престарелые сердца генеральских зубров и не забывая нас! Я и говорю: так тонко и умело! А ещё тот случай — не помню фамилию, тот, который что-то там, вы знаете сами! Тоже тонко. Конечно, не сами же! Зачем пачкать руки, когда есть любители! Даже помню имя: Петя-Кувшинчик. Занятно!

Савелов рассмеялся, довольный воспоминанием прошлых лет.

— Хотел подвести под подозрение! Малые люди, ничего не скажешь! — Он рассмеялся опять.

Иннокентий насторожился: «малые люди»! На самом деле, стоило ли беспокоиться, если он беспокоился вообще. Но как помнит этот человек!

— Прошлое только так: приятно вспомнить и, как я говорю, отметить, что вы делали для нас. Главное, конечно, в будущем, вот о нем мы и побеседуем попозже. Вре-

мении у нас много, ведь ждали долго этого случая! Вот и дождались! Видеться то виделись, вы, поди, не замечали, и в Харбине, Шанхае, в Пхеньяне, в Сеуле. Да и здесь, когда попал в неудачное время к этой красавице, до сих пор смешно вспомнить...

Прислушиваясь к его смеху, Иннокентий вспомнил, что это смеющееся лицо он видел раз в токийском трамвае, не понимая, почему при его появлении тому стало смешно.

— Харбин, Харбин, так много вспомнить! Оба молодые, оба начинали службу, оба как молочные братья от одних питающих сосцов — разведки. Вы то меня обскакали, у вас их за плечами четыре, а у меня всё одна. Но я не жалеюсь... Когда мы вас потеряли из виду в Харбине — знали, что стало жарко под ногами — конечно, пожалели! Ну, в Шанхае то вам оказалось больше простора... Помните такого Ляшкевича? От нас, как же! Связал с полезными людьми. Тогда мы опять стали приглядываться к вам, и не ошиблись, даже не ожидали, что так всё хорошо выйдет!

Иннокентий поднял недоуменно голову, впервые за всё это время посмотрев открыто в лицо Савелова.

— Взять хотя бы русскую колонию Шанхая и новый эмигрантский комитет, который вы целиком подобрали и провели в жизнь так же умно и умеючи — вот, что мы оценили полной мерой! Такое продуманное движение позади! Какая глубокая цель — поставить во главе колонии таких махровых идиотов — старый календарь, старое правописание, полька кокетка, что ещё? Но это пустяки по сравнению с вашей идеей припугнуть русачей «ветхозаветными агнцами» и припугнули здорово, что они табуном понеслись в наше консульство молить, чтобы родина пустила их к себе. Нам самим никак бы не добиться таких успехов. Поехали тысячами, с диванами, креслами, этажерками, с пианино и рефрижератами, со всеми потрохами. Правда, только до бухты Находка, там

их облегчили. Представляю, сколько было слез и вопля, когда пришлось расстаться со всем этим имуществом! За это одно родина должна бы озолотить вас.

Савелов остановился, глядя с восхищением на Иннокентия, довольный вниманием, с каким тот слушал его.

— Вот это мы ценили в вас. Конечно, не оставались в долгу, поскольку это было возможно, хотя с тем же Ляшкевичем. А ещё лучше — с Веселиновым. Помните такого? Как то мы чувствовали, что у вас не всё было благополучно — неизбежное зло нашей работы, всегда кому-то кажется, что мало добываешь или поигрываешь на стороне. Тогда я вам и брякнул по телефону: приглянитесь, журналист, может оказаться полезным. Не сам, конечно, а то, что можно выстругать из него. Вы и смастерили, да ещё как! Для нас был птица не большого полета, хотя одно время стоял высоко, но не справился с заданием, даже бежал, пытался вернуться. Я к тому веду, что такого не жалко стравить, если ещё кому выгодно, как вам. Так оно и вышло! У вас этот пустячок вырос в целое дело — мастер шпионажа, невинные с виду эмигрантики, приключенческий роман с прологом и эпилогом, который закончился печально для некоторых. Когда рассказывал об этом Такахаси...

— Такахаси?

— Смотрите, новые фонарики со свечами плывут! Я думал, что уже закончилось. Вот, ведь, как — не успели упомянуть, как их души плывут мимо! Занятно!

— Такахаси, — переспросил с нетерпением и явным раздражением Иннокентий.

— Оказался словоохотливым собеседником. А память, просто не нарадоваться!

— Он же был убит под Хайларом.

— Был такой слушок. Для удобства. Теперь то это не надо. Захватили после боев в Маньчжурии. Весь штаб Квантунгской армии. Привезли в Хабаровск на суд, как преступника войны. Тогда сгоряча расчесывали всех под

один гребень. Много рассказывал, так все увлекательно, заслушаешься... Так, — сказал он, помолчав, потирая от удовольствия руки. — Вот, наконец, и встретились, так давно хотелось этого!

— Почему же не раньше? Почему тянули так долго? Целый год!

— Целый год, верно! Причины были. Во-первых, не были уверены в вас, как отнесетесь, заинтересуетесь ли. Почему и запросили через эту девушку пробы ради, как и что. Так-то, посудите сами: не успела она сказать вам, что, мол, такой-то собирается метнуть на американскую сторону, а он уже здесь с чемоданом, да ещё просит вас засخать в посольство и сказать, что второпях мистер Савелов позабыл зонтик, так поищите... Надо было вас не только заинтересовать, но и распалить до белого накала; только тогда желание страстно, когда оно ускользает из рук, вот только ухватишься за него! То, что вы распалились, сомнения не было, горячий вы человек, страстный в этом отношении. И как человек умный, видели огромную выгоду. Не то — слово торгашеское! Яркую будущность, особый свет...

Иннокентий впился в него глазами. «Свет, который я вижу?»

— Всё, что дается легко, не так интересно, а вот помучившись!.. Большая мастерица водить за нос! Обещать, клясться, обманывать — лучше Муры не найдешь. Да и ваше начальство не оценило бы вашу работу, если бы вы привели меня к ним со словами: вот Савелов, советник посольства, случайно встретил на улице. Делайте с ним, что хотите! Ни старания, ни борьбы, надежд, срывов, ни драмы! Кто же это оценит! А ведь нам как раз это то и нужно, чтобы вас не только оценили, а вознесли бы до небес, признали бы за вами недюжинные способности и умение опытного оператора, вознаградили бы повышением, назначением на высокие ответственные места. Вот, что нам нужно! Как в кинематографе, в боевике, таин-

ственные встречи, секретный замысел побега, кругом враги, агенты иностранных разведок, полон чемодан похищенных государственных бумаг, от опубликования которых висит судьба всего мира. Задуманный побег видного сановника, появление которого на другой стороне грозит крахом коммунистическим странам. Несмотря на измену любимой женщины, побег всё же состоялся, так как позади него оказалась опытная рука. Побег, погоня, препятствия на каждом шагу, отчаянная игра с жизнью, совсем, как в кинематографе, особый отряд парашютистов из Москвы, невидимые лучи, та же любимая женщина, посланная перехватить беглеца. И такой острый момент: кольцо сжимается и беглец понимает, что конец! Одной рукой он достает из кармана фотографию, чтобы бросить прощальный взгляд на красавицу жену с крошкой-младенцем на руках, другой выхватывает револьвер, взводит курок — и в этот момент появляется его спаситель, искусно замечает следы и доставляет видного советского советника в целостности, чемодан, зонт, в Юкосука, в штаб Центральной Американской Разведки. И этот спаситель — Иннокентий Благобразов!

Савелов закинул назад голову и залился звонким смехом. Иннокентий свернул шею и выпятил челюсть.

— А во вторых?

— Что — во вторых?

— Вы сказали, что тянули, чтобы распалить, чтобы доставка товара обошлась дороже. Кинематографические трюки и прочее. Это во-первых. А во-вторых?

— А Казакстан! Алма-Ата!

— Какое отношение Алма-Ата и Казакстан имеют к этому?

— Очень большое. Там же ваш корешок, Такахаси. Как же, здравствует! Долго или нет, неизвестно. Туберкулез у него. Последний раз я видел его, был плох. Но мы выкачали всё. Вряд ли что осталось. Так ожил при упоминании вашего имени, совсем стал молодцом, при-

ятно было смотреть! Привязан к вам бескрайно, мне, говорит, только бы раз встретиться с ним! Даже старшего сына назвал Иннокентием, чтобы никогда не забывать вас. Страстный такой, нервный. Мне бы только добратся до него! Сгоряча даже выразился: «до подреца и свороча!» Так и сказал дважды, да ещё так смачно! Вы не обижайтесь, человек вспыльчивый, в последнем градусе. Его ещё женили на кореянке, наш человек, а вы знаете, как японцы и корейцы любят друг друга!

— Почему же он был так нужен вам?

— А по нашему делу! Как же мы можем работать с человеком вплотную, если мы не знаем его хорошо!

— Но Такахаси...

— Как раз он то и оказался нам ценным! Он знал вас в ваш самый, так сказать, творческий период, ну, и выложил всё. Конечно, мы внесли свои поправки, принимая в соображение, как он себя чувствует... Не может до сих пор простить себе, что допустил выставить себя в смешном виде созданием нового эмигрантского комитета из лиц, нарочно подобранных вами. «Верх бездарной японской колониальной администрации», повторял он яростно общеизвестное выражение. Не мог простить себе, что допустил убийство ни в чем неповинных людей, вы знаете, кого он имел в виду. Мало того, он считает, что это дело исключительно ваших рук, как и Веселинов, всё ради карьеры и острого переживания.

Савелов замолк, всматриваясь остро в лицо Иннокентия: какое впечатление произвели на него слова о Такахаси. Тот сидел с опущенной головой, поглядывая исподлобья на Савелова.

— Но эти случаи, включая убийство какого-то Мельцера, которое вытекло по словам Такахаси из ваших советов и планов как поставить русскую колонию на японские рельсы, как и ранние ваши партизанские приключения в Харбине, не представляют теперь особого интереса. В свое время мы их оценили и вписали вам на при-

ход. Да и вас это не тревожит, как не тревожило и раньше. Вот их проплыло мимо десятка полтора-два в белых кораблицах, а вы даже не повернули головы взглянуть на них. Другое дело с полицейским сержантом МакКлоски, кажется, британцем, и американским епископом —

— Епископом?

— Епископ Вилкинсон, как записано у нас. Вы помните Бридж Хауз, куда японцы засадили интернированных британцев, французов и американцев, как только вспыхнула Тихоокеанская война. Среди них оказались МакКлоски, которого вы знали лично по службе в английской полиции, и епископ Вилкинсон. Помните? Такахаши рассказывал, что ваш доклад о МакКлоски, после того, как вы видели его в Бридж Хауз, представил того и его окружение, как злейших врагов Японии и опаснейших шпионов и агентов, посветивших свою жизнь ради уничтожения Страны Восходящего Солнца. Этого было достаточно для людей, одержимых шпиономанией, да ещё в первые дни войны, опьянения от начальных успехов. Вы знаете, японцы и корейцы большие мастера с чайником, водой и керосином. Техника простая: наливать через рот или ноздри эту смесь, пока у несчастного не взбухает живот, как воздушный шар. И битие, систематическое, умелое, продуманное, с тонким знанием всех чувствительных мест. Самое интересное в изложении Такахаши то, что при чтении вашего доклада позже, когда чуть успокоился угар шпиономании, он нашел в нем так много личного озлобления по адресу МакКлоски, что оставалось только предполагать, что обвинение последнего в чудовищных кознях против Японии являлось чистейшим вымыслом, продуктом мщения, как, например, за полученную пощечину от руки горячего ирландца.

С побагровевшим лицом Иннокентий яростно смотрел на насмешливо улыбавшегося Савелова.

— Когда Такахаши бросился исправить, было уже поздно — чины Кемпэтэй и их корейские помощники... чай-

ники, вода с керосином... Много ли нужно времени! Мало того, они приняли фразу: «его окружение» в вашем докладе о МакКлоски слишком буквально и то, что они сделали с ирландским сержантом, они сделали и с американским епископом, который, по несчастью, разделил с ним камеру. Если сомневаетесь, вот две проплывающие светлые души подтвердят вам это.

Савелов снова замолк и задумался. Всматриваясь в него и вслушиваясь, Иннокентий не мог не отметить в Савелове легкость переходов от шутовства к серьезности, от желания как-то обидеть его, умалить и вместе с тем привлечь к себе какой-то близкой, родственной связью. Он видел перед собой не того шанхайского «блахожелателя», как представлял себе — серого советского полупочтенного парня, впихнутого в советскую дорого-стоящую дипломатическо-разведывательную службу на основании, что «на безлюдье и Фома дворянин». В какой-то мере он видел «парня от сохи», но всё же человека законченного поздней работой над собой, шлифовкой, человека с природным умом и гибкостью. Он чувствовал в нем и другое: не только то, что они «вскормлены от тех же сосцов», но что оба одержимы той же страстью и помечены тем же знаком судьбы. Это влекло его к Савелову, подсказывало правильность его смутных нащупываний пути. безошибочность шахматного хода.

— Замучили обоих... Если за партизан и эмигрантиков некому было заступиться и привлечь к ответу, то совершенно другое положение в этих двух случаях. Соучастие — то же преступление, даже если оно только младший брат убийства. Вы знаете, как время от времени находят лиц, сопричастных к преступлениям войны, и что с ними делают? У нас всё это имеется в обширном объеме; показания Такахаси записаны, проверены, подкреплены показаниями других свидетелей, и, как легальный документ, имеют юридическую силу во всем мире... Но дело пока не в этом — надеюсь, до этого не дойдет...

Иннокентий насторожился, остро взглядываясь в Савелова. Тот наклонился, расшнуровывая ботинок.

— Купил здесь ботинки, не подумав о том, что франтоватая японская обувь не по медвежьей ступне русака, вот и страдаю. Жмет в этом месте, что вы сделаете! Нам нужно закинуть человека в одно место... И человек и место есть... Купил сегодня, хотел пощеголять. Обратное не примут, да и времени нет возвращаться в магазин... Дело не в этом... Никому другому не сказал бы, а вам скажу: нам нужно засадить своего человека в Центральное Разведывательное Агентство в Вашингтоне. Там тоже есть такие серячки-простачки, как в Якосука, но есть и преловкие и прехитрые бестии. Мы это учитываем. Сколько же времени мы возимся, лет двадцать с лишним, с тех пор, как познакомились с вашими методами работы...

— С моими методами?

— Да, да, с вашими! Ещё с Маньчжурии.

— При чем же здесь я?

— Так кого же мы хотим забросить туда, как ни вас?

— А если я не соглашусь?

— Вопрос резонный и ожидаемый, хотя бы ради формы. Ответ на это готов. Во-первых, вы с нами, это мы уже обсуждали. Не только по партизанским делам. Катюшка, которую вы передали нам в Шанхае, кое-что из бумаг Такахаси — правда, не так уж много — подтвердила, что вы на нашей стороне. А встреча нашего командования на военном аэродроме в Пхеньяне, как только они высадились в Корею! Можно бы добавить, что кроме ликования были и другие побуждения, это мы поняли, все мы люди, все мы человеки. Ваш переход на американскую сторону как нельзя лучше сыграл в нашу руку. Бумаги, которые вы прихватили, на самом деле были подложны вам, а пропуск на Паньмыньчжон был настоящий, подписанный генералом, а не поддельный, как вы думали, сфабрикованный вашим харбинским приятелем Кимом. Это — первое. Во-вторых, даже если Такахаси нет

в живых, дело его останется. Мы накопили такой материал о вас, объемом почти с толстовский Война и Мир. Совсем готовый идти в печать! Зачем же нам публиковать его? А вдруг он повредит вам! Всё может быть. Лучше мы его попридержим на всякий пожарный случай, мало ли что может быть! Давайте поговорим о положительном, о вещах, полезных вам и нам! За угон видного советского сановника ваши приволекут здоровеннейший рог изобилия — и что только не посыплется из него на вас! Понятно, что и вы сами должны ожидать должного! Во-первых, Вашингтон. Что вам делать здесь, большому, даровитому человеку! Возиться с эмигрантской мелюзгой, когда у вас в Америке откроется такое широкое поприще! Как мы скормили вам Веселинова, так мы стравим вам ряд наших агентов, как, например, полковника Фон Бах в Сан Франциско, там же одного русского газетчика, округлившего капиталчик за счет нашего консульства на Дивизадеро стрит; арменина ювелира в Нью Йорке, инженера Артюхина в Балтиморе, одного чертежника в Картографическом Отделе, секретаршу из Государственного Департамента, изголодавшуюся по одному из наших посольских служащих. С нашей незаметной, но и незаменимой помощью вы сами станете незаменимым человеком в Агентстве. Мы это сделаем постепенно, пять, десять лет, не спеша, не вызывая никакого подозрения — и в то же время не забывая о главной цели.

Зачарованный, Иннокентий слушал Савелова, подавшись вперед корпусом, не сводя с него глаз, боясь пропустить единое слово. Он видел, что Савелов горел тем же внутренним огнем, каким горел он сам. Он радовался их общему пути, заманчивому делу, к которому чувствовал врожденную привязанность, непреодолимую страсть. Энтузиазм Савелова вдохновлял его, он видел себя в двух коронных ролях на огромной мировой сцене и замирал от небывалого восторга.

— Не забывая о главной цели, — повторил Савелов.

— Не забывая, не забывая, — залепетал, как в жару. Иннокентий. — Но когда же?

— Сейчас, уже! Разве вы не видите? Но сперва надо отрезветь, мы оба в горячке. Так нам нельзя быть, нельзя терять голову. Прежде всего — почему и что сделали вы. Нельзя же без основы и причин. Почему я дал вам намек окольным путем, что видный советский сановник, а я такой, хотя мне не нравится пышность этих слов, собирается бежать на американскую сторону? Правдоподобность прежде всего. Начнем с общего: разочарование, просветление в мозгу, не то вышло, что ожидали, обещали много, а ничего не дали, иными словами, «за что кровь проливали»! Это общее; частное: чувствуемое недоверие, «специалист», приставленный для присмотра, проверка всех шагов, знакомых; назначение в советское посольство при Объединенных Наций в Нью Йорк отменено в последнюю минуту. Из Москвы прибывает особая группа, чтобы увезти туда. Что же ещё ждать! Ваша роль: вы укрепили меня, когда я колебался, поддержали, дали силу совершить этот шаг ради светлого будущего. Это — официальная версия. О другой не нужно, мы уже договорились вплотную.

Савелов рассмеялся счастливым смехом.

— Светлое будущее! Зарыться на пять-десять лет, следы издали за вашими успехами. Наша работа — глубокая тень и свет пламени! Так долго ждали — и вот момент! Дайте знать вашим, что Савелов у вас в руках.

Они вышли на улицу и прошли к телефонной будке у моста. «Не спутать бы номер от волнения». Иннокентий набрал номер телефона, глядя с восторгом на Савелова.

— Надеюсь, завтра хорошая погода, — четко и внятно сказал он в трубку. Он слышал, как переключили телефон. «Токио?» спросил тихий голос. «Да, мост Комагата у реки Сумида». «Через четверть часа будем там».

— Уверен, что погода будет наилучшей, — воскликнул радостно Савелов.

К о н е ц

В ПРОДАЖЕ

VICTOR KAMKIN INC.

Publishers • Booksellers

12224 PARKLAWN DRIVE

ROCKVILLE, MD. 20852

Les Éditeurs Réunis

11, rue de la Montagne Ste-Geneviève — Paris 5°

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB GMBH

8 MÜNCHEN 40 · BAUERSTRASSE 28 · TEL. 370534



GLOBUS PUBLISHERS

P.O. BOX 27471, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94127 USA

ISBN 84-400-3992-1 - Depósito Legal 3329-1977 - Tip. Artística Puertas - Valencia